НЁМАН

8/2013
АВГУСТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

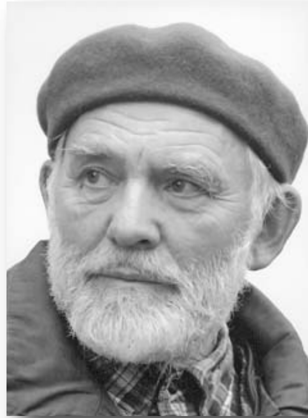
Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонская*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Е. Г. Кахновская*

Подписано к печати 10.08.2013 г. Формат 70 ×108 $^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,69. Тираж 3143. Заказ 2542.
Цена номера в розницу 18 600 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-84-61; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии,
публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»



ЛЕОНИД ЛЕВАНОВИЧ

Ветер с горечью полыни

*Роман**

Хроника БЕЛТА, других мировых агентств, 1991 г.

3 октября. Пинск, Брестская область. *Сессия городского совета решила вернуть Пинску герб, присвоенный ему по Магдебургскому праву 1 января 1581 года — в период правления Стефана Батория.*

4 октября. Берлин. *Германия отметила первую годовщину воссоединения страны. День 3 октября объявлен государственным праздником.*

11 октября. Вильнюс. *10 октября на вильнюсском кладбище Панерай похоронена старейшая белорусская писательница Зоська Верас. Ее светлая жизнь началась 30 сентября 1892 года.*

VI

Короткий декабрьский день долго и тяжело выпутывается из цепких объятий темной ночи. Когда заблестит солнце, а оно в декабре низкое, яркое, светит, будто огромный прожектор, тогда и день светлый, яркий. А когда солнца нет, снега нет, темно-серая земля лежит голяком, короткий день мало отличается от ночи. Это — вечер года, почти целые сутки царят сумерки.

Но эту мрачную пору — вечер года — издавна любят трудолюбивые сельчане. Наконец можно отоспаться, наесться драников со шкварками. Поесть свеженины, а не какого-нибудь прогорклого, пожелтелого сала.

С детства любил это время Анатолий Ракович. И самое сильное впечатление осталось от смоления кабанчика. Отец обкладывал тушу соломой, поджигал, шерсть кабанчика с треском вспыхивала, потом длинным ножом соскребал нагар, это, так сказать, первичная обработка, черновой вариант. Затем отец брал пук соломы, поджигал его и уже палил старательно. Маленький Толик помогал — мог приподнять ногу кабанчика, а отец выжигал рыжую шерсть. На всю жизнь врезалось в память, Толик тогда был еще дошкольником, — отец обпалил кабанье ухо, отхватил ножом порядочный кусок душистой свеженины и подал сыну: «Ешь, будешь здоровым и сильным». Малец откусил сладковатого теплого сала, которое аж таяло во рту. Невыразимая вкуснотища!

Анатолий Ракович, уже будучи первым секретарем райкома партии, двух-трех поросят растил каждый год. Иные районные начальники, особен-

* Окончание. Начало в № 7, 2013 г.

но бывший председатель райисполкома, говорили: «Анатолий Николаевич, зачем тебе этакие хлопоты? Жену пожалей...» — «Свое вкуснее», — шутил Ракович, а когда председатели колхозов предлагали то барашка на шашлык, то кумпячок, он благодарил и говорил: «Не надо. Свою живность имею». Зато на бюро райкома он смело снимал стружку с любого председателя колхоза за провинности, поскольку никому ничего не был должен.

А еще Анатолий Ракович любил позднюю осень и начало зимы потому, что это был короткий период относительного затишья. Высшее начальство меньше теребило, соответственно и он меньше шпынял подчиненных, поскольку фронт работ — так любило говорить высшее руководство — сужался. Народ жил в ожидании Нового года и Рождества, чтобы разговеться до отвала, хоть и раньше не слишком постился.

Но эта осень для Анатолия Раковича имела и свою особенность: он почувствовал себя полноправным и единственным хозяином района. Конечно, у него хватало власти, когда сидел в кресле первого секретаря, но не мог не понимать, что избран он кучкой партийных функционеров, и выбран без выбора. Обычно представитель обкома говорил: «Есть мнение избрать товарища...» И это «мнение» все решало, поскольку других не было. А председателя райисполкома выбирали депутаты, как бы там ни было — избранники народа. И потому Ракович, как и все его коллеги — партийные лидеры, делился частью власти с председателем райисполкома, зато подбор и расстановка кадров — это была вотчина райкома.

Теперь же Ракович снова вернулся в кабинет председателя исполкома — руководителя советской власти — и почувствовал, что делить власть не с кем. Раньше было три секретаря райкома партии. Авторитетные, известные, важные — нос кверху, а теперь он один. За все отвечает он, Анатолий Ракович, народ доверил ему вершить суд и справедливость, карать и миловать. И никто не пожалуется ни в обком, ни в Центральный Комитет.

Была и еще одна особенность его положения. Он вырос и воспитался в этом районе. А это имело свои плюсы и минусы. Главный плюс: он знал людей, все деревни, где какая земля. А минусом было то, что он находился будто под ежедневным рентгеном: его и его родителей знали в районе, следили, кто когда из его земляков или односельчан заглянул в кабинет земляка-начальника, чего просил и что ему удалось выпросить. Тут Анатолию всегда помогал своими советами отец: он прошел и местные, и районные коридоры власти, человек бывалый — из семи печей хлеб ел. После войны был председателем сельсовета, потом заместителем председателя райисполкома, во времена Хрущева почувствовал, что его могут турнуть с должности, поскольку диплома не имел, опередил начальство и сам попросился в родной колхоз, поднял хозяйство на ноги, вывел в пятерку лучших.

Когда сына избрали первым секретарем райкома партии, Николай Ракович радовался больше всех, даже больше самого новоиспеченного партийного вожака. После Чернобыля старик Ракович встревожился, но не так за сына, как за маленьких внуков. Он хорошо помнил анекдот, который некогда рассказал Довгалев после бюро райкома. Пришла к парторгу жена партийца, расплакалась: муж ее обижает, не спит с ней, видать, завел любовницу. Парторг вызывает своего коммуниста: «Ты почему жену обижаешь? Не спишь с ней? Любовницу завел. Позоришь звание коммуниста». Мужчина, еще не старый, лет на полсотни, говорит: «Я не могу с ней спать. Я импотент». — «Ты перво-наперво коммунист. А потом уже импотент. Чтоб жена больше не жаловалась».

Тогда мужики-партийцы дружно хохотали, поскольку сами могли любить жен, могли делать свое мужское дело, могли жить и радоваться. Так вот, старик

Ракович не столько за здоровье сына переживал, тот закаленный, обкатанный, рюмку-другую шандарахнет — и утром свежий как огурчик. Щемило сердце старика Раковича за внуков. Когда грянул Чернобыль, старшему, Максимке, исполнилось семь лет, младшему, Николке, названному в честь деда, — пять годиков. Вот их здоровье и беспокоило Николая Раковича. Каждое лето, а также на зимние каникулы, он забирал внуков к себе, в Беседовичи, считавшиеся чистыми от радиации, обеспечивал сынову семью молоком, всякими овощами. Фронтовик Николай Ракович, трижды раненный, контуженный, почти уже полвека проживший с перебитым плечом, как птица с раненым крылом, хотел дождаться правнуков.

Старик Ракович болезненно переживал события в Москве во время ГКЧП, запрет КПСС, понимал, что этим не кончится. Что впереди ждет другая беда. Он чувствовал, что могучая сверхдержава — Советский Союз — уже дышит, как загнанная лошадь перед кончиной. Ракович порадовался, что сын не опустился на дно, как многие партийные работники, некоторые и на тот свет сошли, а сел надежно в кресло руководителя советской власти, остался первым человеком в районе. Вон Андрей Сахута, какой высокий был начальник, а в Минске не нашел работы, вынужден был вернуться лесничим в радиационную зону. Сахуту он помнил с того незабываемого вечера, когда в Беседовичах открывали новый клуб. Тогда Ракович весь вечер плясал наравне с молодыми, а то и лучше, поскольку в танце падеспань он крутил свою партнершу так залихватски, как не умел никто из молодых.

О Сахуте вспоминали и за столом, когда угощались свежениной. Дед Ракович говорил и посматривал на внуков, которые со смаком ели жареную печенку со шкварками. Да так усердствовали, что, казалось, у мальчишек за ушами трещит. Растут внуки здоровыми, крепкими. Максиму уже тринадцать лет. Утром он сказал:

— Деда, давай померяемся. Дорос я до твоей бороды?

Внук прислонился стриженой круглой головой, старик Ракович услышал знакомый теплый, родной запах. Приставил шершавую ладонь к Максимовой макушке и к своему подбородку.

— Ну, таскать, достаешь уже. Конечно, дед вниз растет. А ты вверх тянешься. Таскать, закон природы. Старому отживать, молодому расти, цвести. Наливаться соками, набираться силы. Жизнь не любит слабаков.

— Деда, а ты же в толстых носках. А я в тонких. Так нечестно, — петушился внук. — Смотри, папа, я деда скоро перегоню.

— Да, сынок, за лето ты здорово вытянулся. Теперь надо в плечах набирать силы. Мужать надо. Дрова рубить. Гантели таскать, — добродушно поучал отец. — Жизнь действительно не любит слабаков.

Захотел померяться и маленький Николка. Тот достал деду до грудины. Уткнулся головой в живот.

— А ты, Николка, уже выше моего пупа, — хохотал счастливый дед.

Радовался и отец. Мелькнула мысль: может, и правильно, что тогда, сразу после Чернобыля, не поехал на Витебщину заместителем председателя райисполкома. Может, до сих пор и ходил бы в заместителях, а так — хозяин района. И родителям сподручнее возле него, и ему лучше. Уютней. Никогда не приезжал к ним с пустыми руками, зато и его налегке не выпускали из дому.

Первые дни после разгрома ГКЧП переживал он сильно. Но благодаря земляку Шандабыле все пошло на лад. Теперь не нужно проводить бюро райкома, а там каждый мог высказаться — все же товарищи по партии. Всех выбрал пленум. А теперь Анатолий Ракович каждый понедельник проводит планерки. И редко кто осмеливается возражать ему. Демократия демократией,

а дисциплина, субординация — прежде всего. Вот и завтра в семь утра соберутся все районные руководители: председатели сельсоветов, председатели колхозов, правда, отдаленные не всегда приезжают — недостает топлива. Ракович это понимает, сильно не журит за то, что кто-то не был на планерке, а вот если плохо подготовил ферму к зиме, за это всыплет по первое число.

Но следующий понедельник начался совсем не так, как планировал Анатолий Ракович. Проснулся как обычно, в половине шестого — летом поднимался в пять. Зимой давал себе послабление. Мог и жену приласкать, но в понедельник этим не занимался — такую работу лучше делать под выходной, чтобы потом хорошо выспаться. Набраться новых сил.

Как всегда, по давней привычке выполнил несколько нехитрых упражнений. Потер уши, чтобы оживить мозг. Напоследок раз десять присел. Почувствовал, что спина разогрелась, тело взбодрилось. После этого — душ. Вареное яйцо, пару чашек крепкого чаю, и он готов начать рабочую неделю. Чай готовила жена. Она работала в школе. На занятия ей к девяти — было время отправить мужа на работу, собрать на учебу детей.

Все было как обычно утром. И вдруг Анатолий Ракович услышал по радио: в Беловежской пуще подписан договор между Россией, Украиной и Беларусью... Резанула ухо фраза: Советский Союз перестал существовать...

Известие ошеломило Раковича, будто удар из-за угла. Рой мыслей закружился в оглоушенной голове. Почему в Беловежской пуще? И что же теперь будет? Почему Горбачев спит в шапку? Неужели КГБ заодно с этими «беловежскими зубрами»? Неужели тоже, как и Горбачев, проспали?

Вопросы, вопросы вихрились в голове председателя исполнительного комитета, руководителя уже бывшей советской власти отдаленного радиационного района в Прибеседье. Хуже, чем Чернобыль, уже ничего не будет, подумал он, наспех допил чай и стал собираться на службу.

Дом Анатолия Раковича был недалеко от здания райисполкома, поэтому на работу он обычно ходил пешком, лишь в плохую погоду пользовался машиной. Пошел пешком и сегодня. На дворе ударил морозец. Свежий снег скрипел под ногами, как на Рождество. Но он не слышал этого здорового, смачного поскрипывания, не ощущал бодрости морозного воздуха, чему порадовался бы в другой день. Сегодня все мысли были об услышанном... В ушах засела фраза: Советский Союз перестал существовать... Собрались тайком, как воры, опрокинули по рюмке «Беловежской», той самой, которая некогда полюбилась Хрущеву, и разрушили могучую сверхдержаву. Конечно, это событие вызревало, все республики хотели независимости. Все ждали чего-то решающего, как беременная женщина ждет ребенка. И вот ребенок родился. Содружество Независимых Государств. А разве может быть государство без независимости? Это — колония. А кто теперь Горбачев? Президент несуществующего государства? Марионетка? Во как повернулась жизнь. Кто мог подумать два-три года назад, что такое может случиться? Даже и во сне не могло присниться.

А может, будет лучше? Так думали тогда почти все местные и высокие руководители. С надеждой на лучшую жизнь встретил сообщение из Беловежской пущи и белорусский народ. Но большинство ветеранов, особенно фронтовиков, встретили известие о насильственной смерти Советского Союза, великой и любимой их родины, за которую они проливали кровь, как личную трагедию, как полный крах всех надежд и чаяний.

Так воспринял сообщение из Беловежской пущи фронтовик Николай Ракович. «Что натворили, обормоты! Неужели с перепою? Такую великую страну разрушили! Ето ж, таскать, все равно как живьем похоронить. Ето все

Америка. Скупила всех с потрохами. Недаром Шушкевич сперва доложил Бушу. Договор подписали, приказ исполнили... Ну и прохиндеи!»

Старик Ракович матерился во весь голос. Решил позвонить сыну. Что он думает об этом событии? А может, и не слышал еще. Поскольку у него с утра планерка. Мелькнула мысль: может, это неправда? У него не укладывалось в голове, что три человека собрались где-то в лесу и подписали приговор могучей сверхдержаве. Разве такое может быть? Народ на референдуме высказался за Союз. Как можно не учитывать волю миллионов людей? Эти их лесные бумаги не могут иметь никакой силы. Разве что в уборную сходить с ними.

Бывший фронтовик Николай Ракович слабо знал историю родной Беларуси, его корни были подрезаны партийной идеологией, которая историю Беларуси начинала с Великого Октября. Дескать, до этого была сплошная нищета, безграмотность. О Великом Княжестве Литовском он раньше ничего не слышал и только недавно прочитал о его могуществе. Читал и не верил своим глазам: как же так? Было большое европейское государство, в котором властвовал белорусский язык. Это государство имело первый в Европе Свод законов, из которого даже Наполеон заимствовал некоторые статьи для своего Кодекса. А Раковичу ни в школе, ни в сельхозтехникуме не сказали об этом государстве ни слова. Может, поэтому не думал Ракович о Беларуси и сейчас. Его беспокоила судьба Советского Союза.

Может, сын еще дома? Набрал квартирный телефон — невестка ответила: Анатолий ушел на работу. Позвонил в кабинет — телефон был занят. «Ат, у него и без меня, таскать, забот хватает», — махнул старик рукой и больше не звонил.

Планерка началась как обычно. Только на этот раз в полутемном актовом зале, где собралось около полусотни местных руководителей, было холоднее обычного. Поэтому планерку председатель райисполкома начал с доклада шефа коммунальной службы. Невысокий коренастый мужчина в кожаной куртке со множеством замков-молний поднялся, обхватил широкими ладонями спинку свободного стула перед ним, словно боялся пошатнуться, прогундосил:

— За выходные выстыло. Мороз ударил. Сянни двадцать один градус. Нагреем, Анатолий Николаевич.

— Ето из Беловежской пущи дохнуло холодом, — послышался чей-то хрипловатый бас.

Зал оживился, все принялись дружно переговариваться между собой.

— Возьмите под контроль школы, больницу, детские сады. Кстати, мороз не первый день. Синоптики предупреждали. Надо не спать в шапку. Вы же не первую зиму работаете, — говорил Ракович, а сам думал: как там, в Беловежской пуще, все произошло? Как им удалось перехитрить власть, почему проспали спецслужбы? Что сказать, если зададут вопрос?

Ракович поднял начальника районного сельхозуправления, а сидел он за столом президиума, недалеко от ведущего планерки. За этим столом на сцене сидели заместители председателя, заведующие отделами. Бывал тут раньше и директор цементного завода — на правах руководителя самой большой в районе стройки, но теперь его место пустовало, поскольку он уже месяц лечился в областной больнице.

— Как идет зимовка на фермах?

Начальник управления, конечно же, подготовился, громким голосом начал докладывать: какие надои в колхозах, где есть прибавка, сколько коров отелилось. Раковичу хотелось перебить его: тут не место для отчета, ты

скажи, какие есть проблемы, какие недостатки, что сделать, чтобы их ликвидировать.

— Это все известно. А вот почему в субботу, позавчера, в колхозы не доставили брагу? Коров на сухой паек поставили?

Выступающий принялся сумбурно объяснять, что в субботу на спиртзаводе произошла некая поломка, потому и браги не было, но сегодня завод работает, фермы будут обеспечены «бурдой».

— А директор спиртзавода есть?

— Он в отпуске. Главный инженер замещает. А он почему-то не приехал на планерку, — пояснил первый заместитель председателя.

— Разберитесь, что у них там случилось.

Ракович рассчитывал провести планерку оперативно, без тягомотины. Но поднялась дебелая русая женщина, начальник районной племенной станции:

— Анатолий Николаевич, есть проблема. Не все колхозы закончили выбраковку больных лейкозом коров...

Тут подхватился главный ветврач района, принялся разъяснять ситуацию. Ему стал возражать главный зоотехник. Наконец с этим вопросом разобрались: определили, кто и когда обязан доложить председателю о принятых мерах. Затем начальник милиции и прокурор затеяли спор. А суть вот в чем: некоторые кооператоры хотят торговать в больших деревнях, а участковые инспекторы милиции их прогоняют.

— Пусть приобретают лицензии и торгуют. Никого не надо гонять, — решительно сказал Ракович.

В это время ожил телефон, стоявший справа от Раковича. Звонил Николай Шандабыла из Могилева.

— У тебя планерка? Закончишь — позвони мне. Есть дело.

Как только председатель положил трубку, кто-то крикнул из зала:

— Может, насчет пущи? Как вы думаете, Анатолий Николаевич? Что там произошло? Что ети три зубра утворили? Где мы теперь живем?

— Мы живем в независимой Беларуси. Ну, а дружить будем со всеми. Потому и создано Содружество Независимых Государств. А вообще, у меня такая же информация, как и у вас. Услышал утром краткое сообщение. Будут напечатаны материалы... Смотрите сегодня телевизор. Должны и показать, и рассказать. Дело — очень серьезное. Ну, а наше дело — исполнять свои обязанности. После короткой паузы Ракович добавил: — Доить коров нужно при любой власти. Печь хлеб и обогревать квартиры. На этом все. Спасибо. До свидания!

Расходились неторопливо. Ракович слышал: все говорили о «беловежских зубрах». У каждого была своя мысль, высказывались теперь смело, как то и подобало гражданам независимой страны.

К Раковичу подошел директор лесхоза, сказал, что у него вакансия главного лесничего открывается с десятого, значит, с завтрашнего дня. Можно ли оформлять Сахуту?

— Конечно, можно. Когда оформишь, зайдешь с ним ко мне.

Идя в кабинет, Ракович подумал: «От с кем надо поговорить о беловежских событиях. Он многое знает. Знакомых полно в высоких кабинетах. Может, с кем успеет переброситься словом. Теперь люди КГБ не боятся».

В кабинете набрал номер Шандабылы и услышал знакомый глуховатый густой баритон.

— Что ты долго заседаешь? Небось, про беловежский договор спрашивали?

— Так, разные проблемы. Хотя спрашивали и об этом. А я знаю то же, что и они. Может, у вас больше информации?

— Пока что ничего не знаю. Одно ясно, что дело темное. Наломали они дров. И беды будет много.

Снова вспомнил Андрея Сахуту. Вот этому человеку довелось пережить немало. Гикнулся с высокой должности и оказался в радиационной зоне рядовым лесничим, без семьи, без квартиры с ванной и теплым клозетом — тут все удобства за углом на улице, без персональной «Волги», без шикарного кабинета со множеством телефонов и секретаршей в приемной... Хорошо, повысим его, как я обещал, так и будет. Руководителю любого ранга всегда приятно, когда удается сдержать свое слово, тогда этот человек больше уважает себя.

Раздумья прервал телефон, послышался голос директора лесхоза, тот спросил, можно ли на аудиенцию.

— Хорошо. Подъезжайте, — глянул на часы — уже шестой час.

С облегчением подумал: рабочий день кончается, можно посидеть, поговорить, обсудить известие из Беловежской пущи, помянуть Георгия Акопяна, а заодно помянуть бывшую великую страну. Ракович удивился, что подумал об этом — о кончине Советского Союза — довольно спокойно, без эмоций и волнения, словно это должно было случиться. А жизнь идет своим чередом. Бывший секретарь обкома партии начинает новый карьерный рост, он, Анатолий Ракович, помнит Сахуту с того далекого вечера, когда вытаскивал из лужи заляпанный грязью «газон» комсомольского лидера. Молоденький тракторист Толик Ракович тогда смотрел на первого секретаря райкома комсомола Сахуту как на большого и важного начальника, к которому и его отец относился с уважением.

Ракович поднялся, открыл сейф, будто хотел убедиться, что начатая бутылка коньяка стоит на месте. Он понимал, что гости приедут не с пустыми руками, но вдруг не догадаются или постесняются прихватить что-то с собой, так у него есть «резерв главного командования». Предупредил секретаршу, чтобы сразу пропустила директора лесхоза, приготовила кофе на троих и может быть свободна. Секретарша подобострастно кивнула и снова склонилась над пишущей машинкой.

Директор лесхоза Иосиф Капуцкий и новый главный лесничий Андрей Сахута вошли в кабинет Раковича. Оба в форменных кителях, раскрасневшиеся, слегка навеселе, директор держал в руках тяжелый дипломат. Ракович понял, что гости уже замочили новую должность, но и к нему прибыли не с пустыми руками. Он особенно пристально взглянул на Сахуту: что чувствует этот человек, начавший восхождение с лесничества, где некогда работал после техникума и через тридцать лет вынужден был туда вернуться. А сегодня он поднялся на ступеньку выше, в петлице форменного кителя заблестела новая, четвертая звездочка.

Однако лицо новоиспеченного главного лесничего не выказывало особой радости, глаза были серьезные, даже усталые, хоть малость и поблескивали от выпитой чарки, от неожиданных объятий и поцелуев, о которых знали только Он и Она. «Умеет держаться бывший партийный идеолог, — подумал Ракович. — Обкатку прошел основательную». И вдруг его словно обожгло: Георгий Акопян и Андрей Сахута — одногодки! Этот выкарабкивается из ямы, куда столкнули обстоятельства жизни, а тот сошел в яму навсегда. Но как ни карабкайся, все там будем, кто раньше, кто позже. Однако лучше все-таки оказаться там позже. Ракович почувствовал, как снова защемило сердце.

— Ну что, Андрей Матвеевич, поздравляю! Дай Боже дорасти вам до министра. И так же быстро.

— Спасибо, Анатолий Николаевич! Благодарю за поддержку. А насчет министра... Поздно. Мой поезд уже ушел.

— Ну, до заместителя же реально! Четыре звездочки... Это вы как генерал армии, да?

— Теперь и у генерала армии одна звезда. Большая, — уточнил Иосиф Капуцкий.

— Ты хочешь сказать, как у тебя? — улыбнулся Ракович и тут же заметил тень недовольства в глазах директора лесхоза: тот спал и видел себя на более высокой должности, а главное — подальше от радиации. — Ну что, мужики? Рабочий день кончается. Как у нас говорят: уже на стыкальне. Можно и по капле. У меня есть коньяк.

— Анатолий Николаевич, у нас и чарка, и шкварка... — подхватился Капуцкий. Но Ракович поднял длинную красивую ладонь бывшего механизатора, а теперь интеллигента:

— Подожди минутку.

Он позвал секретаршу. Попросил кофе.

— Водитель спрашивает, когда ему подъезжать? — сказала она.

— Через час. Я позвоню. У нас тут серьезный разговор, — будто оправдывался Ракович перед секретаршей.

Вскоре на подносе под белоснежной салфеткой она принесла три чашки, пузатый приземистый чайник, сахарницу и пачку печенья.

— Ну вот, теперь можно начинать. Давайте тут устроимся, — хозяин кабинета показал на приставной столик.

Капуцкий выставил две бутылки «Посольской», которую раздобыть возможно было лишь по блату. Положил добрый брусок сала, полкольца колбасы и даже большой желто-зеленый лимон. Гости сели по сторонам приставного столика. А хозяин в торце его. Капуцкий наполнил рюмки.

— Давайте помянем нашего товарища Георгия Акопяна. Пусть ему будет пухом земля.

Поднялись все. Молча, не чокаясь, выпили.

— Я когда-то слушал его отца. Он приезжал в Хатыничи на собрание. А собрание было необычным, — начал вспоминать Сахута. — Тогда объединялись два колхоза. Народ собрали в саду. Сергей Хачатурович обычно говорил: «Душа любезный, зови меня Харитоновичем». Ну, его так и звали. А слова «душа любезный» знал весь район. Люди уважали его. Человечный был мужик. Настоящий партийный лидер. А собрание то помнится. Будто было вчера.

Ракович слушал внимательно. Поскольку вспомнил, как про объединение колхозов рассказывал некогда отец, тогдашний заместитель председателя райисполкома. Толик тогда еще не ходил в школу. Как летит время! Ему уже близко до полсотни. Нет единой, монолитной партии коммунистов. Нет нерушимого Союза. А что будет дальше? Жизнь насыщена судьбоносными событиями. Ему хотелось услышать мнение Сахуты о событиях последних дней.

— Есть предложение, — Капуцкий снова наполнил рюмки, выпрямился, худощавый, узкоплечий, длиннорукий.

— Ну, давай свое предложение. Только зачем ты поднялся? Ты ж не на собрании, — поддел Ракович.

— Привычка такая. Хорошо, тогда сяду. Так вот, хочу предложить тост за Андрея Матвеевича. Мне посчастливилось познакомиться с этим человеком. Признаюсь прямо, меня удивило его решение пойти лесничим в зону. Это пример подлинной любви к лесу. Это желание служить Его Величеству Лесу. Думаю, что на новой должности он принесет много пользы нашему общему делу.

— От, любишь ты, Иосиф Францевич, много говорить. Лес молчаливый, а директор лесхоза — говорливый, — усмехался Ракович. — Рюмка закипит в ладони. Пора бы уже и опрокинуть...

— Все, закругляюсь. Желаю вам, Андрей Матвеевич, крепкого здоровья. Успехов в новой должности. Чтобы вам хорошо работалось и счастливо жилось в родном краю!

— Большое спасибо. Буду стараться оправдать доверие, — Андрею пришлось снова опрокинуть полную чарку.

Ракович спросил, как восприняла жена это известие — про новую должность. Андрей сказал, что она еще не знает, звонил из лесхоза, но ее не было дома.

— Вот телефон. Пожалуйста, звоните. А мы перекурим.

Ракович направился к двери, за ним двинулся и Капуцкий.

Андрей набрал номер. В трубке послышался глуховатый усталый голос жены. То ли от выпитой рюмки ржанушки-веселушки, то ли от понимания, что его восхождение идет успешно, то ли повлияло ощущение вины, а он сегодня неожиданно провинился, ему захотелось поздороваться с женой, как в молодые годы:

— Здравствуй, моя радость!

— Здравствуй! Я уже заждалась. Давно не звонил. Чую, у тебя хорошее настроение.

Голос жены сразу потеплел, но в нем слышались тревога, как он там, и удовлетворение, что позвонил, жив-здоров, что она для него — по-прежнему радость.

— С сегодняшнего дня назначен главным лесничим. Так вот, замочили. Взяли по капле.

— Поздравляю, мой любимый. Желаю тебе успехов и жду встречи.

Такого ласкового разговора у них не было давно. Слова «мой любимый» Андрей не слышал от жены уже несколько лет. Да и он в последнее время редко говорил жене ласковые слова. А как утратил высокую должность и стал безработным, их отношения с каждым днем осложнялись, натягивались, будто струна. Конечно, он не забыл, как донимала жена: почему сидишь? Почему не ищешь работу? Но сегодня инстинктивно сказал: «моя радость», добавил всего три буквы к имени жены, поскольку в паспорте она — Рада.

Андрей Сахута был очень доволен разговором с женой. Но сказал ей не всю правду. Когда она спросила, где он будет жить, ответил, что пока остановился у односельчанина, инженера-связиста, что на выходные приедет и все расскажет. Да, односельчанин, инженер-связист, действительно живет в райцентре, но остановился Андрей не у него. Хозяйка квартиры — симпатичная вдова, знающая Андрея со времен комсомольской юности. И сегодня он с ней горячо целовался...

Рада также была довольна разговором. В ее душе, как трава сквозь асфальт, начала пробиваться надежда, что с новой должности Андрей сможет вернуться в Минск и они снова будут жить вместе. Служебный роман, начавшийся у нее с коллегой-финансистом от одиночества и даже от желания отомстить мужу, что не послушался ее, бросился, словно в омут, в радиационную зону, она готова окончить в любой момент. Этот роман убедил ее, что Андрей куда лучше и что она не отдаст его никому и готова ехать за ним даже в радиационную зону. С ним прожита почти вся жизнь, вырастили детей, дождались внуков.

Не могли знать тогда муж и жена Сахуты, какие испытания ждут их семейный челн в бурливом течении житейского моря.

VII

После неудачной охоты жизнь Кости Воронина пошла под откос, словно снег со стрехи весной — шусь и съехал наземь. А ему нынче исполнилось всего только пятьдесят лет. Золотой юбилей. Жить бы еще да жить. Но со всех сторон сыпались неприятности, как из сеялки сыплется зерно в свежую пашню. Но зерно давало всходы, поле колосилось, цвело, дышало теплым ароматом хлеба, радовало глаз. Давало человеку жизненные силы.

Костя ж, наоборот, с каждым днем все сильнее ощущал, как усталость овладевает им, злость на людей, на соседей, на жену и особенно на товарищей по неудачной охоте переполняла его душу. Подельники-браконьеры — Иван Сыродоев и Семен Чукила — уговорили его взять всю вину на себя, дескать, именно твой дуплет свалил лося. Сыродоев ранил, а может, и не попал совсем, поскольку лось бежал дальше. Подельники клялись уплатить штраф: на троих раскинем эти неполных полторы тысячи, они — по пятьсот, а тебе — остальные четыреста семьдесят рублей. Костя слово сдержал: заявил на суде, что он один застрелил лося, что уговорил Ивана Сыродоева и Семена Чукилу поехать на охоту, что они — старые, немощные пенсионеры. А теперь они отказываются платить деньги: мол, тебе присудили, ты и выкручивайся, корову продай, водку меньше пей... Одним словом, как хочешь и чем хочешь расплачивайся. А именно же Сыродоев был закоперщиком охоты: хотел лосятины к своему юбилею.

Злость, беспомощность разъедали Костино сердце. Ничего не хотелось делать, еще сильней тянуло к водке — лишь после рюмки он засыпал. Во сне часто плакал, бредил и скрежетал зубами. Потом просыпался, шатался по дому, как привидение. Аксинья, жена, сердито бурчала: «Пьянтос несчастный, дай хоть минуту покоя. Мне вставать рано. Коров идти доить. А ты будешь дрыхнуть». Костя огрызался, набрасывал на плечи замызганную фуфайку, выходил во двор курить. И все думал, думал, разматывал клубок своей нелегкой и непростой жизни.

Отца Костя совсем не помнил. Ему исполнилось два года, когда отец поцеловал его, сонного, проглотил терпкий комок, что застрял в горле, навсегда попрощался с дочкой Ниной, ей уже было пять годиков, трижды поцеловал жену Просю и вместе с немцами подался на запад. Старший полицейский Степан Воронин не мог ждать милости от советской власти, поскольку преданно служил фюреру. Летом сорок третьего партизаны ранили его, застрелили коня, тот грохнулся на берегу Беседи. Воронин кувыркнулся с него, переплыв реку, спрятался в кустарнике. Скоро стемнело, и партизаны не нашли его. Просю с детьми грозились поставить к стенке и расстрелять. Особенно лютовал молодой командир взвода Володька Бравусов. Старшие партизаны отговорили его, пожалели маленьких детей.

Об этом происшествии Костя узнал намного позже. А вот тот день, когда к ним заглянули председатель сельсовета Свидерский, участковый Бравусов и финагент Сыродоев, врезался в память на всю жизнь.

Мать взяла подойник и направилась в сени. Костик догадался, что она пошла доить корову и вскоре он будет пить теплое и вкусное парное молоко. Внезапно в окне мелькнули тени, во дворе послышались голоса. Нинка и Костик бросились к окну. Малыш узнал дядю Романа Свидерского, который жил недалеко от них, всегда ходил в желтой шинели и красных резиновых сапогах. Второй мужчина был в синей красивой фуражке, на его плечах блестели желтые погоны. Третий — в темно-зеленой шинели с блестящими пуговицами. Мужчины громко говорили, размахивали руками.

— Бежим спасать мамку!

Нинка схватила маленького брата за руку и потянула за порог. Во дворе дети обступили мать с обеих сторон. Костик обхватил ее за юбку, а мать прижала его за плечики.

— Когда выплатишь деньги на заем? Еще раз спрашиваю! — кричал человек в желтой шинели.

— Нету теперичка денег. Сотню яиц сдала. Молока за двести литров уже вынесла. Подрастет теленок — сдам на мясо.

Услышав про любимого бычка, которого сдадут на мясо, Костик захныкал. Мать ласково погладила его голову шершавой нежной рукой.

— А шерсть кто будет сдавать? — наседал, как коршун, начальник в желтой шинели.

— Овечка сдохла еще осенью.

— Врешь! Овечку ты прирезала. Овчину не сдала.

— Нет у меня овчины. И шерсти нет. Не растеть... Только в одном месте...

— Ах ты, стерва полицейская! — взвился человек в желтой шинели. — Самогонку гонишь. А еще прибедняешься, кулацкое отродье. Пошли за мной!

Через некоторое время Костик услышал крики в бане. Вскоре мужчины ушли, а мать плакала весь вечер.

А назавтра пришла тетя Галя, говорила про какой-то акт, участковый повез его в район. И тетя, и мать плакали вдвоем.

А через некоторое время, вечерком, снова приехал милиционер в красивой фуражке. На этот раз он не кричал, погладил Костика по голове, дал конфету ему и Нинке. Мать его угощала, говорила с ним ласково. Костик ничего не мог понять.

Милиционер заезжал к ним все чаще. Костик привык к нему и не боялся. Он все ждал, когда вернется отец. Мать говорила ему и Нинке, что отца убили немцы. И где он похоронен, она не знает. Костик слышал от соседей, что некоторым почтальонша приносила «похоронки», но люди потом возвращались. Костик ждал отца. Раз могилка его неизвестна, значит, живой.

В школе мальчишки не хотели дружить с Костиком, хоть он старался хорошо учиться, никого не обижал. Зато его обижали часто. Он тогда бросался в драку и часто возвращался домой с разбитым носом. И в пионеры Костика не приняли. В седьмом классе все вступили в комсомол, а Костика не взяли. От обиды хотелось плакать, терпкий комок засел в горле, когда один возвращался домой. Все остались на собрание. В левом кармашке, возле сердца, вместо комсомольского билета Костик носил маленькую фотокарточку отца — в гимнастерке с погонами, с густым чубом. И у Костика чуб такой же густой, как у отца.

Мать рассказала, что отца захватили в плен немцы, морили голодом, заставляли им служить. Чтобы не помереть с голодухи, отец согласился. И не только голод заставил. Он не любил советскую власть, поскольку она сгубила его отца, Костикового деда Осипа. Дед был трудолюбивым, мастеровитым, имел тройку лошадей, пять коров. Его раскулачили, выслали в Сибирь, где он и погиб.

После школы Костя Воронин поступил в училище механизации. Там у него никто не спрашивал об отце, его хвалили за старательность, трудолюбие. Училище он окончил успешно. Вернулся домой, дали ему старенький гусеничный трактор «НАТИ». Он перебрал его, отремонтировал, председатель колхоза Макар Казакевич очень хвалил Костика.

А его лучшие годы жизни — это служба в армии. Хорошо одет, всегда накормлен. Все вовремя. Служил в танковых войсках. Замполит спросил

однажды, почему он не вступал в комсомол. Костя придумал историю: отец был партизанским связным, чтобы добывать сведения, поддерживал связь с немцами и полицаями. Партизаны из другого отряда не разобрались и расстреляли его как предателя. И по деревням пустили такую молву. И Костю в комсомол не взяли... Уже дул другой ветер, царила хрущевская «оттепель», ефрейтора Костю Воронина приняли в комсомол, присвоили звание младшего сержанта. На учениях Костя лучше всех отстрелялся, командир полка дал ему десять суток отпуска.

Никогда не забудет Костя, как радовалась мать его приезду! Такой счастливой он не видел ее за все предыдущие годы. На танцах в клубе, когда объявляли «дамский танец», девчата наперегонки мчались, чтобы пригласить Костю. А он танцевал только с Ксеней. Женщины, сидевшие на лавках вдоль стены, как галки, в черных плюшевках, любовались этой парой: оба высокие, стройные, светлоглазые. После армии Костя вернулся домой, снова сел на трактор. Вскоре сыграли с Ксеней свадьбу. Жили молодые хорошо, колхоз помог построить звонкую пятистенку из смолистых бревен прибеседского леса.

Особенно радовалась Прося. Она, вдова, которую часто обзывали «полицейской шкурой», подняла на ноги таких видных, трудолюбивых, уважаемых в деревне детей. Нинка вышла замуж за Данилу Баханькова, который тогда бригадирил в Хатыничах. А она — лучшая доярка. Невестку Ксеню Прося полюбила как родную дочку, гордилась, что Ксенин брат, Николай Артемович, главный агроном колхоза, известный человек в районе. Одно удручало Просю — что невестка никак не подарит ей внука или внучку.

Заждалась детей и молодая пара. То, что жена не может забеременеть, удручало и Костю. Была и еще у него одна обида, глубоко затаенная в душе. До свадьбы Ксеня не соглашалась с ним переспать: распишемся — тогда все будет. Тяжело было терпеть молодому здоровому парню.

В ночь после свадьбы у них все состоялось. И хоть Костя был парень неопытный, показалось, что его невеста уже «нечестная». Тогда он ничего никому не сказал, а как-то после спора, когда прожили уже три года, попрекнул Ксеню. Та расплакалась, обозвала его дураком, который ничего в жизни не понимает. Конечно же, про объятия с Вольгиным Петькой в копне сена у Беседи она не призналась. Видимо, и Петька не выдал их тайну, поскольку никто в деревне не мог сказать о Ксене плохого слова. Но Костя имел подозрение на Петьку, поскольку знал, что когда-то тот ухаживал за Ксеней, но сейчас у него своя семья, растут дочка и сын.

Шли годы. Детей у Кости и Ксени так и не было. Хадора водила дочку к шептухам, ездила Ксеня в районную больницу, в областную, пила разные таблетки, всякие травы. Заставила провериться и Костю: у него все было в порядке. Молчала звонкая новая хата, не слышала она детского смеха и плача.

Как лучшего механизатора председатель колхоза решил назначить Костю руководителем тракторной бригады. Но для такой должности желательно было иметь в кармане партийный билет. Иван Сыродоев, который тогда заведовал фермой, написал Косте рекомендацию, еще две дали инженер и ветеринарный врач. И Костю единогласно приняли в партию. Об отце никто не вспомнил, да и давно то было...

Теперь, вспоминая то партийное собрание, Костя аж трясся от злости и ненависти к Сыродоеву: коммунист, фронтовик, оказался этаким подлюкой... Вспомнился он в форме финагента. Как приходил к ним, раскрывал кожаную сумку-планшетку, телепавшуюся на боку, и начинал: «Ты что себе думаешь, Прося? Когда будешь платить налоги?»

А тогда, когда назначили бригадиром, Костя ощущал себя на коне. Сельчане, мужчины старше его, и особенно женщины, издалека здоровались с ним. Костя всегда был аккуратно одет, даже комбинезон на нем был чище, чем у других, даже молодых парней. Завелась и копеечка в кармане. И Ксеня стала больше зарабатывать. Купили телевизор, мебельный гарнитур, а потом мотоцикл с коляской. Это была давняя Костина мечта: иметь мотоцикл — жену на сиденье сзади, сына или дочку в коляску и айда в лес — по грибы или ягоды. И они ездили, но в коляске сидела теща...

Ксеня давно мечтала приобрести хороший ковер и повесить в спальне во всю стену, чтобы и красиво было, и спать тепло. Ковер купили, но хата оставалась холодной и молчаливой.

В деревне бездетная семья чувствует себя очень неуютно, особенно — женщина: она не имеет права быть ни кумой, ни повитухой, ни крестной матерью. Разные шептухи-знахарки советовали Аксене посадить своими руками в доме фикус, носить на шее лепестки розы в маленьком мешочке, есть орехи либо сливы-сростки, довелось просить беременную женщину, чтобы та через забор передала кусочек хлеба изо рта в рот... Все Аксеня делала, но детей не было. С годами Костя все больше убеждался, что нет у них детей из-за жениного греха, но однажды он услышал другое...

Как-то он набрал в магазине полную авоську — хлеб, селедку, конфеты для жены — и поллитровку взял. Когда покупал, у прилавка толпились женщины, завистливо поглядывали на него. Костя вышел за двери, замешкался на крыльце и услышал голос Шкурдюковой Палашки:

— Всего у них хватаеть. И хлеба, и водки. А детей Бог не дасть. Прокляли люди Степана, Костиного батьку. Потому и род на нем закончится.

У Кости аж в глазах потемнело, хотелось вернуться, взять Палашку за воротник: «Врешь! Отец мой невиновен...»

Однажды после жатвы Костя получил целую кипу денег. Решили мужчины замочить дожинки, поскольку работали, обливались потом по двенадцать часов. Урожай выдался неплохой, так что и денег механизаторы заработали хорошенько. Ну и разговелись... Пришел Костя домой поздно и в добром подпитии. Аксеня принялась укорять. Он со злостью выдохнул:

— А для кого деньги собирать? Кому передам? Ковры покупать, чтобы моль съела? На тот свет ничего не возьмешь. На крышке гроба багажника нет, — он привалился к столу, заикаясь, тяжелым языком гундосил: — Кабы ж был сын или дочурка... Я ж бы на руках носил и ребенка, и тебя. Жил бы как человек. Ето все через твой грех. Не дождалась... Между ног сильно свербило...

Аксеня сквозь слезы крикнула:

— Это тебя прокляли за отца. Он стрелял и старых, и малых... Вот и прокляли люди. А ты на меня плетешь. Нажлуктился водки. Набрался, как жаба грязи.

Костя не стерпел и с кулаками набросился на жену. Она защищалась и до крови исцарапала ему руки. Это еще больше разозлило Костю, и он сильно побил Ксеню. Назавтра ее лицо было в синяках.

— Иди доить коров. Они, как и я, ни в чем не виноваты, — простонала Ксеня.

И Костя, как побитый пес, потащился на ферму... Доярки, конечно же, приметили красные шрамы на Костиных руках:

— Что ж то за кошка у тебя такая? Наверно, сиамская? Говорят, она дюже свирепая... — язвительно усмехались женщины.

Костя огрызался, как затравленный волк. Голова была тяжелая, исцарапанные руки саднили, не слушались его. Доить коров он умел, когда-то мама

сильно простудилась, заболела воспалением легких, отвезли ее в больницу, так он с Нинкой хозяйничал. Тогда и корову доить научился. Случалось, и Ксене подсоблял на ферме.

На дворе стоял сентябрь, молока буренки давали небогато. Доярки, подоив своих коров, помогли и Косте. Вышел он с фермы, когда начало светать. Во рту пересохло, язык будто распух. Домой идти не хотелось и на машинный двор с исцарапанными руками, в замызганной фуфайке стыдно было показаться. Ноги сами понесли его к Беседи. Там он помыл руки, сполоснул лицо. Вода была холодная, пахла водорослями и... коровяком, поскольку с фермы, «привязанной» районными начальниками на взгорье, частенько, когда переполнялись отстойники, вонючая жижа текла в Шамовский ручей, а дальше в Беседь.

Понемногу светало, крепчал ветер. Холодный, влажный, тугой, он пронизывал до костей, а старая фуфайка грела слабо. Да и ноги в резиновых сапогах начинали мерзнуть. Куда деваться? Обвел взглядом кряжистые ольховые кусты на берегу реки, глянул на темную стену леса. И его потянуло туда: там будет теплее, безветреннее, пока дойдет до Лесковичей, откроется магазин, можно похмелиться, душу привязать. На работу решил не идти — стыдно показаться в таком виде.

Широкие исцарапанные Костины ладони уцепились за холодный, настывший трос, тяжелый, набухший паром неохотно сдвинулся с места, помалу начал отдаляться от берега.

До леса дошел быстро. Ветер, кажется, выдул хмель из головы, Костя вздохнул свободней. По дороге попадались на глаза боровики. В кармане нашелся целлофановый пакет, складной ножик, и Костя взялся собирать грибы. Срезал самые молодые, ядреные, на толстеньких ножках. И так увлекся, что забыл про все свои беды и несчастья, и тяжкие думы постепенно ушли из головы. За все лето он ни разу не сходил по грибы — некогда было, а тут столько боровиков! И самое удивительное — их было много вдоль дороги, с обеих сторон. Детвора пошла в школу, взрослым не до этого, вот и высыпали грибы, хоть косой коси.

Пока дошел до деревни, набрал почти полный пакет, спрятал его под елочкой, пошуровал к магазину. Издалека увидел открытую дверь, обрадовался, аж на душе посветлело: сейчас «отоварится», возьмет бутылку, чего-нибудь на зуб, устроится в лесу... Но ни вина, ни водки в магазине не было — вчера все подчистили. Высмотрел круглые флакончики тройного одеколона, взял два и пачку печенья. Нашел в лесу свой пакет с грибами, тут же, под елочкой, первый раз в жизни глотнул из флакона. Тонкая обжигающая струйка разливалась внутри и будто сжигала все на своем пути. Посидел немного на пне, но было холодно, и Костя помалу, нога за ногу, потащился домой.

Снова тяжелые думы овладели им. И казалось, что всю-то жизнь не имел он радости — одни муки, холодина, голодуха, тяжелая работа без выходных. Светлые воспоминания остались от службы в армии и от первого года семейной жизни. Это был счастливый год, действительно медовый, полный нежности и ласки. Год кончался, примет беременности не было, молодые, их матери начали тревожиться. Костины подозрения, что Ксеня грешила до него, крепли. Но услышанное от Палашки Шкурдюковой принудило думать и о людском проклятии. Эти мысли не прибавили счастья в Костиной жизни, наоборот, сделали его молчаливым и сумрачным.

...Ветер наконец растрепал пепельно-серые тучи, заблестело яркое осеннее солнце, но Костино настроение не улучшилось. Хмурый, замкнутый, сердитый на жену, на себя и на весь мир, переступил он порог своей хаты.

Аксеня, как и раньше, лежала в постели. Повернулась к стене, когда он вошел в дом. Ничего не говоря, Костя принялся сортировать грибы. Перебрал, обрезал корешки, старательно вымыл, большие порезал помельче. Растопил плиту, порезал на мелкие кусочки старое сало, метнул на сковородку, потом нарезал лука. Грибы тем временем варились в чугунке. Когда они покипели, слил воду, грибы высыпал на сковороду. Она зашипела, заскворчела, вся хата наполнилась маняще-вкусным ароматом. Костя почувствовал, что сильно проголодался.

И тут распахнулись двери, влетела разгневанная теща Хадора со слезами на глазах. Раскрыла рот, чтобы обрушить на зятя-пьянтоса целый водопад проклятий, но увидела его возле плиты, где он ложкой помешивал грибы, вдохнула щекочущий их запах и застыла с раскрытым ртом. Костя понял, что обострять ситуацию никак нельзя, нужно искать путь к примирению. Он спокойно помешивал грибы, левую, сильно расцарапанную руку спрятал за спину. Как можно спокойнее произнес:

— Проходите, мама, садитесь. Грибы счас будут готовы.

Услышал, как за ширмой зашевелилась Аксеня. Услышала это движение и Хадора, потопала туда. Вскоре из-за ширмы послышались причитания:

— А моя ж ты дочушка! Что ж он с тобой сделал?! Надо в милицию заявить. Пойду в контору, позвоню. Ах ты, полицейский выблядок...

Костя сжал зубы, кусал язык, чтобы не обматерить тещу, не взять ее за воротник и не выбросить из хаты. Он молча поставил грибы на стол, закопченный чайник на плиту и крутанулся за порог. Куда идти? К кому? К своим дружкам-собутыльникам, с которыми вчера пил? С такими руками, расцарапанными до крови, куда пойдешь?

Его охватил озноб, поскольку выскочил даже без шапки. Нащупал в кармане фуфайки круглый флакон, тоже холодный, настывший, дрожащими руками откупорил, глотнул обжигающей жидкости, спрятал флакон возле угла под дровами и пошел в дом. В животе жгло, хотелось чем-то заесть.

В доме было тихо. Женщины спокойно, приглушенно переговаривались. «Значит, участкового не побежала звать. И не побежит. Сыну-начальнику будет стыдно. Да и я — не последний человек. Бригадир...» Костя сел за стол и принялся есть грибы. Высунулась из-за ширмы Хадора.

— Вкусные грибки. Попробуйте, мама, — неожиданно для себя тихо произнес Костя.

И не поверил своим глазам: Хадора села за стол, взяла ложку, подцепила маленький боровичок, долго шамкала беззубым ртом.

— А и правда, ничего... Можно есть.

— Кабы еще сто граммов — душу привязать... Мировую выпить. Ну, виноват я. Сам себя ненавижу за вчерашнее. Однако же за отца... Виноват я, что ли, что он пошел в полицию? А куда ему было деваться? На тот свет? Так мы ж с Нинкой были маленькие. Он же ради нас старался... Кабы пошел в партизаны, немцы бы с полицаями укокошили. Такой узел тугой жизнь завязала. Куда ни кинь, всюду клин. Я ж отца совсем не помню. Мать говорила: поцеловал меня сонного...

Костя внезапно умолк, поскольку ощутил давящий комок в горле, из глаз вдруг посыпались крупные горячие слезы. Заплакала и Хадора. Глухой, сдавленный плач послышался и из-за ширмы.

— Дочушка, есть у тебя капля водки? А может, я схожу двору? Принесу.

— Есть. Счас.

Аксеня набросила на плечи халат, вышла в сени, вернулась с поллитровкой.

Они сидели втроем за столом, пили самогонку, закусывали молодыми боровичками. Костя прятал руку с красными шрамами, Аксеня не поднимала головы, чтобы не светить свежими багрово-синими фонарями. После рюмки Костя поклялся, что водки в рот не возьмет. И жена, и теща поверили ему.

И Костя вынужден был держаться. Через неделю его вызвали на партбюро и влепили строгий выговор — за прогул, за пьянку. Особенно распекал его председатель сельсовета Иван Сыродоев. На то имелись две причины: Сыродоев давал Косте рекомендацию и потому нес моральную ответственность за своего «крестника». А во-вторых, позвонил председатель райисполкома Николай Шандабыла: мать Хадора пожаловалась на зятя — напился, избил Ксеню, сестру Николая. Поэтому Сыродоев сурово сказал Косте: «Еще раз обидишь жену, упеку в тюрьму, сгниешь там».

Месяца три Костя не пил. А под Новый год разговелся: подстрелил с мужиками на охоте кабана, и замочили свеженину. Ружье он получил в качестве премии за добросовестный труд. И охота Косте полюбилась. Дома по хозяйству зимой хлопот мало, дети не плачут — вольный казак. Двустволку на плечи и пошел. Частенько приносил зайцев. Ксеня научилась готовить зайчатину: тушила ее со свеколкой, добавляла сала, поскольку одно заячье мясо терпкое и слишком постное. Лицензий никто из деревенских охотников не покупал.

Теперь, когда Костя приходил домой пьяным, Аксеня молчала, зато назавтра уже уедала как могла. Костя божился-молился, что больше не будет пить, и неделю-другую держался, а потом снова набирался, как свинья грязи. Больше всех уговаривал его Данила Баханьков, директор совхоза. А его упрашивала жена Нина, она и Костю, родного и единственного брата, просила держаться. Костя обещал, но слова сдержать не мог. И в конце концов председатель вынужден был снять Костю с бригадирства. Дал ему старый, добитый трактор: не хотел руководить, будешь ремонтировать. Трактор Костя привел в порядок, весной больше всех напахал земли. На жатве больше всех намолотил зерна, но на прежнюю должность путь был закрыт.

Так и дожил Костя Воронин до октября 1986-го, когда рванул чернобыльский реактор. Хатыничи не подлежали обязательному отселению. Потом начали переселяться семьи с маленькими детьми, в соседнюю деревню Белую Гору потянулись специалисты, механизаторы, доярки. Переселились и Костя с Аксеней. И вот уже промелькнуло пять весен после Чернобыля. Если бы не эта неудачная охота, можно было бы терпеть и дальше, тянуть житейский воз без особой радости.

Чем больше Костя думал о своем положении, пытаясь найти выход, тем сильнее злился на Ивана Сыродоева. Так уговаривал перед судом, дескать, раскинем штраф на троих и выплатим, только возьми вину на себя, поскольку именно от твоего дуплета лось свалился. Теперь Косте казалось, что именно Иван Сыродоев, бывший финагент, заведующий фермой, председатель сельсовета, — виновник всех несчастий и бед в его жизни. Советская власть раскулачила Костиного деда Осипа, из-за этого отец пошел служить в полицию — мстил Советам. Из-за этого Костя рос сиротой, страдал в детстве, через всю жизнь несет клеймо «полицейского выблядка».

Обида, ненависть, собственная беспомощность, затравленность толкали Костю Воронина на месть. Это желание крепло, жаждой мести наливалась Костина душа, как густеет летним днем темная грозовая туча.

VIII

События в Беловежской пуще поразили Андрея Сахуту своей неожиданностью. А показались они неожиданными, может, потому, что в последнее время реже читал газеты, еще реже смотрел телевизор. Но теперь, анализируя все, что произошло, он убеждался: ничего неожиданного не случилось, все давно назрело. После развала КПСС все конструкции Советского Союза зашатались, заскрипели, как несмазанный воз. Все республики объявили о своем суверенитете, все стали самостоятельными. Кремль утратил влияние на экономическое и политическое состояние Беларуси, как и остальных союзных республик. Прибалты же раньше всех хлопнули дверью и помахали рукой на прощанье. Разбежались по своим квартирам.

Августовский путч распахнул двери настежь. И как птицы из клетки, самостоятельные государства вырвались на волю, будто застоявшиеся, окрепшие телята на весеннее солнышко. На простор, где вольный ветер щекочет ноздри, ласкает шерсть. Никто не знал, какая жизнь настанет в отдельных квартирах. На своем хлебе, со своими богами в красном углу. Но все: начальники и подчиненные, горожане и сельчане, седые ветераны и безусые юнцы — надеялись на лучшую жизнь. Те, кто готовил развал Союза, сделали все возможное и невозможное, чтобы жизнь в СССР стала невыносимой, чтобы прощание с «нерушимым» произошло без особого сожаления. И теперь уже никто не спрашивал мнения народа, поскольку он уже высказался на мартовском референдуме за Союз. Но результаты того всенародного опроса мало интересовали закоперщиков-разрушителей. Испокон веков властители мира поворачивали и направляли народ туда, куда им, властителям, хотелось. А народ «безмолвствовал». Так, по мысли Сахуты, произошло и в декабре 1991 года.

На душе у него было тревожно и тоскливо: сколько он будет тут чахнуть, сидеть, как волк в лесу? Без жены, вдали от внуков и детей. В радиационной зоне, откуда все умные люди сбежали, а он приехал из столицы, с высокой должности. Ну, если столицу, шикарную квартиру он покинул сам, то с должности его турнула жизнь. Порой Андрей рассуждал: а если бы не случился августовский путч или если бы путчисты победили, что было бы? Подписали бы новый союзный договор. Дали больше свободы и самостоятельности союзным республикам. И он, Сахута, секретарь обкома партии по идеологии, остался бы на своем посту, руководил бы и дальше, конечно же, с учетом новых жизненных реалий. Может, потому и развалился Союз нерушимый, что руководители его, причем самые высокие, не учитывали жизненных реалий.

Думы, думы... Времени у Андрея на раздумье хватало. Короткие осенние дни догорали, как свечи на ветру. Долгими осенними вечерами он ворочался на жесткой постели, а сон не брал, снова мысли распирали голову. Через тонкую перегородку слышал молодое сочное похрапывание соседа Виктора. Если вечером распивали поллитровку, Андрей засыпал скорее, зато рано просыпался.

Иной раз, в хорошую погоду, вскидывал на плечи ружье и выходил из дому еще затемно. Шагал по лесной дороге к Беседи, на взлесье поворачивал вправо на Бабью гору и там встречал рассвет. С высокой горы глядел на родную деревню, серые избы, высокие деревья. Считал редкие столбики дыма над хатами, глаза привычно отыскивали такой же столбик, словно тропинку в небо, над их хатой. Значит, Марина уже не спит, готовит завтрак, Бравусов топает по двору, занимается хозяйством. В конце концов, не все так плохо,

не все безнадежно. Вот Марина хоть на склоне жизни нашла свое счастье. Дружно, душа в душу, живут учитель Мамута и Юзя.

Мысль о них грела Сахуту: Юзя тоже бросила Минск и приехала в зону ради своей любви. А он? Наоборот — сбежал от семьи. Невольно вспомнилась Полина. Хоть бы позвали в район на какое-нибудь совещание. Или самому найти повод для поездки? Но в лесхоз показываться неудобно, подумает директор: не может Сахута дождаться повышения, привык давать указания.

Сахута спустился к реке. Подбережье замерзло, по воде плыла шуга — ледяная каша, река дымилась паром. На излучине, где течение било в берег, подмывало его, льда не было, лишь прибивало сюда шугу. Андрей разгреб ледяную кашу, помылся. Холодная, аж кололо в пальцах, вода была мягкой, пахла водорослями, рыбьей чешуей и еще чем-то таинственным и с детства родным.

Настроение малость улучшилось, на душе посветлело, захотелось и дальше тянуть жизненный воз и надеяться на лучшее. Назад шел веселее, осматривался по сторонам, свежих пней, следов браконьерских порубок не замечал, да и некому было красть лес на дрова или строительство. Привезти отсюда дров, значит, превратить собственную печь в домашний реактор.

В лесу уже совсем рассвело, когда Сахуту догнал Костя Воронин, обрадовался, соскочил с велосипеда.

— Доброго вам утречка, Андрей Матвеевич! — Костя с настороженностью протянул широкую прохладную ладонь: а вдруг Сахута не подаст ему, браконьеру, руки. Но тот крепко пожал протянутую ладонь — сработала привычка комсомольского и партийного функционера. — Вы так рано уже на посту? Или на охоту ходили? Так же без трофеев...

— Какая там охота? Захотелось пройтись. Ради утренней зарядки.

Костя молча вел велосипед, громко шлепал огромными резиновыми сапогами. На правом сапоге Сахута заметил заклеенную дырку, аккурат выше щиколотки, где обычно быстрее изнашиваются сапоги. Дорога была песчаная, к тому же начинался подъем, вдалеке уже просвечивало поле, а там и лесничество. Костя понял, что тут самое время начинать разговор, поскольку никто не подслушает, никто их не увидит. Но не знал, с чего начать, язык будто присох к небу, трудно произнести хоть одно слово. А надо же посоветоваться, ради чего и выбрался еще затемно в путь. И когда увидел Сахуту на лесной дороге, аж возрадовался: может, и повезет ему, может, этот человек подскажет ему выход из жизненного тупика.

Наконец Костя сумбурно, путано начал рассказывать про охоту на лося, как их накрыла инспекция. Как потом проходил суд, как Иван Сыродоев и Семен Чукила уговорили его взять вину на себя, чтобы им не знать «позора», поскольку у Сыродоева зять — директор школы, а Семенова дочка — завуч этой же школы, авторитетные в Белой Горе люди.

— Я послушался. Выгородил своих подельников. Хоть меня подзадорил идти на охоту Сыродоев. Лосятины ему захотелось на юбилей. Суд влепил мне штрап. Чуть не полторы тысячи рубликов. И Сыродоев, и Семен клялись, божились... Подсобим, выплатим...

Андрей замедлил шаг, поскольку лес уже кончался, а эта беседа не для чужих ушей.

— А теперича они в кусты! — горячился Костя. — Тебе дали штрап, ты и плати. От, наглецы. Ни стыда, ни совести. А когда-то Иван Сыродоев меня в партию рекомендовал. Поучал, чтобы завсегда честный был и справедливый. А сам? Подлюка. Простите, что я так говорю. У меня в середке все кипит. Где ж я возьму столько денег? Корову продать? Так не отдаст же

Ксеня. Ну, за велосипед, может, кто полсотни даст. За ружье сотню. А надо ж 1470 рублей. Бьюсь как рыба об лед. К Сыродоеву Ивану раза три заходил, просил: ты же обещал, клялся, давай деньги. А он свое: нет у меня денег. Ты лося убил, ты и плати. Как-то выпивши был, взял его за грудки. Валя, жена, подлетела. Вытолкали меня из хаты. На днях я возвращался домой. Темнелось уже. Ну, трохи под мухой. Они подстерегли меня. Ну, Сыродоев и Бравусов. Повалили, заломили руки за спину. Сыродоев распетушился. Кричит: «Будешь ко мне цепляться, со свету сживу». И матерился грязно. Я бы постыдился такое говорить... — Костя внезапно смолк, будто споткнулся.

Андрей остановился под высоченной, развесистой сосной, которая росла у обочины дороги. Пространства и солнца ей хватало, потому и раскинулась широко и вольно, будто стремилась обнять небо. Вокруг было тихо, где-то тенькала синица, прошмыгнула черной тенью желна. С макушки сосны послышалось дробное постукивание — пестрый дятлик, младший брат желны, добывал себе завтрак. Лес жил своей извечной жизнью. Людские заботы и хлопоты его не занимали.

— Ну, накостыляли мне по бокам. Били хитро, чтобы и следа не было. Бравусов, старый мент, опыт имеет... Пошел я к прокурору. Рассказал ему все чистенько, как было. А он говорит: свидетели у вас есть? Говорю ему: какие свидетели? Темно было. Да кто ж при свидетелях будет бить? А медицинский акт о побоях есть? — спрашивает прокурор. И акта у меня нет. Тогда прокурор и говорит: по пьяни ты можешь ногу сломать. Кого будешь винить? Ничего тут не докажешь. Присудили штраф — значит, надо платить. А чем? Корову Ксеня не отдаст. Денег никто не одалживает. Что мне делать? Вы — человек образованный, бывалый. Посоветуйте, Матвеевич, куда кинуться?

Что посоветовать Косте, Сахута и сам не знал. Защищать браконьера и выпивоху у него желания не было. Да и как его защищать? Застрелил лося без разрешения — факт есть факт. Костины глаза васильковой чистоты смотрели из-под красных век, они молили, просили о помощи. На красно-синем лице матерого выпивохи одни глаза и оставались красивыми и чистыми. От синего неба и голубой Беседи они взяли извечную чистоту.

— А Данила Баханьков не поможет? Он же директор совхоза. Некогда, помню, хвалил тебя, — начал Сахута.

— Было, — тяжко вздохнул Костя. — В свое время мы с ним бочку водки выпили. Когда я был бригадиром. Лучшим в районе. Потом поссорились. Снял меня с должности. Я не раз подводил его. Сам я, конечно, виноват. Однако ж на тот свет живым в землю не полезешь...

— Ну, что ты уж так? Молодой, здоровый... Слушай внимательно. Напиши в областную газету. Минск далеко. А тут ближе. И не пудри мозги. Пиши, как было. И не растягивай. Кратко. Проси, чтобы пересмотрели дело. Дали отсрочку на выплату штрафа. И про своих подельников, которые на тебя все свалили. Только обо мне — ни слова. Я тут только появился. Не хочу, чтоб языками чесали. Главное, проси, чтобы пересмотрели дело. Хорошо, что был у прокурора. Должны помочь.

— Не знаю, получится ли у меня? Попробую...

Костя вскочил на велосипед, пригнул голову. С трудом крутил настывшие педали.

Весь день Андрей Сахута думал про события в Беловежской пуще и про Костю, про встречу с ним. Эти два события как-то странно, невероятно переплетались. Там, в пуще, решили судьбу великой державы, насчитывавшей двести миллионов жителей. А в прибеседской деревне решалась судьба Кости Воронина, сына полицейского, росшего без отца. Росли они сиротами оба —

Степан Воронин и его сын Костя. Полицай отец нашел приют в далекой Аргентине, создал новую семью, имеет детей, внуков, а Костя в родной деревне не нашел счастья. Был лучшим механизатором, потом передовым бригадиром, как стахановцу, ему выдали премию — ружье-двустволку. Бог не дал ему с Ксеней, красивой женой, детей. А затем Чернобыль. И запил Костя по-черному...

Думал о связи между судьбой Советского Союза и судьбой Кости Воронина, да и его собственной судьбой. Если бы не грянул в Москве ГКЧП, он бы сидел и сейчас в своем кресле, идеологически укреплял обновленный Союз. А теперь ему приходится решать совсем другие проблемы, жить в радиационной зоне без жены, без персональной машины, без шикарного кабинета с секретаршей в приемной. Такой поворот ему не мог присниться и в страшном сне. А наяву этот чудовищный зигзаг случился. И ему, как и Косте Воронину, нужно выбираться из ямы, в которую столкнула жизнь.

Лесничий Сахута поставил задачу подчиненным: готовить лесосеку, помечать топором деревья, которые надо свалить, поскольку, когда выпадет снег, то особо не потопчешься, да и делать это нужно загодя. Помощник мастера и рабочие направились в лес. А Сахута — на пилораму, поглядел, что там творится, отругал рабочих за медлительность: зима на носу, морозы будут еще крепче и снег глубже, работать в таких условиях еще тяжелей. Вернулся в свой кабинет, интуитивно чувствовал: могут позвонить из района, такие события в мире. И действительно, после обеда позвонил директор лесхоза.

— Как настроение, Андрей Матвеевич?

— Обычное. Рабочее.

— Не передумали? Ну, чтобы поработать в лесхозе? На ответственной должности...

— Как раньше говорили: я солдат партии.

Директор громко и весело захохотал:

— Тогда вот что. Завтра утром пришлю машину. Где-то в половине девятого. Приедете, оформим все бумаги. Приказ подпишем. А под конец дня пойдем в райисполком. С визитом вежливости. Лады?

— Лады.

Известие обрадовало Сахуту. Порадовало, что районные руководители держат слово, — эту черту характера он очень ценил и уважал. Невольно подумал про Ивана Сыродоева: клялся, божился, а слова не сдержал, подвел подельника Костю под монастырь. А еще Сахута порадовался, что его предчувствия оправдались, что он не разучился анализировать ситуацию, предвидеть события. Но тут же навалились новые заботы, и главная — где жить? Мелькнула мысль: может, предложат какую комнатушку? Но вряд ли... На сколько-то дней можно остановиться у односельчанина инженера-связиста, как-то с ним виделся, тот приглашал в гости, дети живут отдельно, а он с женой. Правда, от его квартиры далеко добираться до лесхоза, автобусы тут ходят очень плохо. А вот Полина живет близко. Может, пока у нее остановиться? Обещал же заглянуть в гости.

Перед глазами встала Полина: в красной кофте и черной юбке, в темном платочке. Аккурат осенняя георгина. Память скользнула в тот осенний вечер, когда открывали новый клуб в Беседовичах. Неожиданный поцелуй Полины. Вспомнились все обстоятельства той далекой вечеринки: как молодой тракторист Толик Ракович, сын председателя колхоза, вытаскивал райкомовский газик из лужи, а его отец, фронтовик с перебитым плечом, шаловливо крутил свою партнершу в танце падеспань. Завтра он, Андрей Сахута, тогдашний комсомольский вожак района, увидится с Полиной Максимовной, вдовой,

директором школы, встретится с Анатолием Николаевичем Раковичем, тем давним трактористом, а теперь руководителем районной власти. Интересные повороты бывают в жизни!

Еще было темно, когда на улице заурчал мотор легковушки. Андрей уже был готов, одет, свои нехитрые вещи пока что не брал, лишь прихватил легкий портфель.

Когда подписывал, «визировал» приказ о своем назначении на должность главного лесничего, невольно подумал: слово «главный» не только тешит самолюбие, оно обещает начало новой жизни, нового восхождения по карьерной лестнице. Через какое-то время он может оказаться в Минске — шанс есть: нового министра сельского хозяйства взяли в столицу с должности директора лесхоза на Полесье. Значит, его могут взять заместителем министра или начальником какого управления, давать новую квартиру в столице не нужно — своя есть.

Подумалось и о другом: можно на этой должности доработать до пенсии, выстроить себе на Беседи новый дом, а может, и семью новую завести — Полина-георгина из головы не выходила. Могут назначить директором лесхоза — это реально, поскольку Капуцкий давно мечтает об иной должности, ином городе, подальше от радиации. Андрей пожил в зоне, радионуклиды его мало пугали, тем более райцентр, те же Белынковичи, считались чистыми. Он понимал, что «чистота» эта относительна, и все же уровень радиации тут невысокий. К тому же, его сильно впечатлило признание деда в Саковичах: его одногодки, которые переселились в чистую зону, все поумирали...

Андрей думал и удивлялся: сколько жизненных вариантов открывает перед ним одно слово «главный», а не просто рядовой лесничий, хоть и эта должность очень важна и ответственна. От него, лесничего, прежде всего зависит здоровье леса, а значит, здоровье и благосостояние белоруса. Потому что нет у нас нефти и газа, зато есть зеленое золото, Его Величество Батюшка-Лес.

Во время обеденного перерыва состоялась символическая замочка новой должности: основное «мероприятие» откладывалось на конец дня — визит к руководителю района. А тут — на ходу. В небольшом кабинетике-закутке собрались четыре лесовода: бывший хозяин закутка, а с этого дня неработающий пенсионер, новый главный, а также молодой лесничий из Белой Горы, который приехал в лесхоз по делам. И которого пригласил директор, чтобы Сахута знакомился со своими кадрами не только на заседаниях, в официальных обстоятельствах, а и в дружеском застолье.

— Ну что, мужики, как любит говорить наш молодой коллега Дмитрий Акулич, давайте выпьем по антабке, чтобы в этом кабинете, за этим столом Андрею Матвеевичу хорошо работалось. Чтобы везло в жизни, — торжественно, важно произнес Капуцкий.

— Шеф, вы намекаете на личное счастье в служебное время? — весело оскалил молодые здоровые зубы Акулич.

— Ну, я про это не говорил, — заулыбался директор. — А впрочем, ничто человеческое не чуждо и новому главному. Андрей Матвеевич хозяйничал не в таких кабинетах. А в столичных.

— Давайте про это не будем, — поморщился Сахута. — В народе недаром говорят: не место красит человека... Предлагаю выпить по антабке за то, чтобы нам всем хорошо работалось и счастливо жилось наперекор всякому лиху!

Дружно чокнулись и так же дружно осушили свои «антабки». Андрей, как охотник, знал, что такое «антабка», и потому предложение молодого

лесничего ему понравилось. Ему хотелось поскорее закончить это импровизированное застолье. Не терпелось позвонить Полине, увидеться с ней, поговорить насчет квартиры. С директором про жилье разговор был. Под Новый год строители должны сдать новый дом, квартиры в нем уже распределены, но кто-то переберется в новую квартиру, оставит свою прежнюю, ее можно будет подремонтировать и поселиться. И решиться жилищная проблема может через два-три месяца.

Все складывалось удачно. В душе Андрей снова похвалил себя: хорошо, что не сидел в Минске, не ждал высокой должности, а вернулся в родной край, к родной Беседи, не испугался проклятой радиации. И чувствовал себя в последнее время тут лучше, чем в столице.

Как только остался один в своем кабинетике, пододвинул поближе матово-белый телефонный аппарат. Набрал номер Полины. Невестка ответила, что ее пока нет, но вот-вот может быть.

— Передайте, что звонил Андрей Матвеевич. Просил перезвонить. Запишите, пожалуйста, номер.

А потом набрал служебный телефон жены. Ее на месте не оказалось — уехала в Министерство финансов, попросил, чтобы перезвонила, когда появится, сказал номер. А потом спохватился: я же пойду в гости, но успокоил себя — ничего, Ада увидит новый номер и все поймет, для нее новая его должность важней, чем для него. Но внутренний голос возразил: неправда, новая должность важна и для тебя, поскольку сможешь видеться с Полиной Максимовной.

Позвонил в издательство Петру Моховикову. Тот обрадовался, услышав голос друга. Поздравил с должностью. Говорили кратко. На прощание Андрей добавил:

— Через неделю-две приеду. Обязательно встретимся. И про все потолкуем. Привет Еве!

Только положил трубку, как телефон залился звонкой трелью. «Кто это? Первый звонок», — мелькнула мысль. В трубке послышался незнакомый женский голос, озабоченный, усталый. Звонила Полина. Услышав ответ, голос ее сразу потеплел. Андрей пояснил ситуацию, сказал, что хочет посоветоваться насчет квартиры.

— Так, может, зайдете сегодня. Тут же близко. И поговорили бы.

— А сейчас можно? Только я ненадолго. Под конец дня надо быть у Раковича.

— Я все понимаю. Ждем сейчас.

Она рассказала, как лучше отыскать их дом. Андрей сказал директору, что ему надо подъехать к односельчанину насчет квартиры...

— До пяти часов — вольный казак. Машина нужна?

— Нет, здесь недалеко. Хочу пройтись.

Через полчаса с бутылкой шампанского и конфетами он ступил на крыльцо большого деревянного дома, над коньком которого, словно колеса детского велосипеда, поблескивала телевизионная антенна.

Сбоку от зеленой входной двери белела кнопка звонка, напомнившая Андрею о городских удобствах: лифте, ванной, теплом клозете. Нажал на кнопку, услышал, что где-то в комнате забренчал звонок. Послышались тяжелые шаги, дверь отворилась — перед ним стояла приземистая, дородная женщина в теплой темно-серой кофте, из-под которой виднелась белая блузка. Из-под очков на него приветливо смотрели темно-карие глаза.

— Заходите, пожалуйста, раздевайтесь...

Потом они сидели за столом, пили шампанское, говорили про беловежские соглашения, про школьные дела. Про новую должность.

— После Нового года мне могут выделить квартиру. Ну, хотя бы однокомнатную. А пока где-то надо найти приют, — сказал Андрей.

— Если хотите, оставайтесь у нас. Сын сейчас в Могилеве. Его хотят перевести в трест на постоянную работу. Невестка — учительница. У нее вторая смена. Внук тоже в школе. Я бываю на работе допоздна. Сегодня пришла раньше. Как чуяло мое сердце...

— Давайте выпьем за то, чтобы сердце вас не обманывало, — Андрей поднял бокал.

Выпили не чокаясь, поскольку в этом доме год тому назад был покойник. И за его светлую память выпили... Помалу широковатое лицо Полины зарозовело, она расстегнула пуговицы кофты. В большом доме царила тишина, на стене ритмично, размеренно качался желтый маятник под стеклом больших часов. Андрей глянул на часы, потом на свои, будто сверял время.

— Когда вам нужно в райисполком? — спросила Полина.

— До пяти часов я свободен. А потом поедем.

— О, еще полно времени! — воскликнула хозяйка дома. — Я измеряю время школьными уроками. Час целый — это очень много. Наливайте. Выпьем еще раз за ваши успехи.

— За нас, — коротко выдохнул Андрей.

Полина поняла тост по-своему и сделала шаг навстречу первой, как и тридцать лет назад... Только теперь дело поцелуем не закончилось, наоборот — с него все началось. Андрей и Полина долго постились и, как в омут с головой, бросились в любовь.

Потом, уже одетые, они стояли в полутемном коридоре и не могли попрощаться. Андрей был буквально оглушен произошедшим. Он думал раньше о Полине, ждал встречи, ему хотелось близости с ней, но сегодня на это не надеялся. Видимо, то же самое чувствовала и Полина, поскольку тихо сказала:

— Правду говорят, все лучшее — неожиданное. Хоть я думала о тебе давно. Ну, как увиделись на том совещании. Я искала встречи. Поэтому и за дровами приехала. И вот... Значит, судьбой назначено...

— Теперь мне надо искать другую квартиру. Потому как шила в мешке не утаишь. Невестка догадается. Соседи начнут сплетничать.

— Ну и что? Поговорят и перестанут. На чужой роток не накинешь платок. Развода я от тебя не требую. Поживем хоть до Нового года. И то мне этого хватит надолго. Я не слишком была счастлива. Муж очень ревновал. Укорял часто, что на первом плане у меня работа, школа, а потом уже семья. После Чернобыля стал сильно пить. Водка его и доконала. Тут уже было не до любви. Сколько уже времени?

— Начало пятого. Тут близко. Но нужно немного раньше. Чтобы не впритык прийти. Не в облизочку, как в моей деревне говорят.

Андрей хотел до отъезда позвонить жене: она работает до пяти. В конце концов, можно будет позвонить домой из райисполкома, успокоил себя, но внутренний голос укорял его, не давал покоя: ты — грешник, Сахута, и попадешь в ад, и будут черти на тебе смолу возить.

— Не хочу тебя отпускать, — Полина прислонилась к Андрею, он обнял ее за плечи. — Помнишь Дарью Азарову? Она была секретарем райкома по идеологии.

— Помню с детства. Она приезжала в Хатыничи на собрание.

— Так вот, в последнее время мы видимся довольно часто. После райкома она была директором школы, в которой я сейчас работаю. Живет одна. Ей грустно. Тоскливо. А мне интересно с ней. Почему вспомнила ее? Когда-то ее выперли из райкома за связь с вашим хатыническим председателем колхоза

Казакевичем. Фронтовик, инвалид. С одной ногой. Однако позавидовали. Как же. Заезжает к вдове-солдатке. Ну и что, если она секретарь? Разве она не живой человек? Так вот, те редкие встречи... Ну, может, зимой когда заночевал... Дарья Тимофеевна вспоминает как лучшие, самые светлые минуты жизни. Не пленумы или бюро райкома. Хоть она добросовестно выполняла свои обязанности. Муж погиб. Замуж больше не выходила. Сына растила одна. Так что сплетен я не боюсь. И должность бросить не боюсь. Как-то ж дотяну три года до пенсии. Жизнь человеческая очень коротка, как детская рубашонка. И так мало на свете радости. Так мало счастливых людей. А теперь этакая разруха. Еще хуже стало. Да еще Чернобыль на нашу голову свалился. Так что благодарение Богу или судьбе, что свела нас. Тебе надо идти. Ну, еще пять минут.

— А знаешь, как начался их роман? Ну, Азаровой... Как-то Акопян проводил собрание у вас, в Хатыничах, попробовал яблок в саду. Понравились. Казакевич пообещал доставить ему мешок. А Сидор, его конюх и кучер, отнес мешок яблок на квартиру Азаровой. Ошибся, не в ту дверь постучался. Сказал, что это от председателя колхоза. Акопян лютовал. Хотел объявить председателю выговор. Азарова пригласила Казакевича в гости, чтобы отблагодарить. И начался грешный роман. Ну, все. Отпускаю тебя до вечера.

Она крепко поцеловала Андрея, и он почувствовал, что ему не хочется никуда идти, никого видеть, никому звонить. Но идти надо, поскольку жизнь — это не только поцелуи и объятия. Это еще целый воз забот, обязанностей, больших и малых дел, которые требовали решения. И всем этим она и интересна, единственная и неповторимая человеческая жизнь.

IX

Петро и Ева пили на кухне чай, приглушенно говорило радио. Вдруг Петро насторожился — ухо уловило обрывки фразы: заключено соглашение... Советский Союз перестал существовать. Создано Содружество Независимых Государств... Ева сидела ближе к репродуктору, попросил, чтобы прибавила звук, но официальные сообщения кончились, зазвучала веселая, бодрая музыка.

— Ну, чудо! А почему в Беловежской пуще? — удивлялась Ева.

— Тут что-то не то. Действительно, почему там спрятались? Наверное, поехали будто бы на охоту... — рассуждал Петро. — Значит, Россия, Украина и Беларусь подписали договор. А как же остальные? Как это можно одним махом растоптать Советский Союз?! Во, дожили!

По радио звучала музыка. Надо было собираться на работу. В троллейбусе Петро услышал, как обсуждали события двое пожилых мужчин: «беловежские зубры» собрались в пуще и развалили сверхдержаву, что это назревало давно, может, это и лучший вариант — цивилизованный развод... А в пуще спрятались, чтобы их не взяли за шкирку. А теперь на весь мир объявили. А Горбачев молчит. Теперь он уже никто. Президент без власти. Без государства.

В кабинете Петро сразу включил радио, но там шла другая передача. Заглянул к директору. Тот сидел у телевизора. Москва передавала о событиях в Беловежской пуще. Обычным, буднично-казенным голосом дикторша читала текст, будто в нем говорилось о вывозе удобрений на поля.

— Ну, что скажешь? Дождались грома. Садись. Поглядим. Потом потолкуем.

Климчук снял очки, потер кулаками глаза. Потом платочком аккуратно протер стеклышки очков. Видимо, для того, чтобы лучше видеть экран, а может, и для того, чтобы лучше разглядеть, как реагирует на неожиданные события его давний приятель и коллега.

Петро пересказал услышанное в троллейбусе, добавил:

— Это мирный ГКЧП. А что будет дальше? Может, Горбачев отважится и отправит этих «зубров» за решетку? Пока что у него есть власть. А они действовали наперекор конституции. Видимо, не отважится, — усомнился Петро. — Власть он уже потерял. А может, он заодно с ними?

— Ну, ты уже хватил лишку. Завтра все будет в газетах. Вечером передадут по телевизору. Поживем — увидим… Давай через десять минут соберемся с производственным отделом и обсудим наши дела, — Климчук позвал секретаршу. Дал ей необходимые распоряжения.

Жизнь шла своим чередом.

Вечером Петро перечитал свои предыдущие записи, по привычке, прежде чем зафиксировать сегодняшнее событие. Поразила запись за 14 октября: «Союз фактически не существует. Республика Беларусь объявлена суверенной. Другие — тоже...» Перечитал про ключи. Про цветы в курилке. Заинтересовали недавние заметки — в конце прошлого месяца.

25 ноября. Понедельник. *Туман. Теплынь. Начитался за день — пока что читаю все рукописи, врастаю в издательскую почву. Вот отодвинул в сторону очередной опус — решил написать несколько строк, отвести душу, передохнуть от научной графомании.*

Вчера съездил в деревню, оттарабанил туда линолеум, разную другую утварь, которая начала мешать после ремонта. Обвязал лапником молодые яблоньки. Утеплил пчел. В деревне тихо, лишь охотники бабахают. Позавидовал им: по первому снегу хорошо пошататься с ружьем. Надо и мне вступить в их общество.

Листал Бердяева, глаза наткнулись на интересную мысль: «Марксизм-ленинизм впитал в себя необходимые элементы народнического социализма, но отбросил его большую человечность, его моральную щепетильность, как помеху для завоевания власти. Он оказался близко к морали старой деспотической власти...» Истина! Тут ключ репрессий, беззакония. Интересно, что бы сказал насчет этого мой приятель Андрей? Как он там, в радиационной зоне? Во куда загнала жизнь обкомовского идеолога! Верно, раньше такое ему не могло присниться и в страшном сне. Зато ходит там на охоту. Однако ж дичь радиоактивная! Куда ни кинь — всюду клин. Может, Андрей выкарабкается из радиационной ямы.

Вчера накатал директору Минского тракторного просьбу от издательства посодействовать мне, главному редактору, агроному по образованию, приобрести мини-трактор. Климчук подписал. К слову, он посоветовал написать это письмо. Теперь нужно попасть на прием к директору. Какой бардак у нас! Имея деньги, ничего нельзя купить. Поэтому я приветствую кооператоров, которые начинают что-то делать. Заказали им угловой диван на кухню. Сделали быстро, привезли. Слупили полторы тысячи, и за доставку — полсотни. Обдираловка! Зато имеем вещь. Ева очень довольна. Это ее инициатива, деньги, ясно же, мои. Чего не сделаешь ради жены, ради мира в семье и на земле. А на земле как раз мира и нет. И в Союзе нашем — полное безголовье. А что будет дальше — одному Богу известно.

1 декабря. Воскресенье. *Вчера Иринка затащила нас с Евой на концерт во Дворец спорта. Выступал известный московский певец — звезда эстрады.*

Звезда раскрученная, но лишнего билетика никто не спрашивал. Возле дворца продавали входные билеты по 12 рублей, а сидячие, с местом — по 15 рублей. У нас имелся лишний билет, говорю Иринке: отдай за 12 рублей, чтобы не пропал. А она предложила какому-то парню, тот подумал-подумал и дал 15. Иринка весело благодарила его, а тот улыбался, просил дать телефон. Иринка назвала наш номер. «Заметано», — улыбнулся парень. Он был с компанией, поэтому сидел не с нами, но, может, и позвонит.

Так вот, людей набилось, как сельдей в бочке. Кресла из партера вынесли. Там толпилась молодежь. Парни и девушки терлись, как рыба во время нереста. Шли на концерт в джинсах, свитерах, «варенках» и кроссовках. Демократизм в одежде и полная раскованность в поведении.

Погас свет, грянула музыка, со сцены рванули в зал ярко-зеленые, затем фиолетово-розовые, ядовито-желтые лучи, будто щупальца гигантского спрута. На сцену выбежали патлатые парни, голые до пояса, и полуголые девушки. Начался так называемый балет. Под громовое бабаханье музыкальных инструментов начались танцы, напоминавшие занятия в секции аэробики. В центре крутилась девчонка в коротенькой юбочке, при каждом движении были видны белые трусики. Хрипло-металлический голос объявил, что выходит «звезда». Крикнул: «Встречайте!» — визг, свист, вопли, хоть уши затыкай. Выбежал парень в темных штанах-трико, куцей кожаной куртке, из-под которой выбивалась темная майка навыпуск, спереди болтались белые кружева, напоминавшие передничек. Певец был похож на кухмистера из адской кухни.

Пел он высоким металлическим голосом, видимо, под «фанеру». Мелодия была какая-то рваная. Слишком громкая и резкая. А молодежь уже балдела. Толклась в полумраке, кое-кто размахивал над головой свитером, некоторые девки сидели на плечах у парней и пищали от радости. Кайф по полной программе.

Невольно подумалось: шоу-бизнес приносит дельцам миллионы и отравляет души молодежи. Мы с Евой едва дотерпели до конца. Разболелись головы от грохота и воплей. А Иринка сказала: «Классный концерт. Мне понравился».

О времена, о нравы!

***3 декабря. Вторник.** Разбудил Алесик в 3.30 — захотел пись-пись. Ну и поесть, наверное, захотелось. Я держал его над унитазом. Он улыбался беззубым ртом. И ничего у нас не получилось. А когда положил на кровать, чтобы надеть колготки, он пустил фонтан на мое одеяло. Разбойник! Потом я носил его. А он хныкал, пока не разбудил маму и не поел.*

Давно замечаю в Алеськиных глазах некий «запредельный» разум. Наверное, от пращуров заложен в генах. Бывает, отнесу его в ванную комнату, сниму штанишки: пись-пись... А он перебирает толстыми ножками по деревянной решетке. Будто прыгает. Задирает лобастую голову и проказливо-пытливо глядит на меня: «Что ты хочешь, деда?» Либо веду его, поддерживая под мышки, сам иду сзади, он останавливается и смотрит на меня, будто спрашивает: «Куда мы идем?» или «Куда ты ведешь?»

Где-то читал. А может, слышал, что после года, как подрастет малыш, эта природная глубина, инстинктивный разум исчезает. А почему? Можно рассуждать долго, но, похоже, точно никто не знает. Слишком это тонкая материя. К слову, я почти не думаю о том, что в жилах Алесика не течет моя кровь. Он родной внук моей любимой женщины. И этого достаточно.

***8 декабря. Воскресенье.** Неожиданно ударил мороз: сегодня — 17 градусов. Малость подкинуло снега. Зима! Имеет полное право.*

А у нас в стране полное безголовье. В передаче «Панорама» показали митинг в Минске, плакаты: «Горбачев и Ельцин — продавцы отечества». Одна дама решительно разорвала портрет Горбачева. Молодой мужчина, член «Отечества», сказал: «Мы наградили Горбачева медалью Иуды и премией в 30 сребреников», назвал свое имя и фамилию. Единственное достижение: можно критиковать президента, говорить и писать, что думаешь. Но от этого ничего не меняется к лучшему.

Вчера сходил на секцию пчеловодов. Народу — полный кинозал Дома офицеров. На сцене за длинным столом — президиум, руководители секции, известные пчеловоды-аксакалы. В зале места может не быть, поэтому для самых почетных — президиум. Тем более, что мы к этому приучены. Выступления были интересные, кое-что записал. Стоит расширять пасеку. Место в моей деревне благоприятное для пчел: близко лес, речушка. В лесу всегда что-то цветет: ранней весной — орешник, ива чернотал, затем — черника, брусника, особенно много дает медку лесная малина. А потом зацветут кашка, чабрец, липа, под осень — вереск. В жару пчелки наносят пади. Для пчел падевый мед вреден зимой. А для человека чрезвычайно полезен. Так что, вперед, вьюноша! В когорту пчеловодов!

Перечитав прежние записи, Петро долго думал: что записать про эпохальное событие — крах могучей сверхдержавы. Мыслей была полная голова. А нужных слов не находилось. Поразила такая деталь: вечером восьмого декабря он записал про секцию пчеловодов, правда, и про митинг в Минске, а в это время в Беловежской пуще подписывался приговор Советскому Союзу. Бывший коммунист Петро Моховиков считал СССР своей Родиной, хоть он всегда помнил, особенно в последнее время, что его Родина — Беларусь. И что за ее свободу и независимость сложили головы тысячи лучших людей. Но что записать? В конце концов решил не ломать голову, поскольку делал записи для себя, не для печати, поэтому никто его критиковать не будет.

10 декабря. Вторник. *Вот и оказались мы в Содружестве Независимых Государств. Восьмого декабря в Беловежской пуще был подписан договор между Россией, Украиной и Беларусью, в котором сказано, что Советского Союза уже нет, создано новое объединение, открытое для других. Заявила о поддержке Армения, с некоторыми оговорками — Казахстан. Центр — в Минске. Может, присоединятся Польша, Венгрия, Болгария? Хотя, как в моих Хатыничах говорят, — навдаку. Зачем им это содружество? Они скорее рванут в НАТО. Да и прибалтов сюда не затащишь на аркане. Они стукнулись зад о зад с Россией — и кто дальше отскочит... В конце концов, содружество ни к чему не обязывает. Похоже, это будет некое аморфное образование. Да и название неудачное — Содружество Независимых Государств. А разве может быть зависимое государство? Это уже колония. Сателлит.*

Невольно думается: реки крови, миллионы жизней положены для создания, а потом укрепления СССР — и вот его нет. Трагедия миллионов мертвых и миллионов живых. Разумеется, репрессированные так не считают. Кому удалось выжить, те радуются. Развал Союза — эпохальное событие, смысл которого мы еще не осознаем. Только бы не началась гражданская война.

11 декабря. Среда. *Накупил газет, целый ворох. Вот какие заголовки: «Распад или новый Союз?», «Горбачев бросает вызов славянскому Союзу», «Нас поселили в нашей стране. Да... Нет... Может быть...» А что из этого может быть, пока что никто не знает. Горбачев остался без власти. Его*

использовали и выплюнули... «Известия» публикуют снимок С. Шушкевича: умное лицо, фотогеничный рот «коробочкой». Газета цитирует его слова: для других союзных республик «нет никаких препятствий для вхождения в новый союз». Ситуация сложная. Главное, что будет дальше?

На дворе довольно тепло, мягкий, пушистый снег. Ласковая зима. В начале она постращала, прижала морозцем, но быстро устала. Отступила. Дай Боже, легкую зиму для всего живого.

13 декабря. Пятница. *Заснул очень поздно, хоть рассчитывали с Евой лечь сразу после программы «Время». Но потом выступал Владимир Максимов, известный диссидент, редактор журнала «Континент», очень умный человек, и вот о чем он сказал: нынешние события — это агония России. Уровень Верховного Совета — районный. Главная забота парламентариев — попасть в камеру, мелькнуть на экране. Чтобы избиратели заметили их активность. Депутаты не умеют говорить, хоть всю жизнь зарабатывают на хлеб языком. К слову, сам Максимов говорил превосходно: точность формулировок. Лаконичность. Ни повторов, ни слов-паразитов. Сидел за столом и отвечал на вопросы зала. А вопросов было много. И самых разных. Например, почему некоторые депутаты так не любят знаменитых писателей: Распутина, Бондарева, Белова? Почему на улицах городов свободно продается порнография? Почему милиционер не имеет права стрелять в вооруженного преступника?*

Владимир Максимов высказался по всем вопросам, несколько раз повторил: у России нет друзей на Западе. Не надо копировать чужой путь, россияне — молодой народ, качает из стороны в сторону от молодости. А может, от пьянки, подумалось мне. Врезалась фраза Максимова: перед нами — бездна, она втягивает туда Европу, подачками Европа не спасет Россию. Нужны усилия самого народа, предлагал возродить теорию «малых дел».

Я тоже не собираюсь сидеть сложа руки. Сражаюсь на службе за высокий урожай. Пробиваю мини-трактор. Наконец дозвонился до генерального директора завода, представился официально, сказал, что хочу посоветоваться по некоторым творческим вопросам. Подумываем издать книгу об их заводе. Он выслушал, сказал, что сейчас очень занят, записал мои координаты: «Я позвоню вам». Я остался доволен разговором. А Климчук скептически усмехнулся: «Ой, долго ты будешь ждать его звонка». Посмотрим. Пообещал же человек. Официальные люди должны держать слово.

15 декабря. Воскресенье. *Какое светлое утро! Небо будто вымыто вчерашним декабрьским дождем. Мороз подсушил за ночь землю, то же самое небо припорошило снегом лесные тропинки, по которым я со смаком бегал на зарядку. В этом плане моя квартира очень удобна: выбежал за кольцевую дорогу — поле, чуть дальше лес. Подкинет больше снега — какой там простор для лыжных прогулок! Жаль, Ева не слишком большая охотница до катания на лыжах. Зато на Комаровский рынок сегодня затащила. Правда, я не слишком упирался: Новый год на носу, надо того-сего прикупить. Есть и пить нужно при любой власти.*

Давно не был на базаре. Порадовало, что всего там хватает. Но огорчили цены — ой, кусаются! Купили свежего сала, пару килограммов телятины, даже деликатеса взяли — говяжий язык, а на холодец — голень. Возможно, приедет под Новый год Андрей, так посидим, поболтаем.

Уже неделю прожили в Содружестве Независимых Государств. Особо ничего не изменилось. Крепнет надежда, что станет Беларусь настоящим европейским государством. Ежедневно вижу из своего кабинета бело-красно-белый флаг над зданием Дома правительства. Это радует и вдохновляет.

Хроника БЕЛТА, других мировых агентств, 1991 г.

6 декабря. Вильнюс. *В Литве началась либерализация цен. Это первый этап реформы, завершит которую введение собственной валюты.*

10 декабря. Минск. *Верховный Совет Республики Беларусь ратифицировал соглашение о создании Содружества Независимых Государств. За ратификацию проголосовали 263 депутата. Против — 1, 2 — воздержались.*

11 декабря. Брюссель. *В штаб-квартире НАТО не исключают возникновения новой войны в Европе, причиной которой может стать ухудшение обстановки в бывшем СССР, Югославии.*

15 декабря. Каир. *В египетский город Марха-Маирух, который находится на средиземноморском побережье страны, прибыли 23 саудовских шейха — любители соколиной охоты.*

X

Костя Воронин написал письмо в редакцию областной газеты, отослал и сразу принялся ждать корреспондента. Тот приедет и поможет выкарабкаться из ямы, в которую загнала его жизнь. Себя он мало винил. Ну, правда, разве он виноват, что отец вынужден был служить немцам? Ему, Костику, тогда было два года. Сын за отца не отвечает. Разве он не хотел дитенка? И жена Аксеня этого очень хотела, но Бог не дал им такого счастья. И не по своей воле он бросил бригадирскую должность — его уволили за пьянку. Так разве он один пил? Сколько он выжлуктил водки вместе с Данилой Бахановым! Так Данила и сейчас в своем директорском кресле, а Костю уволил именно он.

А потом эта охота. Разве ж Костя виноват, что их накрыла инспекция? Что подельники спихнули всю вину на него, обещая совместно выплатить штраф. А теперь умыли руки, отвернулись от него. Злость, обида и ненависть разъедали Костину душу, словно раковые метастазы. И наибольшая обида была на Ивана Сыродоева, и ненависть вызревала прежде всего к нему. С детства помнил, как Сыродоев заходил к ним в форменной, цвета болотной жабы шинели и такого же цвета фуражке, кричал на мать: почему не платишь налоги, страховку, самообложение, заем? Ненависть набухала, как тесто в дежке, когда вспоминал, как распекал его, Костю, председатель сельсовета Иван Сыродоев на партийных собраниях за пьянку.

И выходило, что главный виновник Костиного несчастья — это он, председатель сельсовета Иван Сыродоев, пусть себе уже бывший, однако же вину за неудачную охоту, или, как все говорят, за браконьерство, взять на себя уговорил именно он, обещая выплатить штраф. А теперь от своих слов отказывается: моя хата с краю, ничего не знаю.

Лютая ненависть вспыхнула после того, как Сыродоев и Чукила побили Костю, требуя, чтобы про них нигде не упоминал, никому не жаловался. И в Костиной душе вызревала жажда мести.

На работу Костя не заходил, да и работы особой не было: поле лежало под снегом, ремонт техники не начинали, поскольку не привезли запчастей. Изредка он появлялся в гараже, мрачный, как привидение. Ребята цеплялись: «Костя, что ты надулся, как мышь на крупу? Почему молчишь, как жабу проглотил? Лося жалеешь? Так их в лесу полно. На днях рогач приходил к стогу сена...»

Костя яростно огрызался, грязно матерился, бывшие дружки-выпивохи все реже заговаривали с ним. Вернувшись из гаража, Костя вскидывал на плечо ружье, запихивал в карман горбушку хлеба и направлялся в лес. Возвращался в сумерках, без трофеев. Однажды вознамерился было выстрелить в большущую желну — черного дятла, но рука с ружьем сама опустилась: зачем? Черный дятел не виноват, что у Кости черные думы на душе. Желна молча сновала по стволу толстой сосны, по ее рубчатой, заскорузло-серой коре. Выше кора светлела, становилась медно-желтой. Наверное, в рубцах коры желна находила себе какую-то пищу. Костя вспомнил, что видел желну, когда под этой огромной сосной стоял с Андреем Сахутой. И пестрый дятлик тогда тоже молотил по сухостою.

Каждый день Костя ждал корреспондента или некоего известия из редакции. Сахута отбоярился советом, сам пошел на повышение. Свой своего тянет вверх. Костя прислушался к дятловой трели — тот молотил клювом, аж эхо катилось по лесу. Других звуков не было слышно. Мрачный, насупленный, припорошенный снегом, лес будто дремал и ждал Нового года. После него солнце начнет ходить выше, снеговые подушки с веток свалятся, лес вздохнет свободней, встрепенется и будет ждать весны.

Косте Воронину Новый год не обещал ничего хорошего. Судебный исполнитель приедет с участковым, опишут имущество, заберут корову. Аксеня будет голосить на всю деревню. А что делать Косте? С топором или с ружьем защищать свое достояние? А ради кого? Детей нет. Любовь к Ксене давно развеялась как дым. Нет, в тюрьму Косте не хотелось. Но и жить тоже не было желания. Душа не имела свободы и воли. Сильнее всего было в нем желание отомстить, а там что будет, то и будет. Один патрон он оставит для себя...

Блуждая по лесу, Костя вынашивал план мести. Где можно пересечься с Сыродоевым? Куда он ходит? Где бывает? От, кабы отправился в лес, но он один не ходит. Подкараулить, когда будет идти по деревне. Люди увидят. Этого не боялся, лишь бы не помешали осуществить задуманное. Он должен отомстить. А там: Бог — отец... О Боге Костя думал редко. Церкви в Хатыничах не было. При Хрущеве закрыли храм в Саковичах, но разрушить мощное каменное строение не хватило духу у местных воинствующих атеистов. Зато деревянную церковь в Белой Горе разобрали на дрова для клуба и фермы. После Чернобыля старшее поколение потянулось к Богу, ища поддержки и надежды на избавление от нечисти. Стали говорить, что Чернобыль — это божья кара за грехи. По телевизору Костя своими глазами видел, как стояли со свечками в руках бывшие партийные боссы, и ему хотелось плюнуть на экран.

Сын полицейского, бывший лучший механизатор района, передовик-бригадир, бывший коммунист, Костя Воронин не любил двурушников, оборотней, обманщиков. Именно обман Ивана Сыродоева и Семена Чукилы злил его особенно. Вы ж клялись, божились, что поможете выплатить штраф! А теперь оставили одного. И потому Костя все больше убеждал себя, что имеет право на месть. Имеет право покарать предателей и врунов. Отец его служил немцам, так и уехал с ними, не перекинулся к партизанам, не клялся большевикам в верности. В последнее время Костя все чаще вспоминал отца. Может, потому, что Нина, родная Костина сестра, советовала ему написать отцу о своей беде, попросить помощи. А Косте было стыдно, потому что зимой Нина сказала: «Давай напишем отцу письмо вместе. Поздравим с юбилеем. Ему семьдесят лет». — «Напиши сама. И от меня передай привет», — отмахнулся Костя. Теперь он укорял себя, что не послушался сестру, что раньше ни разу не написал отцу письма. А Нина поздравляла его ежегодно. И получала письма, в которых отец передавал поклоны и Косте, и Даниле.

Письма эти Нина прятала, потому что Данила не одобрял ее переписку с отцом-полицаем, его за это могли вызвать в райком партии. Костя райкома не боялся, но так ни разу и не написал отцу. Поэтому теперь просить у старика помощи было стыдно: раньше не откликнулся ни разу, а как жареный петух клюнул, так и отца вспомнил. У того своя семья, дети, внуки, может, сам ждет от них подачки.

Так и не написал Костя в далекую Аргентину. А Нина письмо отослала. В котором сообщила всю правду о Косте и попросила отца, если сможет, помочь. Костя об этом не знал и помощи из-за границы не ждал. А вот на корреспондента из области надеялся, до полудня старался быть дома, отирался в гараже. И не пил с утра, не похмелялся.

Может, потому, что чаще думал об отце, тот начал сниться, чего раньше никогда не было. Однажды приснилось: отец и он косят делянку. Сначала взялись оттаптывать межу от соседей. Воткнули высокие лозовые стебли, перевязав ветки шпагатом. «Стой, держи ветку, чтобы ветер не свалил, а я следом пройду», — сказал отец. Был он в белой рубашке в синюю полоску, в полинявших джинсах, заправленных в высокие сапоги, похожие на наши кирзачи. На голове — соломенная шляпа с широкими полями, как сомбреро у ковбоев. Отец зашел с другого конца делянки, воткнул такую же высокую связку и медленно, короткими шагами шел навстречу Косте — топтал межуслед. Их делянка упиралась в развесистый лозовый куст, за ним была поросшая осокой широкая лужа.

Когда отец приблизился к Косте, из-за куста вышел Иван Сыродоев. В руках он держал свернутую трубочкой школьную тетрадь, за ухом торчал красный карандаш. Был Сыродоев в клетчатой рубашке, на голове выгоревшая от солнца кепка, надвинутая на лоб.

— Здравствуйте, Иван Егорович! — издали поздоровался отец.

— Здорово, Степан Осипович! С приездом тебя! В отведки или насовсем?

— В отведки. Во, помогу накосить сена да и поеду. Прости, Егорович, но есть один вопрос... Что ты обижаешь мою жену? Полосу отвел с кустарником. Ты, пожалуйста, относись к Просе и к Косте по-хорошему, по-человечески.

— Полосу надбавили вширь. Комиссия учла куст и лужу. Так что, Осипович, ты зря говоришь про какую-то обиду. Ты лучше расскажи, как тебе живется там, в Америке?

— Ого, братец, ето долгая песня. Жизнь и в Америке непростая и нелегкая. Правду люди говорят: хорошо там, где нас нет. Я живу в Аргентине. Ето Южная Америка. Соединенные Штаты от нас очень далеко.

— Как-то фильм смотрел про Аргентину. Огромные стада животных. Пастухи на лошадях. В таких шляпах широких, как у тебя, Осипович.

— Да, у нас просторы огромные. Пампа. Ето степи наши так называются. Сено там не косят. Скотина пасется круглый год. Около больших городов теперь, бывает, и сено косят. Выпаса меньше стало.

Костя слушал и радовался, что отец и местный начальник Сыродоев беседуют дружелюбно, по-соседски, что между ними нет никакой враждебности. На прощание Сыродоев сказал:

— Тут во около куста осока пробивается. Коровы молодую осоку едят охотно. Только малость соли надо посыпать. Ну, если будете складывать на сеновал. Ты, Степане, может, об етом и забыл, а Костя должен знать. Да и Прося ето знает.

Сыродоев как появился неожиданно, так и исчез вдруг за кустом. А Воронины принялись косить. Отец шел впереди, будто показывал сыну, как надо плотно, низко выкашивать свою делянку, — «проценты» все выгрызали

с особым старанием, каждую кочку обкашивали под ноль. Костя махал косой, и душа его радовалась, что приехал отец, что косят вместе, вдвоем. Ему от радости аж хотелось плакать. А еще хотелось напиться воды, поскольку сильно пекло во рту. Они уже докашивали полосу, когда пришли Аксеня и Прося. На Аксене белел тонкий платочек-косынка, а мать была в черном платке, повязанном низко, по самые глаза. Костю это сильно поразило, он хотел спросить, почему мать будто в трауре, но не успел — проснулся. Глаза у него были влажные...

В голове какой-то туман, не сразу сообразил, что голова болит после вчерашнего: вечером один выпил две бутылки «чернила» — плодового вина. Ксеня говорила: «Етым вином только заборы красить. А ты жлуктишь бутылками. Поэтому и руки уже трясутся, как у вора, который кур покрал». И то хорошее настроение, с которым косил с отцом сено, быстро исчезло, и пришло гнетущее понимание, что ему нечем уплатить штраф. И жить ему, Косте Воронину, совсем не хочется, одно желание — отомстить своим обидчикам. И его вдруг обожгло: почему мать пришла на луг в черном платке? Может, с отцом что случилось? А может, предчувствует его, Костину, смерть? Он тихонько лежал в постели, и хотелось ему завыть по-волчьи от этой жизни.

А через три ночи приснился другой сон. Будто он, Костя, выбрался в Аргентину, прилетел в Буэнос-Айрес, а его никто не встречает. Он глядел во все глаза, всматривался в людей, выходивших из шикарных разноцветных машин, но человека, похожего на отца, не было. И никто не подходил к Косте. В школе он учил немецкий язык, помнил с десяток слов, однако же в Аргентине люди говорят по-испански. В молодые годы Костя любил читать. Искал в Хатыничской библиотеке книжки об Аргентине, но не находил. Не было таких книг и в библиотеке военной части, в которой он служил, зато имелись книги про Кубу, про Че Гевару, несколько испанских слов Костя запомнил: «Буэнос диас, компаньеро!» — «Добрый день, товарищ!», запомнил название денег — песо, широкополую шляпу — сомбреро, полюбил песню «Бесаме мучо...», в которой говорилось: целуй меня крепко, будто целуешь последний раз.

Так вот, без слова во рту и без копеечки в кармане, как некогда его отец, Костя оказался в далеком, чужом городе. И никто его не встретил. Ждал он, ждал, наконец набрался смелости, обратился к полисмену, молодому усатому, но назвал его не товарищем, а сеньором, показал адрес, который написала ему Нина латинскими буквами. Костя добавил по-немецки, что по этому адресу живет «майн фатер». «Фатер? Гут, гут», — понял Костю полицейский, ткнул рукой в белой перчатке на череду машин.

— Таксо! — козырнул и отошел от Кости. У него была своя забота — следить за порядком.

Такси — это хорошо. Однако же денег нет. Впрочем, доедем до места, отец заплатит, решил Костя. И вот шикарная белая машина с открытым верхом — такую Костя видел только в зарубежных фильмах — мчит по широким улицам. Кругом толстенные пальмы, высоченные дома. Подкатили к красивому коттеджу, таксист что-то сказал по-испански.

— Айн момент! — Костя вывалился из машины, оставив чемодан, чтобы водитель не сомневался: клиент вернется.

Красивые металлические ворота. Над ними было написано латинскими буквами: Стефан Воронин. Справа краснела кнопка звонка. Костя нажал на кнопку раз, другой, третий, но никто не выходил. Он оглянулся и увидел, что по улице стремительно приближается стадо коров или быков. Таксист что-то кричал ему, но Костя стоял словно в одеревенении: ноги не слушались его,

будто приросли к асфальту. За стадом он заметил Сыродоева и Бравусова, один в темно-зеленой финагентовской фуражке, другой — в красной милицейской. Оба с кнутами в руках. Костя увидел, что к нему мчится огромный разъяренный бык. Он рванулся изо всех сил и перескочил через ограду. Но зацепился штаниной за острый, как пика, штырь, располосовал штаны, поцарапал колено. К тому же упал Костя на клумбу, где росли какие-то колючие цветы, должно быть, розы. Костя до крови исцарапал руки. Выругался от злости и отчаяния. Таксист громко засигналил. Костя... проснулся.

Лежал в тишине, слыша, как тахкает за грудиной сердце. В ушах будто засел резкий звук клаксона. Во рту пересохло. Босиком протопал на кухню, зачерпнул ковш воды, жадно выпил. Когда снова умостился на кровати, подала голос Аксеня:

— Не спишь, Костя? Что-то ты кричал во сне. Стонал, матерился.

Костя приподнялся на кровати и рассказал жене увиденный сон. Она выслушала, зевнула, сказала:

— Кабы ж не твоя глотка луженая... Собрали б денег. Мог бы съездить. А то и вдвоем бы... Теперь же можно. Не нужно никаких там характеристик. Плати деньги, оформляй визу или покупай туристическую путевку и езжай. Хоть бы мир посмотрели. Как люди живут. Света белого не видим через твою водку.

— Ксеня, ну ты ж сама понимаешь... Не во всем я виноват. Так у нас жизнь сложилась... А с охотой подвели. Обманули. Ну, не лезть же мне живым в могилу.

— Костя, милый. Я про ето не говорю. Не принимай так все близко к сердцу.

Аксеня поднялась, протопала по хате, легла с ним рядом. Ее сильно впечатлили слова: «Не лезть же мне живым в могилу». Она просунула теплую руку под Костину голову, прильнула всем телом. Костя ощутил знакомый и родной запах ее волос, груди, начал осторожно гладить, ощущая заскорузлой ладонью мягкость и гладкость кожи выше колен. Рука скользнула еще выше, нежно дотронулась до тугого круглого живота, в котором так и не смогла зародиться новая жизнь.

Жена прижалась плотней, чмокнула его в щеку. Костя ощутил давно забытую волну нежности к Аксене, очень захотелось близости. Он начал горячо, жадно целовать жену, но его детородный орган даже не шевельнулся. У них ничего не получалось. Аксеня грустно вздохнула:

— Отпил ты, Костичек, свою мужскую силу.

— Это не от пьянки.

— А от чего же?

— От работы тяжелой. От харча слабого. С малых лет вкалывал. То на плугах, то на тракторе, то на комбайне. От темна до темна. А бывало, и ночью пахал. Без выходных. Без отпуска.

— Разве другие трактористы меньше работали? Всем хватало.

— Были у меня три счастливых года. Ну, когда в армии служил. Одна была беда: очень к девкам хотелось, — улыбнулся Костя. — И с тобой первые годы... Особенно первый, медовый. Ты сама говорила: у нас не месяц, а целый год медовый. А потом начали горевать, что нет у нас дитенка.

— Правда, Костичек. Я все помню. Воспоминания про первый наш год греют меня всю жисть. Ну, не переживай. Как-то ж выберемся из етой ямы. Еще ж не старые. Будем жить. Который же ето час? — Аксеня щелкнула выключателем, под потолком вспыхнула яркая лампочка без абажура. — Три часа. Еще рано. Сянни суббота. Можно малость позже поспать.

И она вскоре заснула. А Костя так и провалялся до утра. Тяжкие мысли ворочались в голове, словно камни жерновов. К прежним горьким мыслям добавилась новая болячка: не смог приласкать жену. Неужели все? Кончился мужик Костя Воронин. Когда-то у них с Аксеней было много радости. Они не опасались беременности — она для них была желанной. Они жили как хотели и сколько хотелось... Теперь он годен только на поцелуи. Вот тебе и «Бесаме мучо»...

Не знал Костя, что этой ночью целовал жену последний раз.

После обеда он выбрался в магазин. Возле него толпились мужчины навеселе. Был среди них и Сыродоев, также раскрасневшийся, он про что-то рассказывал, размахивая руками. Мужчины слушали, хохотали. Злоба и ненависть с новой силой вспыхнули в Костиной душе, аж в глазах потемнело. Почувствовал, как сильней заколотилось сердце, руки судорожно сжимались в кулаки. Костя бросил «здрасьте», прошел мимо. «Прихвати фауста и на нашу долю, Костя!» — крикнул кто-то.

Костя купил две буханки хлеба, бутылку вина и быстренько вывалился из магазина. Мужчины снова что-то кричали ему, но он не оглянулся, будто и не слышал. У него билась одна мысль: «Ты сянни у меня похохочешь! Только бы успеть. Только б никто не помешал...»

Дома Костя положил буханки на стол, откупорил вино, сделал несколько глотков, потом вскинул на плечи двустволку, поверх фуфайки натянул темный плащ, чтобы спрятать ружье. В карман бросил четыре заряда, пулевых, как на лося, в другой запихнул недопитую бутылку и по загуменью двинул к магазину. Деревянное здание его стояло будто на перекрестке: с левой стороны вела в магазин улица, а точнее, дорога из райцентра, по обеим сторонам которой стояли хаты. Деревенская улица, словно перпендикуляр, упиралась почти что в двери, а по правую руку бежала дорога на Саковичи. Метров за сто от магазина белел кирпичный шалаш на автобусной остановке. По обеим сторонам Саковичского большака стояли старые толстые вербы, за одной из них и спрятался Костя.

В декабре темнеет рано, особенно если небо облачное, серое, тогда даже днем все вокруг серое — и деревья, и дома, и дорога. У магазина еще слышался громкий, веселый галдеж, окна его ярко светились. Костя, пригнувшись, украдкой подбежал ближе, поскольку Сыродоев мог пойти и по улице, упиравшейся в здание магазина, а потом повернуть направо к своему дому — большой новой пятистенке. Этот путь более далекий, чем по большаку вдоль автобусной остановки.

Сумерки густели, как густеет молоко, когда скисает или убегает на огне, но мужчины еще стояли. Ярко вспыхивали их папиросы — сигарет в магазине в то время не было, потому все дымили либо «Беломором», либо своим самосадом. Галдеж редел, исчезли яркие точки-светляки папирос. Должно быть, самые ярые выпивохи пошли добирать до кондиции, а старшие, менее стойкие, расходились по домам. Костя вытащил из-под плаща двустволку, заложил заряды, два запасных терлись в кармане фуфайки.

Вокруг было тихо, лишь шумел упругий холодный ветер в безлистых кронах верб. Подмораживало. От порывов колючего ветра Костю прикрывал толстый шершавый комель дерева. Внезапно он услышал шаги, скрип снега. От магазина двинулись три фигуры. Сердце екнуло: даже если среди них его обидчик, ничего не выйдет, поскольку можно ранить невиновного. Мужчины попрощались. Двое повернули налево, одна фигура двинулась к автобусной остановке. Костя весь напрягся: не ошибиться, удостовериться, что это он.

Фигура приближалась. Шел человек неторопливо, прихрамывая. Значит, он! В последние годы Сыродоев стал немного хромать, поскольку много пришлось походить по деревням бывшему финагенту. Костя подготовил ружье, сунул вперед шершавый язычок предохранителя. Замер. О себе, что будет с ним после выстрела, не думал. Главное — отомстить обидчику. Сквозь тучи пробился краешек месяца, а потом вылущилась во всей первородной красе полная желтовато-белая луна. При свете луны Костя убедился — это Сыродоев. Услышал, как шумит, пульсирует в висках кровь, крепче прижался к вербе, чтобы его загодя не заметил обидчик. Сыродоев миновал вербу и тут неожиданно услышал:

— Иван Егорович! Подожди, — негромко произнес Костя и сам не узнал своего голоса. И показалось ему, что крикнул на всю деревню.

Сыродоев резко, испуганно повернулся, попытался было спрятаться за дерево, но Костя опередил — бабахнул выстрел, за ним второй.

— Вот тебе за лося. За обман. За все остальное. Мой приговор!

Сыродоев, должно быть, уже не услышал этих слов. Он скорчился, застонал и осел вниз.

Костя бросился бежать, петляя, словно заяц, между деревьев. Оглянулся — на автобусной остановке и на дороге никого не было. Он выбежал на тропинку, выводившую напрямик через сад на Хатыничский большак. Бежал, пока не начал задыхаться. Свернул в сад, старый, еще панский, там-сям росли и молодые деревца. Костя прислонился к старой кривой яблоне. В свете луны ее голый ствол казался матово-белым, как оловянный. Отдышался, успокоился, вытащил бутылку вина — обрадовался, что не потерялась. Дрожащей рукой откупорил, поднес к губам. Кое-как приладился, глотнул раз, другой. Передохнул, огляделся — нигде никого, прислушался — ни звука. Допил вино. Отшвырнул пустую бутылку, она упала торчком. В лунном свете стеклянное горлышко поблескивало, как дуло ружья.

В Костиной душе начиналась буря. Куда бежать? Может, повернуть домой? Никто не видел, как он стрелял. А вдруг Сыродоев выживет, выдаст его. Все и так поймут, сделают экспертизу: из двустволки недавно стреляли, калибр подходит. Начнется следствие, суд и... вышка. Приплюсуют браконьерство. Нет, домой возвращаться не следовало. Разве что попрощаться с Ксеней, покаяться за грехи, что руку поднимал на нее по пьяни. Начнет голосить на всю деревню. Идти к матери? И ей мучения принесет. Вот кабы документы имел, доллары, рванул бы в Аргентину к отцу. И тому лишние заботы. Куда девать сына-алкаша? Ну, с водкой можно завязать. И работать Костя умеет. Да не видать ему Аргентины как своих ушей.

Он стоял, обняв старую яблоню, все сильнее ощущая в ногах огромную усталость и слабость, сердце тяжело тахкало за грудиной. Холод добирался до взмокшей спины — вспотел, когда бежал от деревни. Костя перезарядил ружье, заложил два заряда — ствол клацнул, зажав патроны, будто обрадовался новой порции смертельного груза. «Мне хватит одного, — шевельнулась мысль. — А второй, может, для Бравусова? Чтобы рук больше никому не ломал. Нет, пусть живет». Слышал от Ксени, что Марина Сахута нашла с ним счастье. Всплыло в памяти, как угощал Бравусов маленького Костика конфетами. Когда стал взрослым, Костя понял, что участковый ездит к ним не просто так. Однажды он подсмотрел, как мать целовалась с Бравусовым. Ухаживания участкового не нравились Косте, но матери об этом он никогда не сказал ни слова.

И все же Костя направился в сторону Хатыничей. Сперва шагал по дороге — тут после Чернобыля положили асфальт, а потом повернул влево, к ферме.

Но и туда заходить ему не хотелось. Стоять или сидеть не мог, даже тянуло лечь. Он вспомнил, что за фермой на лугу, возле Бургавцова кургана, стоит стог сена. Возле Хатыничей траву не косили: считалось, что там повышенная радиация, хоть коров пасли, поскольку трава была высокая, густая. Коровы охотно поедали ее. Молоко от этих буренок смешивали с продукцией другой фермы, что за Белой Горой. Как-то по весне мать показывала ему Бургавцов курган — его верхушка торчала на сплошь залитой водой пойме Беседи.

Он обошел ферму слева, подальше от деревни. Здесь рос молодой, густой, как щетка, сосняк, звенел неглубокий широковатый ручей. Весной тут бурлила талая вода, летом роскошествовала густая, как шерсть, трава. Некогда старик Артем, Аксенин отец, рассказал Косте, как в сорок третьем показал красноармейцам — попросили его партизаны, — где ловчее перейти Беседь, проползти по лугу, по этому ручью обойти Хатыничи, пробраться в тыл, в Галное болото. Там солдаты окопались за низкими ольховыми кустами. Немцы укрепили деревню, поскольку она прикрывала Саковичский большак, по которому отступали другие войсковые соединения. И вот на рассвете с криками «Ура!» основные силы форсировали Беседь и ринулись в атаку. Тогда и секанули пулеметы с тыла. Обходной маневр решил судьбу той операции. Сберег десятки советских воинов.

Давно нет красноармейцев, нет советских воинов. Развалился Советский Союз. А куда же делись советские люди? И он, Костя Воронин, был советским человеком, передовиком, победителем социалистического соревнования. А теперь он — браконьер и убийца. Убийца лося, убийца человека. Бывшего фронтовика. Бывшего финагента, заведующего фермой, председателя сельсовета, депутата. Уважаемого в деревне человека. Однако он обманул Костю, не сдержал слова. Выжимал из людей соки, взыскивал безжалостно недоимки. А разве другой не взыскивал бы? Было бы то же самое. А может, с еще большей жестокостью. В войну уцелел. Ранен был. А я застрелил его, как собаку. Кто мне дал на это право? Никто мне такого права не давал. Я мстил за обиду...

Но чем больше рассуждал Костя, тем явнее обида его как-то мельчала, будто усыхала, таяла. Словно полная луна высветила ее по-новому. Вот теперь у Кости нет выбора. И это высветила луна своим жутким мутно-белым мертвым светом. Сдаваться властям — вышка, лишние муки, пока вынесут приговор. Так лучше самому все решить. Костя был в шоковом состоянии и все же понял: у него есть только два варианта — либо идти в милицию и после суда — на тот свет, либо попрощаться с жизнью сегодня без лишних мучений. Жизнь для него утратила смысл.

Тем временем он дотащился до стожка сена. Зашел с торцевой стороны, от Беседи, лучше освещенной луной. Надергал слежавшегося сена, ощутил запах не то чабреца, не то ромашек, снял с плеча ружье, примостил его справа, словно опасался какого-то нападения или собирался поохотиться на зайцев, частенько прибегающих к стогам сена. Сел, вытянул усталые ноги, закрыл глаза. Прислушался — нигде ни звука. Будто все в природе одеревенело под мертвенно-желтым лунным светом. Но вдруг ухо уловило далекий собачий лай — должно быть, в Хатыничах заливалась мелкая собачонка. От Беседи послышались другие звуки, какой-то приглушенный шум. Точно Костя не мог определить: шумит ли где-то на перекате вода, или шумит в его ушах, поскольку ощущал, что голова тяжелая, затылок будто налился свинцом. Почувствовал, что голова начинает кружиться, казалось, он поднимется и сразу упадет. Пошевелился, покрутил головой, сено зашуршало, в нос дохнуло ароматом луговых трав. А еще показалось, что сено дышит летней теплотой.

Как хорошо пахнет сено, подумал Костя, должно быть, моя последняя радость. Однако же и в этом душистом сене — смертельные нуклиды... Мелькнула мысль об Аксене. Как-то в подпитии Вольгин Петька-байстрюк похвастался, что в копне сена испортил Хадорину Ксеню. Дошла молва и до Костиных ушей. Он возненавидел Петьку, но что ему сделаешь? Драться с ним? А чего Ксеня пошла туда ночью? Может, все произошло по доброму согласию. Кобель не вскочит, коли сучка не захочет. Тогда Костя впервые отлупил жену, с которой до этого жили тихо-мирно. Одной из причин бездетности Аксени начал считать тот давний грех в копне сена.

Теперь, когда сидел в стожке, глядя на огромную луну, прежние заботы и тревоги показались Косте мелкими, никчемными. Он только что лишил жизни человека. Уважаемого, заслуженного, бывшего фронтовика. А теперь должен решить и свою судьбу. В одном он все больше убеждался: жить ему не хочется. Мысленно подивился живучести отца, который в далекой Аргентине снова пустил корни, свил гнездо, имеет жену, детей и внуков. А у Кости есть только жажда напиться, чтобы забыть про все на свете. В конце концов у него осталась одна забота: как лишить себя жизни. Ответ на этот вопрос прост: под рукою двустволка, в которой притаились две пули с тупыми наконечниками. Они ждут своего часа.

Внезапно Костя услышал странные звуки из леса. Какой-то приглушенный клич: угу-ух! угу-гу-гух! Через некоторое время кто-то отозвался: угу-ух! Ему сделалось жутко, почувствовал, что аж волосы зашевелились под шапкой. «Неужто это меня кличет кто-то? — у Кости заледенело все внутри от этой мысли. — Может, душа Сыродоева зовет? А может, у меня разум бунтуется? Значит, пора. Надо стянуть правый сапог. Поцеловать дуло ружья...» Костя опять прислушался и до него дошло: перекликаются сычи где-то за Бабьей горой. А может, это желна кричит? Но легче на душе от этой догадки не стало. Холод словно ледяными обручами сжимал его тело. Костя поднялся, вскинул на плечо ружье и начал топать вокруг стога. Сделав круг, остановился, глянул на луну. Казалось, будто огромный матово-белый рубль застыл на небе, но вместо герба государства, великого и могучего, на нем бледно-серый силуэт: аккурат кто-то держит кого-то на руках. Лунный силуэт будто притягивал Костю: некогда в детстве мать говорила ему, что это брат убил брата, поэтому Бог заставил убийцу носить покойника на руках.

Костя Воронин вглядывался в небо как никогда в жизни, потому что понимал: эта ночь для него последняя. И думал он об этом спокойно, как о давно решенном деле, давно сделанном выборе. Звезды просматривались слабо — полная луна забивала их своим светом. Какое большое небо, высокое, безбрежное! Оно дает дождь и снег, летом на нем порой вспыхивает сказочно красивая радуга — Костя в детстве любил смотреть на радугу над Беседью. А что человек дает небу? Дым, копоть, смрад. Вот и он, Костя Воронин, полсотни лет коптил небо. Но все имеет свое начало и свой конец. Жизнь, любовь, любое дело. Ну что, нужно стаскивать правый сапог... Кончилось «Бесаме, бесаме мучо...». Отмучился. Будет!

Но поцеловать дуло ружья, нажать босой ногой на курок он еще не был готов. Вспомнил, как прошлой ночью целовался с Аксеней. Показалось, что было это давным-давно. Тогда он и не думал, что целует жену последний раз. Верно, и она об этом думать не могла. Бедная Аксеня, останешься ты одна, зато свободная. Может, еще найдешь кого, чтобы вместе доживать свой век. Есть у тебя брат, высокий начальник, мне отказался помочь, но родную сестру не оставит без поддержки.

Костя топал вокруг стожка, будто попав в заколдованный круг... Внезапно от леса послышался громкий густой свист: уй-уй-уй. Он узнал голос желны. Может, та самая, которая летала, когда говорил с Андреем Сахутой. «И чего ей не спится? А может, это мне кажется? Если с ума сойду, так, может, не расстреляют? Чокнутых не судят? Но что за радость — жить в дурдоме? Нет, это не для меня. Но почему желна не спит? Сыродоев уже этого не слышит. И никогда не услышит. И меня не будет. А птицы будут свистеть. Лед на Беседи будет трещать. Рыбы плавать. Солнце всходить и заходить. Нет, нет на свете справедливости. И я совершил несправедливость. За это сам себя и покараю...»

Нашли труп Кости Воронина через два дня, под вечер. Отыскала милиция со служебной собакой.

Ивана Сыродоева проводили в последний путь сотни людей — сошлись изо всех деревень сельсовета. Старшеклассники местной школы несли венки, на красных подушечках боевые награды. День был облачный, падали редкие пушистые снежинки, они ложились на восково-желтое лицо покойника и не таяли.

Над могилой Кости Воронина голосили три женщины: мать, сестра и жена.

На второй день после похорон вдова Аксеня получила письмо из редакции областной газеты. В нем сообщалось, что копию Костиного письма отослали в прокуратуру района с просьбой пересмотреть дело, определить вину каждого участника охоты и соответственно распределить сумму штрафа.

В тот же день Нина, Костина сестра, получила почтовый перевод на сто долларов, ее приглашали в районное отделение сберегательного банка. Нина Степановна всматривалась в бледно-желтый квадратик казенной бумаги, и горячие слезы катились из ее глаз. Сердце разрывалось от жалости: почему этот перевод не пришел на три дня раньше?!

XI

Приближался Новый год. Неотвратимо, неотступно. Ада Сахута ждала его с большим нетерпением. У нее было чувство, будто ей хочется начать жизнь заново. В душе вызревало чувство вины перед Андреем: не поддержала в трудную минуту, часто укоряла, что ничего не выслужил у партии, оскорбительно называла всю его деятельность болтовней. Она сама оттолкнула его от себя, заставила ехать в зону. Но он не сломался, выстоял, начал новое восхождение по карьерной лестнице. Ее все сильней охватывала тревога, что он найдет там себе другую женщину. Главный лесничий, видный мужчина. Любая свободная баба, а то и замужняя, бросится на шею.

Ей хотелось поехать к мужу, но под конец года было очень много работы. Ей оставалось два года до пенсии, нужно держаться обеими руками за свой стул. А что потом? Иной раз в мыслях она готова была поехать к Андрею в райцентр, где некогда они сошлись, создали семью. И все это делали по любви. У них была настоящая любовь. Ее родители не могли дать никакого приданого, Андрей об этом никогда не говорил, поскольку никаких меркантильных расчетов не имел. А вот она, Ада, рассчитывала вместе с мужем взлететь высоко, добраться до столицы, что в конце концов и произошло. О, как она радовалась, гордилась, когда они получили в Минске квартиру!

Ада гордилась детьми, а они уважали своих родителей. После института Надя и Денис остались в Минске. Завели свои семьи, свое жилье. И все это благодаря хлопотам отца. А потом случилось так, что сам отец вынужден был

бросить столицу, теплую, уютную квартиру, уехать в радиационную зону. Какая несправедливость! Так думала Ада Брониславовна. Поначалу она ругала мужа, что не смог устроиться в Минске, но постепенно ее злость, раздражение проходили. А теперь, когда его назначили главным лесничим, она начала думать иначе: может, и правильно он сделал. И все больше укоряла себя, а не его.

Ада хотела встретить Новый год со всей семьей, чтобы обязательно были дети, скучавшие по отцу. Она понимала, что Андрей давно не виделся с друзьями, но решила пригласить только семью Моховиковых. С Евой в последнее время она сблизилась особенно, чувствовала, что та относится к ней по-прежнему, а может, даже с большей приязнью. Но сначала Ада посоветовалась с Андреем, как-то позвонила ему с работы, обрадовалась, что застала на месте. Рассказала про свои дела, про детей, поинтересовалась, как он себя чувствует, какие заботы донимают. Она хорошо знала Андрееву привычку: по телефону ни одного лишнего слова, его телефонные разговоры напоминали телеграммы.

— Насчет гостей не возражаю. Давно не виделись. Ну что, все?

— Все. Ждем!

— Целую всех! До встречи.

В другой раз Ада могла бы обидеться: она позвонила, а муж нетерпеливо прерывает разговор. Теперь же она считала это разумным, поскольку вскоре увидятся, тогда и наговорятся, а телефонные разговоры подорожали, она, финансистка, как никто другой, должна это понимать. Зато вечером отвела душу с Евой — почти полчаса проговорили по телефону. Ева охотно приняла приглашение, обсудили, кто что приготовит, договорились не усложнять жизнь подарками, не ломать над этим голову — жизнь теперь такова, что приобрести что-нибудь приличное просто невозможно.

— Наилучшим подарком для нас с Андреем будете вы сами, — сказала на прощание Ада.

И не было криводушия в этих словах. Она действительно так думала. Потом упрекнула себя: не слишком ли настойчиво приглашала в гости Моховиковых, как бы Ева не подумала, что они живут в полной изоляции. Но долго себя не укоряла: что сказано, то сказано, и нечего переживать.

А вскоре Аду удивили дети. Надя и Денис, оказывается, тоже готовились к Новому году. И сказал об этом сын:

— Мама, Иринка Моховикова приглашает нас. Ну, чтобы встретить Новый год вместе.

— Кого это вас?

— Надежду с Игорьком. Ну, и меня с семейкой. Будет их Костя со своим выводком. Отца мы встретим. Вечером побудем у нас. Часов в десять поедем... А назавтра будем дома. У Иринки намечается свадьба. Она будет с кавалером. Хочет познакомить нас.

Ада Брониславовна поняла, что все уже спланировано, обдумано, возражения не принимаются. Да и вообще — взрослыми детьми не покомандуешь. Мелькнула мысль: Надя побудет в компании, а то все одна да одна дома. Сын будто угадал ее мысли, поскольку многозначительно добавил:

— Будет мой коллега. Хочет познакомиться с Надей. Холостяк. Ему уже за тридцать. Давно хочет жениться, да все что-то не получается.

— А что он за человек? Кем работает?

— Мой коллега. Пока что больше ничего. Пусть это будет сюрпризом.

— Любите вы сюрпризы, — незлобиво проворчала Ада, в душе благодарная сыну, что заботится о судьбе сестры.

Андрей и Ада болезненно переживали внезапный развод Нади с мужем. Разрыв, должно быть, назревал давно. Холодная, подчеркнутая приветли-

вость зятя насторожила Аду Брониславовну. Дочь рассказала, что приходит он домой поздно. Отговорка одна: «Бизнес — дело серьезное. Много забот». Стал очень часто ездить в командировки, больше всего в Москву. Объяснял, что их партнеры торговые все там, в России. Однажды Надя призналась сквозь слезы, что уже два месяца они не живут как муж и жена, что нашел он присуху-партнершу в Москве. А вскоре зять собрал свои чемоданы и тишком, как вор, покинул семью. Даже не попрощался с женой и сыном.

Андрей Сахута счел это изменой не только семье, жене, маленькому сыну, а и ему, тестю, поскольку в свое время через секретаря райкома поспособствовал, чтобы зятя повысили по службе, сделали старшим инженером, приняли в партию. Дружеские отношения с зятем очень радовали Сахуту. Но как только перестали существовать райкомы, обкомы и Сахута оказался без работы, первым предал зять. Тогда Андрей все свободное время отдавал внуку. Это была его единственная радость. Игорьку шел пятый годик. Он возвращался из сада и читал деду стишки на белорусском языке.

Обо всем этом вспоминал лесничий Андрей Сахута, поскольку он тоже готовился к Новому году. Снега было немного, проехать можно было везде, поэтому на обшарпанном лесхозовском газике Сахута ежедневно колесил по району, знакомился с кадрами лесоводов. Он понимал, что это лучше делать не на многолюдных совещаниях, а с глазу на глаз, чтобы не считали его залетной птицей на один сезон. Под конец дня частенько ощущал металлический привкус во рту, когда возвращался из лесничеств, расположенных в зоне.

Как правило, на прощание его угощали. Сахута чувствовал себя неловко: отказаться — значит, обидеть подчиненных, а не дай бог выпить лишнюю рюмку — вслед может полететь донос-анонимка. Поэтому пил он очень осторожно, а вот на закуску налегал охотно. Разумеется, Полина всегда предлагала поесть, а вечером — под чай и чарку наливала. И все это видела невестка. Неопределенность положения угнетала Андрея, поэтому он с нетерпением ждал своей квартиры, пусть себе небольшой, однокомнатной. Но сдача нового дома откладывалась: не хватало денег, строительных материалов. Он поделился своими мыслями с Полиной.

— Надо подыскать другую квартиру. А то начнут языками чесать.

— Есть вариант. На соседней улице живет моя подруга. Она старше меня. Когда-то вместе работали в школе. Ты знаешь ее. Дарья Трофимовна Азарова.

— Конечно, знаю. Причем очень давно. Со школьных лет.

Андрей рассказал, как однажды Азарова выступала в Хатыничском клубе. Его очень впечатлило, что она долго говорила и ни в какие бумажки не заглядывала. А говорила она о международном положении, клеймила американских империалистов.

— Кажется, мы с тобой вспоминали ее грешную любовь. Некогда она была влюблена в вашего хатыничского председателя колхоза Макара Казакевича.

— Да, помню. Когда я работал в комсомоле, мы встречались.

— Так вот, теперь живет Дарья Трофимовна одна. Сын работает на цементном заводе. Имеет свою квартиру. Хозяйка — большая аккуратистка. А цветов у нее море! Ты будешь как в оранжерее. Завтра схожу к ней. Телефон на квартире есть, — Полина понизила голос, хоть в доме не было никого, кроме них. — В среду или в какой другой день она будет ездить к внукам. А мы можем увидеться. Какой тебе день лучше, удобнее.

Андрею хотелось сказать: «Давай не будем встречаться. У меня ж есть жена». Но вместо этих слов он произнес совсем другие:

— Хорошо. Пусть будет среда. А если случится какая неожиданность, перенесем на другой день.

Квартира Андрею понравилась. Деревянный большой дом с белыми ставнями, березы под окнами, тихая улица. А внутри все заставлено цветами: в горшках, ведрах, каких-то коробках. Поразил эпифелиум-«декабрист»: развесистые веточки, похожие на клешни рака, усыпанные фиолетово-розовыми продолговатыми, словно автоматные патроны, бутонами.

— А это что за цветок? — его заинтересовал вазон с малиново-розовыми цветами. Они высились над густо-зеленой кучкой листвы, будто стайка мотыльков взмахнула крылышками-лепестками, взлетела и застыла в воздухе.

— Это цикламен, — охотно поясняла Дарья Трофимовна. — Родина цветка — Греция. Там цикламены растут на скалах. А это азалия, или рододендрон, — хозяйка показала на куст цветов, напоминавший розовый сноп. — А это амариллис. Цветки как граммофоны. Листья словно зеленые косы. Как турецкие кривые ятаганы, — улыбнулась хозяйка. — Ну, а это павяргоня. Герань. Она сейчас не цветет. Цветы у нее крупные, очень красивые. Вы, наверное, видели герань на подоконниках в деревенских хатах. Соцветия самых разных оттенков. Радует глаз герань. Еще называют ее — мушкат.

Андрей слушал, присматривался к седенькой бабуле в очках, из-под толстых стеклышек на свет Божий глядели блекло-синие, полинявшие за немалый жизненный век глаза. Она сама напоминала некий диковинный засохший цветок, который отцвел, отгорел яркими красками, но не хочет сдаваться зимней стуже, хочет жить и творить вокруг себя красоту, хочет радовать людей.

— Дорогая Дарья Трофимовна, вы меня удивили, поразили, порадовали. На дворе — зима, снег, холодина. А у вас вечнозеленая весна. Или лето. Одним словом — чудо! Спасибо вам большое за радость!

Андрей наклонился, деликатно поцеловал сухощавую маленькую ладонь хозяйки. Перехватил взгляд Полины: в темно-карих глазах светилась затаенная радость, она была уверена, что хозяйка примет квартиранта, что ему тут будет хорошо, уютно и они смогут встречаться.

Совсем о другом подумал Андрей Сахута: сюда можно пригласить в гости жену, в похожей комнатушке они начинали семейную жизнь. Он еще раз оглядел комнату, антураж которой дополняли плетеная этажерка с книгами и высокая кафельная печка. Это была отдельная, боковая комната, которую хозяйка предложила Сахуте. Тут был старинный круглый стол, два стула, высокая металлическая кровать на темно-синих ножках, горка подушек под кружевной тканью. Постель была застлана желто-золотистым покрывалом. Для себя Андрей отметил, что в хате довольно холодно, хоть на дворе мороз небольшой. Значит, хозяйка экономит топливо.

Через день Андрей притарабанил тракторный прицеп березовых, ольховых и осиновых дров, распиленных на чурбаны. Оставалось поколоть и сложить в поленницу. Хозяйка была на седьмом небе от радости. В первый же выходной Андрей наколол кучу дров, помог хозяйке сложить их в поленницу. Дарья Трофимовна напекла драников, пригласила квартиранта на ужин. А еще был сюрприз: пришла на ужин Полина. Пили красное вино, ели смачные драники. Печка дышала теплом.

С детства Сахута любил теплое дыхание натопленной печки, любил сидеть у открытой дверцы и наблюдать, как трепещет, пляшет живой огонь. Любил потрескивание сухих поленцев, особенно еловых. Если из печки или поутру из плиты выскакивала искорка, мать обычно говорила: «О, будет гость!» И сегодня эта примета сбылась: нежданно пришла Полина. В декабре дни короткие, словно заячий хвостик или воробьиный клюв, а вечера длин-

нющие. Но этот промелькнул незаметно за интересной беседой, воспоминаниями про послевоенную жизнь.

Потом Андрей проводил гостью. На дворе было тихо, довольно тепло, с неба глядела на грешную землю огромная полная луна. Как только отошли от хаты, Полина вскинула руки Андрею на плечи и принялась горячо и жадно целовать его.

— Недаром говорят, что в полнолуние у человека обостряются все чувства, — сказала она, будто оправдываясь.

— Да, наибольшее количество автоаварий, разных происшествий происходит перед полнолунием. Оно влияет на человека. В последние годы я плохо сплю во время полнолуния. Раньше этого не замечал. А теперь уже не раз убеждался. Бывает, до утра не могу заснуть.

— Я сегодня тоже долго не засну, — вздохнула Полина. — Все буду думать о тебе. А насчет среды — как ты? Сможешь?

— Постараюсь. Только бы дожить...

— Доживем, мой любимый, — с нежными нотками в голосе сказала Полина, снова прильнула к нему.

— Луна набралась полной силы, должно быть, так и человек. А потом луна идет на убыль, и силы человека слабеют, — рассуждала Полина.

С неба во все глаза зорко следила за ними полная луна.

Не знал тогда Андрей Сахута, что в этот вечер последний раз смотрит на луну Костя Воронин.

Утром в понедельник Андрею позвонил председатель райисполкома Анатолий Ракович, сообщил о трагедии в Белой Горе.

— Завтра похороны Сыродоева. Наш кадр. А ваш односельчанин. Председателем сельсовета много лет работал. Фронтовик. Депутат. Я должен быть. Может, хотите попрощаться?

— Надо съездить.

— Застрелил его из двустволки Костя Воронин. Отомстил за охоту на лося. Вы же эту историю знаете?

— Ну, немного знаю.

— Сам Воронин исчез. И ружья нет. Ищет милиция. Может, слово скажете на панихиде? По-землячески.

— Скажу, — согласился Сахута.

Трагическая весть буквально оглушила его. В голове взвился рой скорбных мыслей, воспоминаний. Всплыл в памяти день, когда в лесничество примчал на велосипеде Иван Сыродоев, узнать о лицензии на отстрел лося. Андрей пообещал разведать, как это оформить, но охотники не дождались открытия сезона. Мог ли Андрей предупредить трагедию? Сказать: не вздумайте идти на охоту без лицензии! Сыродоев посмотрел бы на него как на неразумного мальчишку. Потом после суда встретился в лесу с Костей Ворониным, приехавшим посоветоваться: подельники уговорили взять всю вину на себя, он выгородил их, а теперь они отказались платить штраф. Андрей посоветовал написать в редакцию. А что он мог сделать другое? Одолжить денег? Так он их не имел. Костя и не просил у него в долг. Пристыдить Сыродоева? Тот мог послать его... Если не прямым текстом, так в душе. Не довести до суда факт браконьерства? Тоже не мог. Короче, своей вины не находил, но в глубине души чувствовал себя виноватым, хоть объяснить эту вину не мог.

Вечером сообщили, что милиция нашла труп Кости Воронина. Андрея будто обожгла мысль: три месяца назад и у него появлялась мысль о суициде. К счастью, выстоял, не сломался. Подумал о Полине и почувствовал огромное желание жить.

Но ощущение вины с новой силой охватило Сахуту на похоронах. Его переживания высказал Михаил Довгалев: «Ну, Костя! Такое натворил. Кто мог подумать? Ето ж сколько ненависти скопилось у человека! Сколько злости на все и на всех».

Распоряжался на поминках Владимир Бравусов. Действовал решительно, энергично. Глядя на него, Сахута вспомнил, как Петро Моховиков и Ева с восхищением рассказывали о праздновании юбилея Сыродоева десять лет тому назад. И тогда заправлял Бравусов. Да, подумалось, недаром говорят: празднование юбилея — это веселая репетиция похорон.

Людей собралось много, но выступавшие говорили кратко, перечисляли должности, на которых работал покойник, все говорили, что был честен, прилежно исполнял свои обязанности, пользовался заслуженным авторитетом. Коротко говорил и Андрей Сахута, лишь добавил ко всем прочим характеристикам: покойник был хорошим человеком, привез ему коньки-«снегурки» из Германии, всегда интересовался, как учатся в школе соседские дети. Про убийцу, охоту на лося старались не упоминать, как в доме повешенного никто не говорит о веревке.

Андрей Сахута невольно подумал, что преданный слуга советской власти Иван Сыродоев всего на несколько дней пережил Советский Союз, который укреплял на протяжении всей сознательной жизни. Но в прощальном слове он об этом не сказал.

Зато Анатолий Ракович, когда они уже бросили по три горсти влажного каменистого песка в свежую могилу, скорбно вздохнул:

— Всю жизнь служил советской власти. И погиб почти одновременно с ней. И думается мне, что Костя Воронин мстил не только за лося. А и за отца, за раскулаченного деда. За все грехи советской власти. Реки крови. Миллионы жизней. И кончилось крахом...

Сахута молча кивнул. Бывший обкомовский идеолог не нашел что возразить нынешнему руководителю района, тоже бывшему коммунисту, бывшему секретарю райкома партии.

Марина и Бравусов уговорили Андрея остаться ночевать у них. Чистота, аккуратность, домовитый уют царили в доме. Андрей порадовался, что на склоне жизни старшая сестра поживет с любимым человеком. Бравусов хоть и опрокинул на поминках «законные» три чарки, или правильней сказать — ритуальные чарки, выглядел бодро, принялся угощать гостя. Уговаривала и Марина:

— Давай, братец, за твою семейку. Чокаться не будем. День сянни невеселый. Да что ж тут сделаешь? Жисть идет своим ходом, — она смахнула платочком слезу, пригубила из рюмки.

Хозяин и гость осушили по полной. Давным-давно наши пращуры изобрели «живую воду», которая лучше всего успокаивает человека в тяжелые, скорбные минуты существования на земле.

Сидели за столом долго, пили и ели мало, вспоминали послевоенную жизнь. Наконец Марина заметила, что у брата слипаются веки, догадалась, что поднялся он очень рано.

— Ой, заболтались мы! Андрей, ложись спать. Я тебе постелила на старой кровати. Пусть приснится что-то хорошее, — пожелала сестра.

Эту кровать Андрей помнил с детства: металлическая рама, металлические ножки, покрашенные в синий цвет, короткие доски вместо панцирной сетки или пружинного матраса, тюфяк, набитый мягкой отавой, показавшийся мягче пуховой перины. За столом засыпал, а лег — обрушились воспоминания: как спал тут школьником, во время зимних студенческих каникул — летом всегда устраивался на сене. Снова ворвалась в усталый мозг страшная

мысль: я мог уже три месяца лежать в сырой и холодной земле, опередил бы и Сыродоева, и Костю Воронина. Эту мысль он решительно отогнал прочь. Подумал, что завтра встретится с Полиной. Предчувствие радости подкатило горячей волной под сердце. Но усталость и чарка быстро вытеснили все мысли и воспоминания, рассуждения и предчувствия. И он забылся крепким сном, будто в далекой юности.

Желанная встреча состоялась — Дарья Азарова уехала в гости к внукам. Оттуда позвонила, что останется на ночь.

— Ой, как неудобно! Заставила я старую женщину ночевать не в своей хате. Но это случилось впервые, — словно оправдывалась Полина. — В следующую среду мы не увидимся. Первого января. Ты будешь далеко, — она вздохнула. — Грешники мы с тобой. Но эта ночь пусть будет нашей. Последняя в этом году.

Андрею послышалось волнение в ее голосе. Дотронулся губами до щеки Полины — щека была мокрая от слез.

XII

А в Минске готовились к Новому году Петро и Ева Моховиковы. Хозяйку больше всего занимало, что поставить на стол, что подарить членам семьи. Понятно, обо всем она советовалась с Петром. И хоть у того набралось порядком забот в издательстве, как часто случается в конце года в любом учреждении или на предприятии, но приходилось ему выслушивать жену, приходилось и в магазин чаще заглядывать.

Не забывал Петро и свой кондуит. Воскресным днем, уже почти на пороге Нового года, развернул заветную тетрадь, которую принес из издательства домой. Для разгона прочитал несколько прежних записей, сделанных за издательским столом.

19 декабря. Четверг. *Вот и дождались зимнего Миколы Угодника. Утро было светлое, красивое, подкинуло снега ночью, а днем потечет. Плюс три обещают синоптики. Безобразие! Разогрели, раскочегарили планету. Что теперь сделаешь? Природе не прикажешь: будь такой, какой была прежде, не меняйся. Кстати, прежние народные приметы теперь часто не сбываются. Мы готовим книгу для дачников. Так я по долгу службы начитался до обалдения. На дворе декабрь. Который хаты студит, землю грудит. А он, лентяй, нынче не хочет этого делать. В старину он имел название груденъ, а еще — просинец. Что означало «просветы в облаках». Красивое название! А небо в декабре действительно бывает необычайно синим. В конце концов предки нашли также хорошее название — снежань, поскольку основной приметой месяца был снег, это первый месяц зимы. От количества же снега зависит будущий урожай. Это у меня уже профессиональная привычка — думать о будущем урожае.*

Между прочим, белорусские названия месяцев — это своего рода поэма. Ну, правда: студзень — студит. Люты — морозами лютует. Сакавік — в жилах деревьев сок пробуждает, первый месяц весны. А там — красавік. Травень, чэрвень, ліпень, жнівень. А верасень! Лучшего слова не найдешь для названия месяца. Ибо что для нас мертвая латынь — септембер, децембер? Вот и добрался до снежня.

Чудеса, да и только! Совсем не думал писать про названия месяцев, а тут как прорвало! Тогда продолжу и дальше в этом же ключе. Никола зимний считается зачинателем настоящей зимы: до Николки нет зимы нисколько. Никола зимний — настоящая зима. А Никола летний — истинное лето. Кстати,

если на зимнего Николу мороза нет, то вся зима будет «беспутная». А вот этого совсем не хочется. И пусть именно эта примета не сбудется. И последняя присказка: «Береги сено от Николы до Николы и не бойся зимы нисколько». Мудро придумали предки. А я про это написал, должно быть, потому, что в генах дремлет желание жить в деревне, хозяйствовать на земле.

А теперь совсем о другом. Шеф Климчук не ошибся: директор тракторного и не собирался мне звонить, это была обычная отговорка. Сегодня познакомился с редактором заводской многотиражки — университетским другом Климчука. Договорились на следующей неделе вместе сходить к директору. Я много раз звонил, секретарша отвечала: у него совещание, уехал в министерство, пошел на территорию завода. «Что ему передать?» Я называл свою фамилию. Напоминал обещание директора мне позвонить. «Хорошо, передам», — коротко отвечала секретарша. Но звонка не было.

Откладывать уже некуда, поскольку все говорят, что после Нового года цены подскочат как бешеные. Похоже, так оно и будет.

21 декабря. Суббота. *Плохо спал, приближается время полнолуния. Да и читал поздно. Взял домой рукопись. Неинтересная, слабо отредактированная. Придется вернуть на доработку. Этакая технологическая жвачка про выращивание картофеля, мало кого заинтересует.*

На шоссе всю ночь гудели машины. Я уж думал, что Горбачев пошел ва-банк и объявил чрезвычайное положение. Но, кажется, все без перемен. Он, Горбачев, на днях встретился с английской рок-группой. Цирк на дроте!

Удивил вчера мой шеф Климчук. Захожу. Сидит мрачный как сыч. Спрашиваю: почему такой? А он говорит: с женой поссорился. Купила голозадую книжку. Читает, не оторвать. И в постель с книжкой. Прочитала мне несколько сцен. Разврат самый настоящий. Сказал ей об этом. А она как психанула! «Ты и твои коллеги до сих пор пишете про соцсоревнование. Кому это надо? Потому и лежат ваши книги». А я говорю: «Белорусская литература была, есть и будет целомудренной». А она: «Твоя литература напоминает девку, которую никто не захотел!» Меня это еще больше разозлило. Ненавижу эти книжки: в них на каждой странице порнография. И откуда их столько появилось? Только главлит исчез, сразу поток порнухи. Я сказал, что о любви писали античные авторы. Взять «Золотого осла» Апулея. Там столько эротических сцен! А это мировая классика. Или «Камасутра». «А ты читал “Камасутру”?» — «Как-то один друг дал на пару дней». — «Интересно было бы ознакомиться. Вот что надо издавать». — «Давай запланируем». — «Нет. Пока что не пустят», — вздохнул шеф.

Вечером я отодвинул в сторону дурацкую рукопись и взялся читать Монтеня. Перечитывал и удивлялся. Статья называется «О стихах Вергилия», а в ней все про любовь. Не удержался — сделал пару выписок: «В чем повинен перед людьми половой акт — столь естественный, столь насущный и столь оправданный, — что все как один не решаются говорить о нем без краски стыда на лице и не позволяют себе затрагивать эту тему в серьезной и благопристойной беседе?» А дальше еще сильней: «Всякое побуждение в нашем мире направлено только к спариванию и только в нем находит себе оправдание: этим влечением пронизано решительно все, это средоточие, вокруг которого все вращается». Вот так! Браво, Мишель! Невольно возникла грешная мысль: звездное небо вращается вокруг Полярной звезды, а на Земле, среди людей, все вертится вокруг мужского детородного органа. Короче, засиделся поздно, Ева звала в спальню, не дождалась. Заснула без любви. А я себя упрекнул: ночью не чтением надо заниматься. Как писал российский поэт, «ночь дана для любовных утех». Все это хорошо, но где найти для этого силы?

Вот потому и не выспался сегодня. С плохим настроением побежал утром на зарядку. Но свежий снег, легкий морозец — три градуса, притихший лес за кольцевой дорогой обрадовали. Лишний раз убедился: хочешь иметь радость от жизни — не ленись. Все в твоих руках. Поэтому опускать руки никак нельзя!

22 декабря. Воскресенье. *День зимнего солнцеворота. И денек выдался чудесный: тихо, свежий мягкий снег. Чистое небо и яркое солнце. Утром сбегал в лес, со смаком сделал зарядку. И спал сегодня лучше — Ева помогла заснуть. Прав был философ: без женщин так же трудно, как и с ними.*

В какое интересное и одновременно пугающее время мы живем! Рухнула великая империя. Правда, одиннадцать независимых государств подписали в Алма-Ате соглашение. Думаю, присоединится и Грузия. А может, и прибалты? Навряд ли, они вырвались на волю, будто птицы из клетки.

Так вот. Начал с солнцеворота, а снова потянуло на политику. Теперь политикой насквозь пронизана вся жизнь. Разговоры о политике в очереди, в трамвае, в бане, в постели. В природе солнце повернуло на весну, а к лучшему ли изменения в мире? То, что Беларусь стала суверенным, независимым государством, это здорово. Но сможет ли наше правительство, наша русифицированная элита сберечь свободу и независимость — подарок Бога и исторических обстоятельств?!

Интересные события ожидают нас впереди. Скорей бы приехал Андрей, неймется давно обсудить с ним нынешнее положение и то, «что день грядущий нам готовит».

Внук растет. Сегодня после обеда гулял с ним часа три. Невольно думаешь: в какой стране выпадет жить детям и внукам?

26 декабря. Четверг. *Под конец дня вместе с редактором многотиражки удалось пробиться к генеральному директору тракторного завода. Вошли в приемную вдвоем, секретарша подхватилась: «Кто с вами?» — спрашивает у редактора. «Это журналист. С генеральным договорено». — «Я вам звонил не раз. Мы давно знакомы», — я назвал себя. Тогда она заулыбалась, улыбка у нее искусственная, будто маску натянула, но сказала очень вежливо: «Пожалуйста, заходите».*

В огромном ярко освещенном кабинете сидел смугловатый, моложавый человек. Я знал, что ему за шестьдесят, но выглядел он на сорок пять. Значит, умеет жить и работать. Он быстренько прочитал письмо, подписанное Климчуком, покрутил в пальцах толстую черную ручку, потом крупным почерком решительно черкнул: «Оформить мотоблок».

— Пускай ваш дачный участок будет нашим дополнительным испытательным полем. Раз вы агроном, то вам и проводить исследования.

— Согласен. О результатах напишу.

— А мы напечатаем в нашей газете, — повеселел редактор.

— Идите к моему заместителю. Он скажет, что делать дальше. Успехов! — директор подал мягкую, ухоженную ладонь.

Редактор остался решать свои проблемы, а я направился к заместителю. Лысоватый щуплый мужчина нацепил на длинный нос очки, раза три перечитал резолюцию, буркнул:

— Знает генеральный, что мотоблоков сейчас нет. А подписывает. И что с вами делать? — заместитель взглянул на меня из-под очков.

— Что делать? То, что советует генеральный.

— Если б он советовал! Он же приказывает, — меленько хихикнул заместитель, поправил очки, подписал бумагу. — Завтра оплатите. Лучше выпишите чек. Поторопитесь, а то у нас очередь. А затем в отдел сбыта.

В начале января получите трехколесный мини-трактор, он хоть маленький, но сильный. Двенадцать лошадиных сил. Целая дюжина. Табун лошадей. Считайте, что вам повезло. Вы заплатите три семьсот. А после Нового года эта техника будет стоить раза в четыре дороже.

— Спасибо вам за поддержку.

— Благодарите генерального. Я выполнил поручение.

Мысленно я благодарил своего шефа Володю Климчука и его друга-редактора, иначе к генеральному не пробился бы. Неприятно это все, но что сделаешь? Кабы мотоблок свободно стоял в магазине, я бы никуда не ходил, никого не просил. Так оно и будет. Когда повысят цену. Поскольку, как бы там ни было, идем к рынку.

29 декабря. Воскресенье. *Тихий туманный день. А для бедного люда покоя нет: очереди за хлебом, молоком, пустые полки магазинов. Цены кусаются давно. Елка до метра высотой — шесть рублей. Коньяк — 388 рублей. В Москве мед 200 рублей килограмм. Зато на почте никакой очереди. Пусто! Отослал поздравления другу и земляку Даниле Баханькову в чернобыльскую зону, поздравил Довгалева, Миколу Шандабылу. С Андреем будем вместе встречать Новый год. Обсудим все события.*

Горбачева использовали и выплюнули. Союз развалили, теперь скупают все, хватают особенно те, кто ближе был к власти, к корыту. Что будет в новом году? Только бы обошлось без гражданской войны! Как в Югославии или Грузии. Остальное — выдержим.

Вчера после треволнений с мотоблоком заныл мой собственный «мотор», аж клапана застучали. Пришлось пить валокордин. Вспомнился тот день, когда посадил боевой самолет, спустился с трапа и упал. Потом клиника, процедуры, анализы. Комиссация. Ощущение своей ненужности и беспомощности. Измена жены, развод. Однако же после того прожил 25 лет! Может, еще столько же прошкандыбаю по жизненной дороге. Вывод один — надо укреплять здоровье. Помалу буду расширять хозяйство. Запрягу мотоблок — двенадцать лошадей, пускай помогают. Пчел нужно больше. Вокруг лес — медовое дно.

Для меня прошедший год (уже прошедший) — Год Белой Козы — был насыщен событиями. Стал дедом, перешел на новую работу, которая больше по душе, построил баню. И еще одно событие: позавчера получил купоны — две карточки по 300 рублей. У капиталистов на гнилом Западе некуда девать продукцию, а у нас — нищета. Мафия, спекуляция, сумбур и безголовье.

О, Белая Коза! Сколько всего ты натворила! По насыщенности событиями этому «козьему» году, видимо, нет равных в истории человечества последних десятилетий. Прощай, Коза! Встречаем Год Обезьяны! Пусть будет она, Обезьяна, добрее!

У Короткевича есть отличное стихотворение про новый день: «Встану утром навстречу солнцу...» Последняя строфа такая:

У новым дні ўсё прыгожым будзе,
Ён паўстане над новай зямлёй.
Паднімайцеся, добрыя людзі,
Крочыць к сонцу поруч са мной.[1]

---

[1] В новом дне все красивым будет,
Он взойдет над счастливой землей.
Поднимайтесь, хорошие люди,
Вместе к солнцу идти со мной.

(Перевод А. Тявловского)

Как хочется, чтобы в новом году все было красивым, чтобы хороших людей стало больше. Но чует мое сердце, утомленное жизнью и солнцем, что будет беспорядок, безголовье, цены попрут вверх. Очереди еще больше вырастут. Нищета воцарится в нашем краю. Но, повторю еще раз, только б не было войны. Остальное все — переживем. Победим!

Хроника БЕЛТА, других мировых агентств, 1991 г.

17 декабря. Новополоцк. Витебская область. *Ассоциация многодетных семей Новополоцка отпраздновала свою первую годовщину. За прошедшие месяцы организация выросла с 13 семей до 160 семей, имеющих трех и более детей.*

19 декабря. Анкара. *Кабинет министров Турции принял решение признать все республики бывшего Советского Союза, объявившие о своей независимости.*

20 декабря. Вашингтон. *46-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН без голосования приняла резолюцию о международном сотрудничестве в деле изучения, смягчения и минимизации последствий катастрофы в Чернобыле.*

30 декабря. Минск. *Лидеры одиннадцати стран в Доме внешнеэкономических связей начали переговоры об укреплении СНГ.*

XIII

Андрей Сахута приехал в Минск в половине двенадцатого ночи. С легким чемоданчиком вышел на привокзальную площадь. Поразило яркое освещение домов, множество машин, длинный хвост очереди на такси. Бросился в глаза огромный плакат над фасадом дома напротив вокзала: бородатый Дед Мороз и буквы: «З Новым годам, Беларусь!» Мелькнула мысль: обкома нет, а наглядная агитация есть, да на родном языке, чтобы любой приезжий почувствовал, что приехал не лишь бы куда, а в столицу независимого государства Беларусь.

А еще подумалось: на его улице в райцентре нет ни одного фонаря, а тут такая светлынь! И хозяйка его квартиры Дарья Азарова сейчас уже спит, поскольку ложится в десять. Даже если мучается от бессонницы, так все равно свет не включает, лежит, уставившись в темный потолок, перебирает, словно лущеные орехи, события своей довольно долгой жизни.

В очередь на такси Андрей не пошел, решил доехать на метро до Немиги, а там пройти пешком. Если бы приехал раньше, то, может, прошел бы пешком до своего дома: хотелось посмотреть на праздничный город, подмывало дать оценку нынешней власти. Невольно вспомнил, как в ноябре 1961 года приехал из Лобановки в столицу — вызвали в ЦК комсомола на утверждение, поскольку его тогда избрали комсомольским вожаком района. Голосовала за него на пленуме и деревенский комсорг Полина. Шел тогда Андрей от вокзала до ЦК пешком. Было сырое, туманное утро. В ту ночь снесли памятник Сталину, который величественно возвышался на Центральной площади.

В тот год Андрей женился, стал отцом. На то лето выпал их с Адой медовый месяц. Как мудро придумали люди! Медовый месяц был у них настоящий. Врезались в память жаркие ночи на пахучем сене. Потом такой перво-

родной радости уже не было: заботы, хлопоты, рождение детей, бесконечные совещания и заседания, лекции и доклады не отпускали в мыслях даже во время отдыха.

Эти воспоминания промелькнули, когда Андрей стоял на ярко освещенной станции метро в ожидании поезда. Метро он оценил, когда лишился персональной «Волги». Запрет «монолитной и могучей» КПСС, а потом распад Союза — эти события бывший обкомовский идеолог до сих пор не мог осознать и осмыслить... Чернобыль переиначил жизнь трети Беларуси, особенно жителей зоны, отселенных деревень. Распад КПСС и Советского Союза переиначил, а то и сломал судьбы миллионов людей.

В радиационной зоне жизнь катилась извечным порядком, но невидимая радиация, словно непреодолимая запруда, повернула жизненное течение в другое русло. И судьбе Андрея Сахуты пришлось сделать крутой вираж, при котором он чуть не выпал «в осадок», как говорит сын Денис. Однако не сломался, выстоял, имеет работу, ответственную должность, имеет перспективу снова вернуться в столицу.

Добрался домой довольно быстро. Перед своим подъездом приостановился, взглянул на окна квартиры: ярко светилось окно кухни, мягко, уютно — лоджия, на которую выходили двери спальни. «Наверное, Надя на кухне, а жена читает или смотрит телевизор», — подумал он. Открыл дверь своим ключом, тихо вошел, поставил чемодан. Из кухни вышла Ада в пестром халате. Этот халатик он подарил ей когда-то в день рождения. Ада утеплила халат шерстяным платком и зимой любила надевать его. А сегодня, может быть, надела нарочно. Обнялись, поцеловались. Андрей почувствовал знакомый запах жениных волос, и желание близости сразу овладело им.

— Ну, как доехал? Я уже заждалась, — Ада снова приникла к нему, снова поцеловались.

— Да, действительно ехал долго. Поезд полз как сонный. И только в пригородной зоне прибавил хода. А то останавливался у каждого столба. Надя, Толик спят? Как у них? Все хорошо? Поправился малыш?

— Немного кашляет. Температура нормальная. А я варю холодец. Боюсь, застынет ли. Ну, мой руки. Будем ужинать. А может, душ примешь?

— Да, лучше душ. Но я быстро.

В ванной комнате приятно пахло медовым шампунем, витал тонкий аромат парфюмерии. Эх, сейчас бы полежать с полчаса в теплой воде, вспененной шампунем, потешить грешное тело! Но понимал, что поздно уже, Ада ждала, и ему хотелось любви. Поэтому нырнул под теплый душ. Невольно подумал: и в лесничестве, и теперь, в райцентре, не имеет ни теплого душа, ни теплого клозета, не говоря о ванной или метро. Не удивительно, что молодежь «тянется» в город. Да и не только молодежь. Если б имел человек приличный надел, свой дом со всеми удобствами, так зачем ему клетка-квартира в городской многоэтажке? Но такое, верно, будет у нас очень нескоро. Хоть он слышал, что в последнее время вокруг Минска закипело строительство коттеджей, банки выдают льготные кредиты, только стройся. Это экономический подрыв идеологии социализма: человек, имеющий трехэтажный коттедж, в коммунизм не поверит и ждать его прихода не пожелает, и все будет делать, чтобы равенство и братство не пустить на порог.

Андрей и Ада выпили по стопке за приезд. Он смотрел жене в глаза, разглядывал ее лицо, такое знакомое, родное, приметил возле ушей прядки седых волос. «Постарела моя бабулька», — Андрей поймал себя на мысли, что сравнивает ее с Полиной. Там было новое, острое чувство, а тут все знакомое, близкое, привычное, женщина, с которой прожито столько лет,

вырастили детей, уже растут внуки. Да, она, может, излишне допекала его, когда долго ходил без работы, возражала, когда ехал в зону, — понятно, беспокоилась о его здоровье, хотела быть вместе, а не жить порознь. Любовь не прощает добровольной разлуки. И неизвестно, как бы отнеслась к его намерению другая женщина, та же Полина. Нет, Полину на месте жены представить не мог, слишком мало они знают друг друга. «И вообще, ты дома. Гони прочь всякие мысли. Соскучившаяся жена тебя ждет», — настойчиво посоветовал внутренний голос Андрея.

Ему показалось, что Ада была как никогда нежной. Нет, не показалось, так было на самом деле. «Долгая разлука — нежности порука», — подумал Андрей и сам удивился, что получилось в рифму. Особую остроту чувствам придавало понимание: это последняя ночь года.

После бурных объятий у Ады даже вырвалось признание, что он помолодел, окреп, похоже, радиация способствует потенции.

— Есть еще порох, — довольно улыбнулся Андрей.

— О, милый мой, у тебя целый пороховой склад.

В последний день года Андрей Сахута проснулся поздно. Дал себе послабление, лежал, думал, кому позвонить, что подарить внуку, жене, дочке. Надя с Толиком переехали к ним недавно, свою квартиру сдали некой фирме. Ада советовалась с ним по телефону об этом переезде, понятно, он возражать не стал.

— Что тебе купить, Ада? Все-таки Новый год, — спросил он во время завтрака.

— От, не беспокойся. Сегодня что-либо купить — проблема. Людей всюду полно. Для меня лучший подарок — ты сам.

Короткий зимний день промелькнул незаметно. Посоветовавшись с Надей, купил внуку санки. Под вечер обновили их: катались с невысокой горки во дворе. Толик наслаждался подарком, раскраснелся, как снегирь, сам затягивал саночки на горку, отталкивался и скатывался вниз. Дед Андрей ходил по двору, посматривал на освещенные окна домов, в некоторых сквозь оконные стекла мерцали разноцветные лампочки на елках.

Что бы ни творилось на свете, какие бы драматические события ни происходили, Новый год приносит надежду на лучшее. И каждому хочется верить, что надежды оправдаются.

Вечером Андрей смотрел с внуком «Калыханку», потом читал ему сказки. Малыш внимательно слушал, затем начал зевать, дед подумал, что внук вот-вот заснет, а тот вдруг спросил:

— Деда, а в твоем лесу много елок?

— О, еще как много! Потому что лес там большой. Там течет река Беседь. В деревне над рекой жили твои деды и прадеды.

— Так ты ж мой дед. А прадед — это кто? Он меня знает?

— Мой отец Матвей — это твой прадед. А моя мама Катерина — в деревне ее звали Катерой — твоя прабабка. Их уже нет. Они состарились и умерли. Как-нибудь летом съездим на мою родину. Ты должен знать, где жили твои предки. Там, правда, сейчас радиация. Чернобыль. Но мы его победим.

— А ты видел радиацию? Она что, вся черная?

— Радиацию увидеть нельзя. Она в земле, в воде. Вот, как соль или сахар растворяется в воде, так и радиация. Только она вредная для человека.

— Раз она вредная, так зачем человек ее придумал?

Вопрос поразил Андрея Сахуту своей логичностью. Он начал объяснять, что с помощью атомной энергии человек вырабатывает электричество, иначе

в квартире было бы темно, на улицах не горели бы фонари, не ходили бы по рельсам трамваи. Толик слушал внимательно, хоть и не все, видно, понимал. Вдруг он сказал:

— Деда, а я не хочу умирать. Раз родился человек, так пусть живет и живет.

— Правильно, внучек. Мы будем жить. И мама твоя, и бабушка. Все будем жить. Наперекор всякому лиху.

— А волки есть в твоем лесу? — неожиданно спросил Толик.

— Есть. Но волки не такие страшные, как про них пишут. Человека они боятся. В лесу полно птиц.

Андрей перевел беседу на птиц, чтобы не пугать малыша: разговор перед сном про волков не очень-то успокаивает дитенка.

— А теперь, внучек, они все спят. Синички попрятались в свои дуплянки, сороки дремлют под еловыми ветвями, воробьи забились под стрехи. Все, все спят. Даже ветер устал за день, прилег под высокой елью, вздыхает, ворочается и тихо-тихо засыпает...

Андрей заметил, как постепенно веки малыша будто слипались, дыхание сделалось ровным, глубоким. Сон сморил маленького мыслителя. Андрей смотрел на внука и почувствовал, что глаза повлажнели. Тревожное ощущение овладело им: что ждет в жизни этого маленького человечка? Растет без отцовской ласки. «Какой мерзавец, — подумал о бывшем зяте, — бросил такое дитятко. Я должен заменить ему отца. Поставить его на крыло». А еще подумалось: жить нужно долго, чтобы дождаться правнуков.

Петро и Ева приехали часа за два до Нового года. Давние приятели придирчиво оглядели друг друга, особенно присматривался Петро: будто искал отпечаток радиации, следы пережитого на лице. Убедился, что друг похудел, постарел, стал более спокойным и сдержанным, даже говорить стал медленнее.

Еще с большей придирчивостью оглядывали друг друга женщины. Особенно присматривалась к гостье хозяйка, поскольку Ева была моложе аж на шесть лет. Хоть ты, голубка, и моложе, подумала Ада, но постарела ты сильней меня и потолстела больше. Прибавил веса и Петро, но свою «мозоль», как он выразился, не прятал и не стыдился ее.

— Ты молодцом, Андрей. Стройный, поджарый. Вот что значит работа на свежем воздухе. А я сижу, будто крот, над рукописями. Света белого не вижу. Брюхо растет, хоть и зарядку делаю. И в бассейн хожу. Утром по выходным дням бегаю.

— Приедь ко мне на месяц. Устрою егерем. На глазах твоя мозоль спадет.

Гости раздевались, тихонько беседовали, поскольку Андрей без излишней дипломатии предупредил: маленький Толик заснул. Потом сели за стол. Пили за старый год.

— Хоть Коза и наломала дров, но, может, все наладится. Утрясется, уляжется, — Петро оглядел застолье, глянул на Андрея, будто просил разрешения сказать тост. — Развал Союза затронул миллионы людей. Верней, сломал судьбы миллионов. А затронул всех, как раньше писали и говорили, всех советских людей. Мы выросли при этой власти. Мы — ее дети, — Петро помолчал, вздохнул. — Дорогой мой дружище, Андрей, тебе, пожалуй, пришлось пережить больше всех.

— Почему больше всех? Я так не думаю, — возразил Андрей. — Давайте выпьем за старый год.

— Нет, прости, дай мне закончить. Я перешел с одной должности на другую по своему желанию. Причем теперь имею больший оклад. А ты

с высокой должности грохнулся на землю. С такой выси да в радиационную зону. Я укоряю себя, что не всегда поддерживал... И тут Ада Брониславовна — молодчина. Она обеспечила тыл.

Никто не заметил, как покраснела Ада, — она лучше всех знала, что думала о муже в те дни после ГКЧП. И не только думала, а и говорила. И не раз, и не два бросала в лицо обидные, оскорбительные слова «партийному болтуну», который ничего не выслужил у государства и партии, вынужден был ехать в радиационную зону рядовым лесничим.

— Ну, и я иной раз ошибалась. Я была против, чтобы Андрей ехал в зону. Здоровье — дороже всего. Однако, слава Богу, все налаживается. В райцентре радиации меньше. И должность солидная. Главный лесничий — один на весь район, — с гордостью сказала Ада. — С этой должности можно и в Минск прыгнуть. И я бы хотела, чтобы это случилось как можно скорей.

— Не все так просто, моя дороженькая. Но будем надеяться на лучшее. Ну что, как люди говорят: что-то в горле пересохло?

— Давайте выпьем, чтобы наступающий Год Обезьяны был добрей, здоровей, счастливей, — Петро поднял рюмку.

— Чтобы все наши надежды оправдались, — добавила Ева.

Андрей заметил, как внимательно слушала Ева, когда говорил Петро, как они переглядывались между собой, какая приязнь светилась в их глазах. В душе позавидовал другу: тот нашел свою половинку, у них есть любовь и взаимопонимание. «Ева, верно, так бы не грызла мужа, если бы тот оказался на моем месте, — невольно подумал Андрей. Заметил пристальный взгляд Ады: — Неужели она догадывается о моих мыслях? Нет, такого быть не может. Если очень сильно любить человека, может быть, можно сердцем улавливать, отгадывать его мысли, да и то не всегда». А они с Адой жили в последнее время по инерции бытия, и первое испытание едва не раскололо их семейный челн.

Новый год приближался. Хозяева и гости чокнулись шампанским, выпили, расцеловались по-дружески. И тут же зазвонил телефон: первым поздравил родителей сын Денис.

— Папа, я рад, что ты дома. Думаю, все будет хорошо.

— Спасибо, сынок, за поздравление. Обнимаю тебя. Приезжайте.

Потом позвонила Надя, с ней говорила Иринка, сказала, что через час они могут приехать. Ада ждала такого сообщения, готовилась и все же встревожилась: хватит ли наготовленной еды? Но была у нее и другая тревога: почему не звонит Андреев приятель из комитета по экологии? Он звонил месяц назад, сокрушался, что Андрея нет, поскольку у них намечается вакансия.

— Может, поздравь Михаила? Чего ты стесняешься? — шепнула мужу.

— Я звонил ему на работу. Передал секретарше. Он знает, что я дома. Позвонит.

— А я не ждала бы, — с подтекстом сказала Ада, мол, снова упрямишься, цену себе набиваешь, — корона не свалится, если поздравишь нужного человека.

Раздражение вспыхнуло в душе Андрея, но он сдержался, ничего не сказал жене, повернулся к Петру, завел разговор о том, что народ плохо знает свою историю.

— А кто о ней говорил народу? Твои друзья-идеологи? Или мои коллеги с телерадио? Теперь нам нужна национальная идея, которая бы объединила народ. Объединила бы нацию.

— Петро, ну, ты как на митинге, — усмехнулась Ева и добавила: — Хотя, если порассуждать, может, и правда, нужна такая идея.

Хитрая особа, подумал Андрей, как будто упрекнула, а потом похвалила, поддержала. У моей Ады — только белое и черное. И никаких нюансов: есть рубль, так есть, а нет — так нет. Рассуждения профессиональной финансистки.

— Ну и что столичная интеллигенция предлагает народу? Какую идею?

Ева уловила иронию в этих словах, глянула на Андрея, будто хотела сказать: ну чего ты задираешься?

— Не знаю, что думает интеллигенция. Я предложил бы вот что. Первое — это самостоятельность. Какое государство без суверенитета? Без самостоятельности? Второе — самобытность. Это наша культура, традиции, язык, наши песни. Одним словом — наши корни, — Петро перевел дух, или, может, собирался с мыслями, или дал возможность переварить услышанное. — Третье — достаток. Чтобы и поесть было что, и надеть. И чем поле пахать, и на чем по дорогам ездить. Ну, тут вся экономика. Базис.

— Мне кажется, правильная идея, — первой поддержала гостя хозяйка. Она как раз вернулась из кухни, когда Петро начал разговор о национальной идее. — Особенно — насчет достатка. Чтобы был хлеб и к хлебу. Тогда и песни будут.

— Мне кажется, для равновесия нужно добавить — духовность. Духовность издревле была свойственна нашему народу. Иной раз он больше заботился о душе, чем о животе.

— Я поддерживаю духовность. Ну, и равновесие. Четыре слова, как четыре стороны света. Как четыре времени года. Четыре угла хаты. Все тут сконцентрировано, — важно заметила Ева, будто только от нее зависело принятие национальной идеи.

— От имени всех финансистов я приветствую эту идею, — с улыбкой сказала Ада. — И предлагаю за нее выпить. А то мне обидно. Все стоит на столе. Картошка остыла. Холодец тает. Наливай, Андрей. Дети сейчас приедут.

Тут залился трелью телефон. Ада сняла трубку и с радостью позвала Андрея, поскольку узнала басистый голос Михаила Иосифовича.

Ей очень хотелось послушать, о чем будет разговор, но она чувствовала неловкость ситуации и неохотно подалась к гостям. Не сдержалась, чтоб не сказать, кто звонит, заинтриговала, мол, много зависит от этого разговора.

Когда Андрей вернулся, все посмотрели на него внимательно. Ада спросила:

— Ну, что он сказал?

— Поздравил с Новым годом. Пожелал, чтобы следующий год я встречал в качестве их сотрудника.

— Так это ж отлично! — засветилась от радости Ада, чмокнула мужа в щеку. — Но год — это перебор. Лучше полгода. Еще лучше — один квартал. Потому что эти три месяца длились для меня как три года.

— А что это за человек? — поинтересовался Петро.

Андрей сказал, что звонил заместитель председателя комитета по экологии, что их комитет через некоторое время будет называться Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, будет расширен...

Петро и Ева незаметно переглянулись: на днях они спорили, Ева с обидой в голосе заявляла, что бывшие партийные боссы захватили все ключевые должности в исполкомах, хватают льготные кредиты, делят вокруг Минска землю под коттеджи, приватизацию превратили в прихватизацию. Петро сперва возражал, но жена убедила, что все на самом деле так происходит. И вот еще одно доказательство непотопляемости партийных функционеров.

— Да, экология выходит на первый план. Я бы добавил сюда экологию души, — задумчиво сказал Петро.

— Я полностью согласен с тобой, дорогой мой дружище. — Андрей пристально взглянул на друга, поднял бокал. — За Новый год! За новую жизнь!

Андрей Сахута, бывший секретарь обкома по идеологии, а теперь главный лесничий радиационного прибеседского лесхоза, впервые почувствовал, что ему не хочется возвращаться в столицу.

На исходе был первый час нового, тысяча девятьсот девяносто второго года.

XIV

И над родной Беседью повернулась ночь на другой бок. Сквозь лохматые тучи заблестел рыжеватый месяц, в просветах замерцали звезды. Над безмолвным заснеженным пространством, над вершинами древ мчался упругий леденящий ветер из Чернобыля. В его колючем дыхании ощущался неистребимый аромат иссохшей, промерзлой полыни.

Полынный ветер не знал покоя и отдыха даже в новогоднюю ночь.

О Ветер, Ветер! Ты способен просочиться в любую щель, можешь охватить половину океана и все небо. Ты приносишь дождь, снег и град. Ты срываешь крыши, валишь электромачты, выворачиваешь с корнем могучие дубы, ели, толстенные ольхи и осины. Я никогда не забуду зрелища, увиденного в сентябре 1963 года. Тогда сын Твой, смерч, истоптал полтораста гектаров прибеседского леса. Словно кули с житом, лежали поваленные деревья. Маленькие сосенки Он прижал к земле, будто пригладил ладонью, кучками стояли крученые-перекрученые деревья, словно Он хватал их за чубы, чтобы скрутить перевясла.

О Ветер, Ветер! Ты — самый свободный и самый богатый, ибо сколько людей бросают Тебе слова, время и богатство!

Но ты и великий труженик. Издревле носишь по морю-океану рыбацкие парусники, военные фрегаты, флибустьерские бригантины, надуваешь косые паруса шхун и белоснежных красавиц яхт. Без Тебя, Ветер, Колумб не открыл бы Америку. Ты издавна кормишь человека хлебом, ибо неутомимо машешь крыльями ветряков, меля зерно. Тебе по плечу спасти мир от экологической катастрофы, Ты можешь обеспечить человечество самой дешевой электроэнергией.

О Ветер, Ветер! Я приветствую Твой свежий порыв! Радуюсь, когда ты вздымаешь морские волны, люблю нырять в них, чтобы схватить за пенистую гриву бурлящий вал соленой воды. А как тешат сердце и взор блестяще-зеленые волны, которые Ты катишь по житному полю!

Ты рушишь все, что устарело, сгнило и отжило свой век. Но сам Ты, Ветер, нигде не рождаешься и никогда не умираешь, ибо Ты вечен.

Как вечна наша Земля-Матушка. И на ней Человек.

Перевод с белорусского Андрея ТЯВЛОВСКОГО.

ВИКТОР ГОРДЕЙ

Не пилигрим — искатель истин божьих…

* * *

Выйдешь из белого облака в белом.
Облако утром осядет в траву.
Там я блуждаю, душой огрубелый,
Там тебя, мама, в смятеньи зову.

Голос твой слышу там, где-то в тумане,
Голос твой слышу — но где ж ты сама?
Вижу: листва все желтей и багряней.
Вижу: пути заметает зима.

В белом ты выйдешь из белой метели
В час, когда грустно и сумрачно мне,
И улыбнешься. И станет светлее
И на душе, и в родной стороне.

* * *

Не пилигрим — искатель истин божьих,
Но заимел и я бродячий чин,
Хотя в толпе, где тысячи прохожих,
Брести впустую уйма есть причин.

Как подсчитать — то пройдено немного.
Коль без обмана — так совсем чуть-чуть.
Ведет судьба то круто, то полого,
И здесь толпа прокладывает путь.

Похоже: как грачей на свежей пашне,
Прошедших дней спугнул я череду,
Ищу чего-то, может, день вчерашний,
Хоть знаю: ничего я не найду.

Кресты мелькнут средь снеговой пустыни:
На крайности дорога не скупа.
Могилы там — всемирные святыни,
И канувшая в вечности толпа.

* * *

Печаль моя, душой не зачерствелый,
Живу в лесах, и я тут не один:
То средь берез махнешь косынкой белой,
То, как цыганка, спляшешь меж рябин.

И больше никаких, поверь, известий:
Паненка иль раба — откуда, чья?
Застенчиво-невинная невеста,
Дай мне уста, ведь ты — печаль моя!

* * *

И лето, и солнце в зените.
Как выпить кручину до дна?
На спелую ниву взгляните:
Там связь поколений видна.

Колышется рожь золотая,
Дорожка все глубже, и вот
Тревожная песня ратая
Средь дымных просторов плывет.

И слушает песню дорожка,
Над нею и тучка, и гром.
Еще постою так немножко —
И маму увижу с серпом.

А дождь налетел торопливо.
Ну, что же ты! Лей — не жалей!
Шумит и колышется нива,
И сердцу уже веселей.

* * *

Приснился дождь, и шум дождя обвальный
Прервал мой сон, беснуясь за стеклом.
Там, за окном, шел дождь, но дождь реальный,
И грохотал реальный в небе гром.

Мне снилось: вовсе ливня мы не ждали,
Но сверху лупят молнии по мне.
Проснулся весь в поту, в тоске, в печали:
Неужто это было лишь во сне?

Гляжу в окно, где темнота сплошная,
И грустно мне, и с сердцем нелады…
Ведь дождь, он мне приснился, точно знаю!
Но за окном реальный шум воды.

* * *

Потускнело пламя на калине,
Да и дождь уже не грибосей.
С болью насчитал в пролетном клине
Я сегодня только семь гусей.

Боль не в том, что небеса печальны,
Что не нужно жалостливых встреч;
Проплывал в тревоге и молчаньи
Клин гусиный, вот об этом речь.

Тут, за Вязынкою, на пригорках,
Где дубы Купаловы в полях,
Только увидал — вздохнул я горько:
Как же слаб гусиных крыльев взмах!

Дай вам Бог весною воротиться,
Да кричи, вожак, тревожь людей!
Будет мне отныне долго сниться
Клин печальный из семи гусей.

* * *

Чудаки, кто влюбленный в романсы,
Или то вдохновенья порыв?
Дай мне, время, последние шансы,
Чтобы после себя не корил.

Навалилась усталость на плечи.
Снится край наш, забытый едва ль.
Там я встретил тебя, но, конечно,
Не дарил эту черную шаль.

Веселей, коль беда улетела,
Дождь впадает в забвение, в транс.
Даже странно, что сердце допело
Недописанный мною романс.

Перевод с белорусского Геннадия Авласенко.

Шиповник

Цветет — любуюсь красотою,
Цветет — очей не отвести.
Но отчего-то мне весною
С ним вместе хочется грустить.

Цветет, красивый и пахучий,
Нельзя шиповник не любить.
И все ж среди его колючек
Не станут птицы гнезда вить.

* * *

Журавли — тревоги трубадуры —
Прокричали вечное «кур-лы».
Лес стоит безмолвный и понурый,
Бор блестит слезинками смолы.

О сентябрь, безрадостный и милый,
Посижу, подумаю с тобой.
Шелестят натруженные крылья
Над моей усталой головой.

Только чьи здесь песни не допеты?
У кого сломалось тут весло?
Краснотой малин горело лето.
Грустно мне, что лето отошло.

Этот мир, возможно, стал бы раем.
Не было б ни горя, ни трущоб.
Бор платком тумана вытирает
Слезы, что стекли с него, как боб.

Все ж, когда печаль с деревьев хмурых
Сыплется, невесело и мне:
Журавли — тревоги трубадуры —
О весне кричали, о весне.

Перевод с белорусского Владимира Стасюка.

АЛЕКСАНДР СИЛЕЦКИЙ

Пыльная дорога, звездные дожди

Рассказ

Пятую неделю стояла жара.

Листва на деревьях пожухла, серое небо, казалось, беспомощно льнуло к земле, не в силах вынести всей массы зноя, что выплескивало за день солнце…

Над дорогою вздымалась пыль.

Слева высился лесистый холм, и справа высился лесистый холм, а дорога лежала как раз посередине.

Ни начала, ни конца, только крошечный отрезок пути, по которому временами пробегали машины — до полудня в одну сторону, а потом, до вечера, в другую.

Ночью дорога пустела. Никогда еще никто не проезжал по ней при свете звезд.

Со стороны это казалось странным, непонятным.

А она не удивлялась — привыкла видеть мир всегда таким.

Она жила в нем, в этом мире, как и все живут, но доступно ей было немногое: два лесистых холма да пыльная дорога, связанные навеки между собой светом солнца, луны и звезд, который заполнял все пространство от замшелых валунов до беспредельной дали, куда уходило небо.

Если ночью тучи клубились до горизонта и темень стояла непроглядная, связь эта разрывалась, мир распадался на отдельные, ничего не значащие сами по себе части, и тогда ей делалось тоскливо, неуютно и страшно, потому что именно в эти долгие часы она особенно отчетливо сознавала свою беспомощность и непричастность даже к таким — разрозненным — частям обозримого мира.

Она теряла сон и еле-еле сдерживала себя, чтобы не закричать от ужаса и одиночества, терзавших и опустошавших ее, покуда не наступал рассвет.

Если бы спросили ее: «Где ты живешь?», она бы точно не могла сказать. Она, вероятно, ответила бы: «С краю», — и была бы по-своему права.

Все было где-то там — впереди, позади, но — там, далеко-далеко, наверное, так далеко, что слишком трудно *оттуда* добраться до нее, иначе бы, конечно же, хоть кто-нибудь, хотя бы раз, да и свернул с дороги, проезжая мимо, и навестил ее, но нет, такого не случалось, значит, даже от дороги, которая, казалось, проходила рядом, за окном, и то к ней путь лежал неблизкий.

Она сидела у окна в инвалидной коляске и смотрела, день за днем, год за годом, как мимо бегут машины, как стелется над дорогой пыль, как зеленеют, обнажаются и снова зеленеют деревья на холмах, и время для нее шло только днем, ночью же время совсем замирало — редкие капли звездного света прибивали его к земле, как дождь — дорожную пыль.

Собственно, пыль над дорогой, поднимаемая машинами, и была для нее связана с временем.

Однажды она поймала себя на удивительной мысли: если прервется вдруг привычный бег автомобилей, тогда все кончится — и она умрет.

Сначала она рассмеялась, а потом, сама не зная отчего, проплакала всю ночь.

Со временем этот случайный эпизод почти забылся, потускнел, и все же смутная тревога сохранилась, и шум моторов, несущийся издалека, и клубы пыли, и чуть различимый запах бензина теперь приводили ее в особенное состояние, ни объяснить, ни назвать которое она не могла.

Просто ей было *нужно* все это, как, скажем, сон, еда или питье.

Из картинок в старинных журналах она знала, какие люди населяют мир вокруг нее, и знала также, что уродлива — необычайно.

Нельзя сказать, чтобы это очень ее огорчало.

Разглядывая себя в тусклом настенном зеркале, она не ужасалась ничуть — зависть к тем, кто красив, не просыпалась в ней, ибо красавцев и красавиц она наблюдала только на картинках, а мир, где эти картинки выпускали, ей не принадлежал. Равно как и она ему.

Порою странное желание овладевало ею. Даже не желание, но какая-то смутная, робкая мечта.

Вдруг что-то такое случится — всему вопреки, — и тогда какой-нибудь автомобиль, несущийся мимо, затормозит и свернет к ее дому, и тот, кто сидит за рулем, заговорит с ней, дружески и ничему не удивляясь, а после — посадит рядом с собой и повезет…

Куда? Зачем?

Этого она не знала.

Она вообще не была уверена в том, что ей уж так необходимо попасть за холм, в далекий мир людей, где все-все по-другому, где все прекрасны и заняты делами, которых ей, наверное, не понять.

Но понемногу тайное желание увидеть сворачивающий к дому автомобиль стало тревожить все чаще, и наконец, почти страдая, она принялась провожать взглядом каждую машину, и досада поднималась всякий раз в ее душе — смешно, неужто она всерьез надеется на чудо?

Да ведь ей же на роду написано — родиться, жить и умереть одной!

Одной?

Она влюбилась, вот что.

Не зная и не видя никого, она влюбилась в некоего сказочного принца, живущего в прекрасном мире за холмами, и трепетно ждала, когда же этот принц придет, чтоб одарить ее и лаской, и любовью.

Она уродлива?

Ну что ж, пусть так…

Но должен же найтись на свете кто-то, кого ее уродство не смутит, кто вдруг проникнется счастливой верой в доброту ее — да, и за эту доброту в конце концов полюбит!..

Хоть один-единственный во всей Вселенной…

Она мечтала о любви. Не представляя, что это такое, не в силах даже слова подыскать пригодного, чтоб как-то все назвать и объяснить, — все старые слова не выражали и десятой доли сути.

Годы шли, а она все сидела и ждала, сидела и ждала, погруженная, будто в болезненное оцепенение, в свою невыразимую мечту.

Старела ли она?

Кто знает…

Когда упорно ждешь прекрасное и веришь, что оно придет, то долго-долго остаешься все таким же, каким ты *должен* быть, чтобы прекрасное тебя признало, чтоб ты достойным оказался этой встречи.

И наконец она дождалась.

Пятую неделю стояла жара, знойное солнце в малиновом закате падало за горизонт, дорога была пустынна и тиха, ни ветерка, ни звука.

И вдруг…

Дальний треск мотора распорол тишину, ворвался в распахнутое окно, взлетел к вечернему оплавленному небу.

А потом, клубя оранжевую пыль, из-за холма возник какой-то совершенно непонятный экипаж и затанцевал, запрыгал на дорожных ухабах — мимо, мимо, чтобы скрыться через минуту за другим холмом.

Но не успел…

Завизжали тормоза, и автомобиль, подпрыгнув еще пару раз, внезапно стал.

Затем съехал медленно на обочину и, стреляя мотором, сквозь стену пыли покатил прямехонько к дому.

К ней!

Теперь она знала это абсолютно точно.

Дрожа от возбуждения, она всем телом навалилась на подоконник и до рези в глазах всматривалась в приближавшийся автомобиль.

Кто там, за рулем?

Не видно, пыль закрывает все…

А что за странная машина? Болтается влево и вправо, трещит и трясется — все части так и ходят ходуном…

Смех, да и только!

Хотя… не все ли ей равно?

Теперь, когда желание сбылось…

Машина замерла неподалеку. Еще с минуту, наверное, глухо чавкал и стрекотал мотор, но тут последовал щелчок, и наступила тишина.

С протяжным скрипом отворилась боковая дверца, кто-то тяжко вздохнул на сиденье, потом из машины показались ноги, вслед за ними метнулись и уперлись в землю костыли, и вот уже странная пародия на человека — горбун не горбун, паралитик не паралитик, карлик не карлик — так, что-то непонятное, безобразное и жалкое, чему одним словом и названия не дать, стояло на лужайке перед домом.

Она вскрикнула и сползла с подоконника.

Ей сделалось страшно, она почувствовала, что сейчас расплачется, что сейчас ей будет плохо, — она задыхалась, комната закружилась, мир обесцветился и превратился в крошечную точку, из которой неотвратимо выползал и обволакивал со всех сторон какой-то сладковатый звон, звон, звон…

Это был шок.

Мгновенная реакция на годы одиночества, безумные мечты и веру — господи, во что?!.

Несколько минут она сидела с закрытыми глазами, приходя в себя.

А когда распахнула веки вновь, то увидала, что непрошеный гость уже неловко поднимается по щербатым и крутым ступенькам крыльца.

В передней раздался короткий звонок.

— Войдите. Не заперто, — с напряжением произнесла она и торопливо развернула свое кресло-коляску, чтобы сидеть спиной к окну.

Дверь отворилась, пропуская незнакомца, костыли забарабанили по полу, и вечерний гость, точно порождение дурного сна, возник на пороге.

— Добрый вечер, — приветствовал он, и ей почудилось, будто в горле у него в беспорядке перекатываются и сталкиваются металлические шары.

— Добрый вечер, — отозвалась она.

Странная слабость и безразличие внезапно овладели ею.

— Я очень хочу пить. Вы не могли бы…

— Да, сейчас, — коротко бросила она, подкатила к буфету и наполнила стакан холодной водой.

Он принял его обеими руками, всем телом навалившись на костыли, и долго пил, лишь изредка поглядывая на нее.

Первый и единственный гость…

Она никак не могла определить выражение его глаз и от этого испытывала к нему неприязнь — еще большую, чем прежде. Она тяготилась его присутствием, его видом. «Уйди!» — кричала она про себя, но не издала ни звука, а он все стоял на пороге и пил.

Наконец вернул ей стакан.

— Вот спасибо, — произнес он удовлетворенно. — Нельзя ли мне немножко посидеть у вас? Знаете, жара сегодня адская, я так устал…

— Отдохните, — согласилась она и, встретившись с ним взглядом, поспешно добавила: — Вы проходите, садитесь — вот здесь, к столу.

Он тяжело проковылял через комнату и боком опустился на стул.

Она вежливо расположилась напротив.

Все-таки это был *гость*. Пусть и незваный, но единственный за многие-многие годы…

Увы, не добрый и прекрасный принц, как она мечтала, ну да бог с ним, с этим принцем, хоть кто-то посетил ее — и на том спасибо!

Если не смотреть на него, а только слушать, то можно в общем-то смириться и даже вдруг вообразить…

— Вы, верно, приехали издалека? — спросила она, чтобы хоть как-то начать разговор: ведь глупо сидеть и молчать, она еще успеет намолчаться.

— Издалека, — кивнул он, метнув быстрый, испытующий взгляд в ее сторону.

Она мечтательно улыбнулась.

— Из-да-ле-ка, — повторила она, раздельно выговаривая каждый слог. — Правда, красиво звучит? Из-да-ле-ка… А я вот здесь живу. И нигде не была…

— Еще не все потеряно, — откликнулся он необыкновенно живо.

— Не думаю… — покачала она головой. — Кому я *там* нужна?

— Вот те раз! — засмеялся он. — Вы говорите так, будто вам сто лет.

— А может быть, и больше. Я давно уже сбилась со счета. И потом: какой смысл считать?

— Что-то я вас не понимаю, — вздохнул он сокрушенно. — Ведь вы еще так молоды!..

— Правда? — искренне удивилась она.

— Да что вы, зеркала никогда в руках не держали?! Молоды, красивы…

— Вы смеетесь надо мной!

— И не думал. Я сроду не встречал таких красавиц, правду говорю! Прикажите мне хоть двести раз взбежать на этот холм — и я немедля…

— Вы?

— Ну, не господь же бог! Какая вы, право, странная. Удивляетесь самым простым вещам.

— Но вы… — она замешкалась и с усилием договорила: — Но вы еле стоите на ногах.

— Ничего подобного. Конечно, я немного устал от жары и долгой езды, но в остальном… Или я, по-вашему, совсем похож на старую развалину?

— Нет, — коротко ответила она и опустила голову.

Это чудовищно, ужасно, решила она про себя, он издевается надо мной, я сейчас его прогоню.

Но она вдруг поймала себя на том, что совершенно не обижается на него.

Что-то мешало ей указать ему на дверь — то ли его интонация, то ли непонятное веселье, горевшее в его глазах, то ли сами слова…

Но ведь все — абсолютнейшая ложь!

И тем не менее она не могла его оборвать, сказать ему резкость…

Я схожу с ума, подумала она с отчаянием, это все глупая игра, и я — господи, неужто я хоть вот настолечко способна ему верить?!

— Почему вы… свернули именно сюда? — спросила она, не поднимая головы.

— Я много повидал на своем веку, — отозвался он задумчиво. — И много красивых женщин я встречал. Но сегодня, когда я проезжал мимо и случайно обернулся…

— Это неправда, — прошептала она едва слышно.

— Вы стояли в окне, поправляя на голове прическу, солнце играло в ваших волосах, а это поразительное платье… Нет, я должен был остановиться! Потому что понял: я окажусь несчастнейшим из всех людей, если не услышу от вас хотя бы слова… Вы не представляете, как я волновался, когда свернул с дороги! Если вы верите, что существует на свете любовь с первого взгляда, то поймете меня… Ведь я увидел ту, о ком мечтал всю жизнь!.. Вы — понимаете? Что же вы молчите?

— Да, — ответила она глухо и вдруг расплакалась, закрыв лицо рукой.

— Господи, да что с вами такое? — заволновался он. — Я вас обидел?

Она не ответила.

— Выпейте-ка воды, — предложил он и, неловко поднявшись со стула, медленно, с трудом заковылял к буфету. Наполнил стакан, расплескав из графина воду, и так же медленно добрел до стола. — Вот, — сказал он, — выпейте и успокойтесь. И объясните мне…

Она благодарно кивнула и отпила полстакана. Потом утерла слезы и попыталась улыбнуться.

— Ничего, — проговорила она, будто извиняясь. — Это я так. Просто не привыкла…

— К чему? — обеспокоенно спросил он.

Она слегка пожала плечами, подавляя невольный вздох.

— Не знаю. Слишком многое не так… Не так, как я себе представляла. И не так, как кажется вам.

— То есть… вы хотите сказать, что я заблуждаюсь? Что все — иллюзия?

— Мы оба не правы, — сказала она и отвернулась к окну.

Несколько минут они сидели молча.

Он не спускал с нее глаз, а она, чувствуя этот взгляд на себе, старалась показать, что ничего не замечает.

— Но я не мог ошибиться! — произнес он наконец. — Я же *вижу*! Никогда еще я не был так уверен… Или вы видите все в ином совершенно свете? Но как это может быть?

— Боюсь, что именно так и *может* быть, — глухим голосом отозвалась она, не поворачивая головы. — У каждого свой взгляд на вещи.

— Не верю! — объявил он твердо. — Ерунда! Есть взгляд со стороны. Я много странствовал, но лишь теперь… Теперь я знаю, что нашел свою мечту!

— Так уж и мечту? — горько усмехнулась она.

— В том-то и дело! Когда я впервые увидал вас, я был поражен… До чего все гармонично, просто… И в этой гармонии я наконец-то ощутил себя!

— Вы говорите о немыслимых вещах, — со вздохом возразила она.

— Ну, хотите, я посажу вас в автомобиль, и мы уедем…

— Куда?

— Да куда угодно! Хоть на край света! Мы исколесим весь мир, поднимемся за облака, пересечем океаны, будем скакать верхом… Все станут преклоняться перед вами, перед вашей красотой!..

— Это похоже на сказку, — прошептала она. — Неужто вы и вправду…

— А вы не верите? Ну, что за человек! А то, хотите, я останусь с вами, и мы будем здесь вдвоем? Хотите, я принесу сейчас воды, наколю дров, очищу поляну перед домом от камней, разведу огонь в камине…

Он сидел напротив нее — маленький, убогий, жалкий в беспомощности своей, — но глаза его горели счастливым, неистовым огнем, и в судорожных жестах сухоньких, скрюченных рук внезапно стала проступать какая-то странная, почти неуловимая мягкость и сила.

Там, под этой корявой и уродливой оболочкой, жила, и билась, и клокотала неистребимая жажда действовать, любить и наслаждаться…

На секунду, глядя в его глаза, она словно бы забылась, ей показалось, что и впрямь она прекрасна и добрый принц, которого она ждала столь долго, явился, наконец, за ней.

Но миг мечтания прошел, мир сжался, возвратясь в обычные свои пределы, и чудное видение угасло, как будто его не было совсем…

Краем уха она еще слушала его, но смысл, тот высокий смысл слов, что кружились по-прежнему в завораживающем танце, ее уже не достигал. Она опять воспринимала только звуки и лживую их суть…

— Я молод и силен. Не сочтите это за похвальбу, но вы же видите: я не урод, и голова моя ясна… И я люблю вас… Я не мог не полюбить!

— Свою мечту? — спросила она неожиданно резко.

На мгновение он опешил. Но тотчас с жаром заговорил:

— Вовсе нет! Вы — воплощение моей мечты, да-да, и полюбил я вас и *только* вас! Иначе не могло быть. Это *вы* напоминаете мне мою мечту!

— Вам только кажется, — покачала она головой.

— Вы хотите сказать, — печально отозвался он, чуть постукивая костылями, — что вам безразлично? Вам все равно — сиди здесь я или другой…

— Не в этом дело, — прошептала она. — Как раз не все равно. Но… я не вижу вас, как удалось вам увидать меня. Вы, должно быть, удивительный человек.

— Просто надо очень захотеть…

— Что толку? Я старалась изо всех сил. Всю жизнь готовилась к этому моменту, но… У меня не получилось. Простите меня. Вам, наверное, не нужно было сворачивать к моему дому. Лучше бы вы проехали мимо своей мечты…

— Но почему?

Что сказать ему, как объяснить?

Ведь не могла она признаться, что он урод, каких на свете поискать, что он беспомощен и что сама она — ужасна, что случилась непонятная, жестокая ошибка, причины которой им обоим не узнать.

Словно два мира столкнулись, и каждый глядел на другой своими глазами, и каждый видел только *свое*, не в силах преступить роковую черту.

Сказать ему, что он не нужен ей — *такой*, — он не поверит, не поймет.

А все его слова…

Нет, доказать ей собственную правоту и убедить ее он тоже не способен — ни сейчас, ни после, никогда…

Мечты, мечты… А общих точек — нет. Хотя мечтают оба об одном…

— Вы очень славный, правда, — заговорила она наконец. — И вы так добры ко мне… Я верю, что вы и в самом деле полюбили. Но…

— Да-да, я слушаю.

— Ведь это *вы* пошли навстречу своей мечте.

— Но вы ожидали, когда она придет к вам! Мы оба стремились навстречу друг другу.

— Нет. Теперь я поняла. Вы прежде *увидели* меня, а чувство родилось в вас потом. А у меня все — по-другому. Я просто не думала, что могу *так* ошибиться. Извините.

Он закрыл глаза и с минуту сидел не шевелясь. Затем начал медленно, с невероятным трудом подниматься.

А ему кажется, что он непринужденно встал — конечно, огорченный, что и говорить, но — сильный и красивый, вдруг подумала она. Ведь он и из машины тогда выпрыгнул быстро и легко. И ловко, не пролив ни капли, поднес мне стакан воды… А я ничего не увидала.

— Я тоже об этом не подумал, — произнес он глухо. — Это вы извините меня. Но, может быть, все-таки…

— Нет-нет, — сказала она поспешно.

— Что ж, благодарю. Мне было здесь чудесно. Хоть полчаса наедине с мечтой… Прощайте.

Он проковылял к двери, открыл ее и вышел, чуть не споткнувшись о порог.

Уже забираясь в машину, он в последний раз оглянулся.

Она сидела у окна и грустно улыбалась.

Он махнул ей рукой.

— Я заеду еще раз. Можно?

Она отрицательно покачала головой.

Она все еще улыбалась, но в глазах ее он неожиданно заметил слезы.

— Прощайте, — сказала она, однако он уже не слышал.

Дверца с треском захлопнулась, затарахтел старенький мотор, и машина, резко развернувшись, помчалась прочь, трясясь и гремя на ухабах.

Через несколько секунд стена желтой пыли поглотила ее, а когда пыль, наконец, рассеялась, дорога была пуста.

Поздно вечером, когда звезды усеяли небо и машины прекратили свой стремительный бег, где-то далеко, за холмом, грянул взрыв.

Ни пламени не было, ни дыма, только глухой удар — будто лопнул вдруг гигантский барабан размером с долину, где возвышался одинокий дом.

Там, в большом мире, вскорости стало известно, что на одном из виражей дороги случился горный обвал.

Явление в здешних местах обычное, если не считать его силы.

Впрочем, умные головы и тут нашли естественное объяснение, обратившись к статистике, теории вероятности и прочим достоверным вещам.

Лишь одно обстоятельство вселяло тревогу: на этом участке прекратилось движение машин.

Но специалисты заверили, что уже через несколько дней дорога будет свободна для езды.

День не шли машины, и на второй никто не проехал мимо.

Пыль не клубилась над дорогой, и — ни ветерка, ни звука.

Время замерло, остановило свой бег, и тогда она, ничего не зная про обвал, решила, что теперь все кончилось и ей, наверное, пора умирать.

Пыль, которая была для нее временем, казалось, навсегда осела на дорогу, все плотнее прибиваемая к земле редкими каплями звездных дождей, мир опустел, и добрый принц теперь не мог явиться к ней из-за холма.

А может, принц и был уже — только другой, *не ее*, или она, как случается, просто его не признала. И тогда, в отместку ей, жизнь, которая имела цель лишь до поры до времени, а именно: до некой встречи, должной все преобразить, да, жизнь закончилась, и что-то изменять, бороться, действовать — какой теперь был смысл…

Она лишь сделала себе невольную отсрочку, так сказав: если и завтра дорога останется пуста, тогда — действительно — конец…

И ни завтра, ни послезавтра не было машин на дороге.

Пуста была дорога.

Еще четыре долгих дня.

А он гнал свой автомобиль, не глядя по сторонам, не обращая внимания на дорожные знаки, на стрелку спидометра, бившуюся где-то у крайней черты.

И даже когда за спиной раздался взрыв, не придал ему никакого значения.

Он только подумал, чисто машинально: «Ну и ладно».

Происшедшее его не взволновало. Будто вовсе не имело отношения к нему.

Хотя уж он-то превосходно знал, что преодолевать границу между сопряженными мирами, да еще, как иногда бывает, разноустремленными, можно исключительно на низкой скорости, иначе плотность расходящихся масс в критической точке пересечения превысит норму, последует взрыв и перемычка между мирами исчезнет.

Ну и ладно…

Только так отныне.

Только так.

В мир, который он оставил позади, он все равно бы никогда не смог вернуться.

Ибо там осталась жить отвергшая его *мечта*.

Господи, сколько он колесил по свету, кидаясь из одного параллельного мира в другой, одержимый неистовой страстью, невыразимой для него в словах!

Но только там, в *том* мире, он вдруг понял, что это такое.

Он искал свою любовь.

И он нашел ее! Он был с ней рядом… Но — упустил. Кто виноват?

Он встретил наконец-то божество, которое, увы, не верило его признаниям, твердило: все наоборот.

Да почему?!

Ответа он не находил.

У каждого свой взгляд на мир… И на себя… Но разве ж это — аргумент?

Одно он точно понимал: человек, прозревший божественность, а потому и самоценность всех вещей, *может* ничем не жертвовать.

При таком состоянии сознания ком грязи или камень годится для жертвоприношения.

Но лишь в единственной сфере даже возможность жертвы убивает божество. Это — любовь.

И он разрушил мост между мирами, чтоб божество осталось жить вечно.

На исходе седьмого дня к дому у дороги подъехал чей-то автомобиль.

Никто не вышел навстречу, и на долгий стук дверь никто не открыл…

ЮРИЙ МАТЮШКО

Своя правда

Березка

Что ж ты, березка, так быстро растешь?
Что ж тебе небо достать невтерпеж?
Что тебя тянет всегда поутру
Стряхивать с листьев росу на ветру?

Ветром расчесана каждая плеть,
Нравится ветру в листве шелестеть.
Сам я не против, березке под стать,
Так подрастать, чтобы звезды достать.

Красное солнце на запад уйдет,
Длинная тень по земле поползет.
Станет понятно, о чем неспроста
Тихо тебе повествует листва.

Вечером трудно окно затворить —
Хочет березка со мной говорить,
И, закрывая собою луну,
Тянутся ветви к окну моему.

* * *

Из нереальной полосы,
В которой видится все снизу,
Мне вдруг показывались сны,
Возникшие в сюрреализме,

Где восприятия изъян
Переживается так остро,
Что все окрестные друзья
Могли бы выглядеть как монстры...

Я жил во сне, порой ни в чем
Не достигая идеала.
И клокотала жизнь ключом.
Я жил, я был, и все бывало...

Бывала издали видна
Птиц отлетающая стая,
И наступала тишина
Такая серая, густая..

* * *

Ясно виден мне
В этот лунный миг
В полной тишине
Отраженный мир,
Где, речную глубь
Не пробив насквозь,
Облака плывут
Парами и врозь.

Ясно видно мне
В полуночный час,
Что пора луне
Искупаться всласть,
В глубину нырнуть,
Спрятаться в песок,
Чтоб поток луну
Вдаль не уволок.

Хочется еще
Много-много лет
Видеть, как течет
Отраженный свет
Там, где в непростом
Зеркале воды
Искры над костром
Обгоняют дым.

* * *

В болоте думается лучше.
И с жизнью есть взаимосвязь.
Шагать приходится по сучьям,
Набросанным когда-то в грязь.

Идешь предельно осторожно,
Не паникуя, не спеша.
Здесь передышка невозможна,
И важен каждый новый шаг.

Здесь убеждаешься воочью,
Что остановки не дано:
Идешь — иди… Иначе почва
Совсем исчезнет из-под ног.

Своя правда

Здесь пахнет, чем попахивало встарь:
Котами, щами, бедным человеком…
Висит на стенке тощий календарь,
К нему не прикасались четверть века.
Здесь раньше жили, продолжая род, —
А ныне — старый хлам и горы пыли…
Приедут дети, вспашут огород,
Но лягут спать в своем автомобиле…

А матушке-старушке все равно,
Что думают о ней сынок с невесткой.
Живет давно, как Богом ей дано.
Живет одна. И не покинет места…
А город что? По слухам, там лишь блуд.
А тут земля, три курицы, скотинка…
Подумаешь, скопилась пыль в углу!
Подумаешь, непарные ботинки!..

В Москве 50-х

Невдомек приезжим издалека,
Что бывает доброй или злою
Очередь за жирною селедкой
Или за дешевой камбалою.

Чемоданы, сумки и коробки…
Суматоха, восхищенье взгляда…
Много чада, шума… мало проку…
Вас толкают? Видимо, так надо…

Справа слухи носятся, как пули,
Их бабули, как носки, связали:
— Ночью брали этих… но вернули,
А соседей взяли на вокзале…

Слева вразнобой гудят клаксоны,
Слышен посвист милиционеров.
Над толпой витает дух казенный,
Притупляя языки и нервы.

Все вокруг течет без перерыва,
И неважно — сухо или морось.
Неспроста приезжие пугливы:
Здесь, в Москве, совсем иная скорость.

Вот и я спешу к ларьку скорее.
Пачка «Тройки» — шик, но дорогая…
И карманы, полные копеек,
По ногам стучат, когда шагаю.

Продадут… О возрасте не спросят
У провинциального тетери…
Но зато я выгляжу как взрослый
И уверен, что в себе уверен.

* * *

Снова черная, как деготь,
Как блестящий скользкий змей,
Извивается дорога
Среди рапсовых полей.

Вновь накапливает силу
Колдовская красота,
Что тебя остановила
Без причины, просто так.

Все окрестности контрастны.
Ничего, что дождик льет.
В непогоду поле рапса
Очень солнечно цветет.

Под дождем пасутся кони,
В тучах видится просвет,
И никто из-под ладони
Не посмотрит тебе вслед.

Колыбельный стих

Костер не разгорается. Бог с ним —
Уже не совладать с ночною ленью.
Укройся потеплее и усни,
Уткнувшись головой в мои колени.

Тщедушный дым морочит мысли нам,
Что вспыхнуть огоньку еще не поздно.
Усни, и если скроется луна —
Пускай твой сон осветят наши звезды.

К перевалу

Под поклажей пыхтя и сопя,
Ухожу по тропе среди скал,
Незаметно вбирая в себя
Энергетику скальных зеркал.

Увлекаемый тягою гор,
Забываю, что путь очень крут.
Именяются даль и простор,
Изменяя теченье минут.

А еще — с каждым шагом наверх
Облака опускаются вниз.
А еще там лежит свежий снег,
Светит брызгами солнечных искр.

Облака уже мимо бегут.
Влажный ветер касается щек.
Выбиваю ступени в снегу.
Шаг еще,
шаг еще,
шаг еще…

* * *

Снова ждут меня и дом, и сад,
Скрытые от глаз грядой пологой.
Снова привораживает взгляд
Тополей цепочка вдоль дороги.

Слышу, как над зеленью полей,
Дождиками вымытой и чистой,
В мельтешащих кронах тополей
Дребезжат серебряные листья.

Впереди — работы круговерть.
Сделать все дела довольно сложно,
Если хоть чуть-чуть не посидеть
На тяжелом камне придорожном.

Хочется смотреть в тиши минут
В небо над зелеными полями,
Где легко плывут, плывут, плывут
Стаи облаков над тополями.

ГЕННАДИЙ КОТЛЯРОВ

Взамен рыжий кот

Рассказ

I

Одно время я плохо воспринимал свое имя Ник. Вроде как не славянское, но отец так решил, и мать сдалась, перестала упорствовать. С фамилией Мерин было похуже, нечто от кастрированной лошади. И все бы ничего, если бы не Венька Злобин. Когда я ему отказал в деньжатах на опохмел, он крикнул: «Ну, Сивый Мерин, в жисть не прощу твоего жлобства!» Пенсию у Веньки жена, крупная и рослая, отнимала дочиста. Он побаивался ее крутого нрава и рад был, если под настроение она бросала ему в лицо рубли россыпью на покупку плодово-ягодного винца.

И вот только я вышел из подъезда, чтобы встретить свою Лерочку, как Венька, маленький тщедушный человечек, уже рядом.

— Слышь, Ник, выручай. Христом заклинаю. Скинь на бутылек.

Я колеблюсь, смотрю в его мутные глаза, и жалость вдруг оборачивается злостью.

— А это ты видел? — и показал фигу.

— Ты хуже моей бабы, — завопил он. — Она и то выдала пару «рваных».

— Есть жена или женщина, но не баба.

— Ладно, жена, — согласился он. — Ну выдай самую малость.

— Выдаю, — и поднес увесистый кулак.

Венька отскочил, боясь, что я ему задвину, и взвизгнул от страха:

— Мерин ты сивый, скупердяй несусветный. Бабу свою на тот свет отправил. Заявлю куда надо. Посажу. Ишь, фраером заделался. Походишь ты у меня…

И не успел он договорить, как я все же сгреб его. Ухватил за борта пиджака и тряхнул так, что челюсть у него клацнула. Испугавшись, что посыплются гнилые зубы, я опустил руки.

— Живи, босота, — сказал я, — и не распускай сплетни. Жена моя умерла, причем внезапно, от тяжелого инсульта.

— Усек, — прошепелявил Венька.

Вздохнув, я неспешно зашагал к трамвайной остановке, где меня наверняка поджидала Лера, мой доктор по диабету. Она всегда выражала недовольство, если припаздывал. Но ускорить шаг я не мог, потому что диабет помалу подтачивал ноги. Диабет прочно овладел моим организмом, а Лера, когда я захаживал к ней на прием, всегда тактично поругивала меня, что плохо соблюдаю ее рекомендации. Понятно, что она по делу меня отчитывала, и я, в который раз, заверял ее, что исправлюсь. Но заверения нарушались, потому что я, как все нормальные люди, иногда пропускал несколько рюмок водки, особенно если душа бунтовала.

— Эй, Сивый Мерин, — раздается за спиной наглый голос Веньки Злобина, — шевели копытами пошустрей.

Я не обернулся, будто не слышал, хотя двинуть ему по зубам очень хотелось. И тут он меня обогнал и повертел за спиной красной десяткой. Скоро он поднаберется, но идти будет, как трезвенник, чтобы «менты» не заподозрили. Он щупловат телом, и ноги легко его перемещают даже при крепком подпитии. Лишь бы голова не теряла ориентиров.

Пока я так рассуждал, у меня пропало желание трогать его, пусть живет в хмельной забаве. По сути, сивый мерин — это добродушный послушный конь. Потянет любую поклажу в отличие от строптивого жеребца. А вот я — ни то ни другое, и несравненная Лера Алексеевна это четко поняла, когда окончательно убедилась, что я не гожусь на что-либо существенное. С каждой нашей встречей у нее усиливалось разочарование. Но ее успокаивало то, что так называемый «гостевой брак» ни к чему не обязывает. Разве что облегчает душу, когда одиночество становится нестерпимым. Иной раз она решительно отказывала во встрече, как я ни уговаривал. Настойчиво твердила, чтобы я привыкал обходиться без нее, если моя жизнь еще нужна мне, как бы я ни был слаб и безволен. Постель перестилай сам, не запускай до затхлости, все тряпки прокручивай в стиралке, и вообще, не живи как в хлеву.

А вот и она мне навстречу. Ее стройные ноги, кажется, не касались земли, будто мелькали в воздухе. Глянув ей в лицо, я ощутил нехорошую дрожь в груди. Значит, губки свои не подставит, как обычно делала, если опаздывала сама. Для нее важно, чтобы я был послушен, не возникал и был покорен ее воле.

В этот раз мне не придется склонять голову для поцелуя. Я вижу на ее лице раздражение, и кажется мне, что она стала еще тоньше и гибче.

— Я уже хотела уходить, Ник. Что происходит? Проспал или забыл?

— Нет, задержал один тип, — признался я. — Венька Злобин канючил «чирик» на винцо.

— И ты отжалел.

— Нет, я показал ему фигу.

— Похвально, — вздохнула Лера и взяла меня под руку. — Там же у вас одна пьянь. И бабы распились.

— Лер, женщины, а не бабы.

— Не болтай! Бабьё зачуханное. Я их ненавижу больше, чем мужиков.

— Лер, это же болезнь, — возразил я. — Женщины более хрупки, им тяжелее совладать с Бахусом.

— Не мели чушь. Пьянство — это порок души. Женский особенно страшен.

— И что ты за кремень?

— Какая есть.

Лера напряглась и стала тянуть меня, чтобы ускорить шаг. Но ноги мои тяжелы, и благо, что обхожусь еще без палочки. Я сущий идиот, потому что привык к ней. Знаю, она подведет меня к тому, что расставание неизбежно. Уже ощутим ее напор и категоричность. Пока я считаю это капризом.

Вдруг я учуял за нами шумное сопение и понял, что это Венька. Уже, наверно, принял хорошую дозу, и быть того не может, чтобы не взял про запас. Обычно он врастяжку допивал бутылек у подъезда, затягиваясь смертельной «Примой».

— Притормози, Сивый Мерин, — сипло сказал он. — Дай взглянуть на твою кралю.

Лера не удержалась и прыснула, услышав, как назвал меня Венька. Но тут же, поменявшись в лице, с разворота и точно, она пару раз приложила его сумкой по лицу. Он упал навзничь и, дрыгая ногами, завопил:

— Убили, гады, убили!

— Жив будешь, черт не возьмет, — жестко сказала Лера. — Никогда не унижай людей. Уяснил или еще?..

— Не надо, красотуля. Клянусь, зарок.

— Так-то лучше.

— Ну, ты выдала, Лер, — удивился я, — чтоб доктор — и с ходу в морду.

— Я капитан медслужбы, владею приемами, побывала в Чернобыле.

— Вот какая ты бойкая.

— А ты, значит, сивый мерин, — хохотнула она и прижала голову к моей груди.

Спустя пару минут, чуть не бегом, нас обогнал Венька. В руке он нес початую бутылку вина. Затем остановился, запрокинул голову и стал потягивать содержимое, смакуя и причмокивая. Когда бутылка опустела, он закурил, сощурившись, глянул в нашу сторону и на выдохе рявкнул:

— Сивый, эта бабеха тебя пришибет. Вот те крест.

— Ну, гаденыш, прихлопну одной левой.

Лере моя угроза понравилась, и она повисла на моей шее так, что меня зашатало. Она не брала в голову, сколько мне годков. Физиономия моложавая, без морщин, телосложением прочен, и стало быть, нечего прикидываться. Как-то раньше она призналась, что слабыми мужиками не интересуется при всей их положительности. Я же не скрывал, когда в груди поджимало и мне надо было присесть, говорил, что, по сути, я живой труп. Это ее откровенно злило, и вместо сочувствия она дерзко ухмылялась, не веря, что мне плохо. Конечно, ей хотелось слышать, что со мной она как за каменной стеной. Но в реальности я мужик неперспективный ни по годам, ни по здоровью. Мой внешний вид ее обманул, а диабет, в какой форме он у меня, не так уж и страшен. Разумеется, следует вести здоровый образ жизни, исключить вредные привычки, если они с годами приобрелись. С такими привычками, как алкоголь и курение, она мужчину не воспринимала. И потому, когда принимала ванну, я от волнения выпивал пару глотков водки и жадно выкуривал сигарету на балконе. Затем из пузырька брал в рот чуток корвалола, и Лера, учуяв запах, воспринимала это как необходимость. Ведь мы непременно предадимся ласкам, моя застойная кровь взбодрится, и ощущение молодости растечется по телу, придавая ему свежесть и новизну. Лицо у Леры живо розовело, она стыдливо прикрывала его ладонями и только прерывистое дыхание выдавало, что она возбудилась. Славненько проводилось время, никакой душевной стылости, но время брало свое, и вся наша порывистость куда-то помалу исчезала. Теперь она не отзывалась на ласки и нежно меня останавливала, приговаривая: «Ой, как я хочу спать!»

II

Наконец мы преодолели четвертый этаж, где расположена моя двухкомнатка, которая, по моему чутью, ей порядком надоела. Не будь ее рядом, я два раза, а то и три, переводил бы дух. Но она об отдыхе и не помышляла, я плелся за ней, сдерживая дыхание. Отмыкая дверь, я сорвался и засопел. Лера улыбнулась, хлопнула по моему животу, дав понять, что еще малость, и я превращусь в колобок.

Еще до знакомства с ней я пробовал голодать по совету сестры, но от этой затеи у меня кружилась голова, случались обмороки. Плюнул я на голод и решил начать с того, что хлебную пайку урезал раз в пять. Я не столько ел эту малую пайку, сколько отодвигал ее носом. Спустя месяц, может, чуть

больше, желание уминать хлеб у меня начисто отпало. Я мог есть жидкий супчик без всякого хлеба и в этом находил не меньшее удовольствие. Через полгода я встал на весы, будучи на приеме у своей Лерочки. Я возрадовался, потому что сбросил семь килограммов, но Лера Алексеевна невозмутимо ответила, что я все еще колобок. Меньше, но чаще надо подносить ложку ко рту, прочитал я это изречение по ее губам.

Чую почти уверенно, что мой путь к одиночеству скоро возобновится, найдется удобный предлог, после которого Лера обрубит все концы. Вполне допускаю, что кто-то увлечется ею и она ответит взаимностью.

Но может, и правда, что лучше жить одному, чем в узде с любимой. А пока у нас праздник, мы вдвоем, и нам никто не мешает. Лера взялась на кухне выкладывать из сумки, которой огрела Веньку, помятые помидоры, зелень и, повертев в руках, выставила красивую баночку. Это был чай из Лондона. Его аромат приятно кружит голову. Только вот беда, запах мой нос почти не почувствует.

— Вот черт, помидоры измялись и потекли, — сказала она резко. — И все из-за твоего балбеса.

— Ладно, не жалей. Зато проучила его.

— Я, как рысь, бросаюсь, если меня оскорбляет мужик.

— За мной такого не водится, — сказал я.

— Бог знает, что ты за тип.

— Даже падшую не посмел бы тронуть.

— Ишь, какой интеллигент. Пойду в ванную мыть сумку.

— Давай я.

— У тебя руки-крюки. Совсем не интеллигентные.

— Но ведь нежные.

— Иногда.

Пока она возилась с сумкой, я взялся за помидоры. Здорово им досталось, только полуспелые уцелели. Выбрал самые мятые, обмыл теплой водой, мелко порезал, добавил укропчика, соли и пару ложек оливкового масла. И только начал чистить картошку, как за моей спиной буркнула Лера:

— Кто тебя просил?

Я вспомнил, что инициативу нельзя проявлять, не спросив разрешения. Я стал замечать, какой она может быть напористой, если делаю что-нибудь без ее одобрения. Даже мои высказывания подвергаются безжалостной разборке, и как результат, мне внушается, что я был не прав. Не могу взять в толк, почему она стала меняться.

Бывало, в зимнюю пору, когда день быстро угасал и крепчал мороз, она приходила ко мне затемно, припорошенная мелкой поземкой, и улыбалась, едва переступив порог. Я обнимал ее, прижимал к груди и долго целовал холодные щеки. Затем на кухне мы пили горячий чай из Лондона, и как ни пытался я узнать, откуда он у нее, в ответ ловил лишь лукавый прищур зеленоватых глаз.

Припомнив тот зимний вечер, я вышел в прихожую и сразу же услышал ее повелительный голос:

— Вернись, Ник! Какой же ты неряха. У тебя почти как в свинарнике. Глянь, какая раковина, — провела она пальцем. — Когда ты ее чистил? А плита, какая плита! Она как отхожее место. А пол, он же весь в разводах, в пятнах.

— Это потому, что ты долго не приходила.

— Ты обнаглел, Ник. У меня же огород. Ты без понятия, сколько времени он отнимает.

— Но в то лето ты все равно приходила, — тихо сказал я. — Помню, наливал ванну, ты расслаблялась в ней, а после я натирал твою спину кремом.

— В угоду тебе, Ник, я запустила огород, — сбавив тон, сказала она. — Я осталась почти без овощей. Но это лето для огорода. На рынке не накупишься. У меня четыре рта, а ты один.

— Нет, милая Лера. Ты утратила ко мне интерес, — мягко возразил я, — огород — это прикрытие.

— Ну, давай еще, сивый мерин.

— Ладно, нет у меня права твою жизнь проверять.

— Ни муж, ни жена не имеют таких прав, если у них культура не ниже плинтуса.

Я молча согласился с ней, кивнул головой. Она подала знак рукой, чтобы я подсаживался к столу. Салатик, над которым она упорно колдовала, получился весьма аппетитным. То, что приготовил я, она упрятала в холодильник. Мол, будешь есть его, когда я покину твою запущенную кухню. В голове у меня потускнело, потому что на ночь она не останется и убирать кухню принципиально не станет. Вот как резко она изменилась, попробуй разберись, что подвигло ее вести себя так дерзко.

Небрежно отодвинув пустую тарелку, Лера уставилась в окно, за которым раскачивались верхушки белоствольных берез. Наблюдая за ними, она вдруг заговорила о своей работе. В кабинет к ней приходят разные люди: те, что давно у нее наблюдаются, и новички из районов. Ей, Лере, более терпимо с женщинами средних лет. Они понятливы, им не надо повторять одно и то же, они не придирчивы, послушны и готовы выполнять все наставления. В общем, с такой категорией женщин ей даже комфортно. К концу рабочего дня ее охватывает радость оттого, что так легко пролетело время. Со старушками бывает сложнее: они забывчивы, а порой просто упертые. Подавай им доктор такие пояснения, чтобы у них все укладывалось в головах, иначе отдельные ретивые бабки, похоже, базарного происхождения, запросто могут податься к начальству. Вот и толкует Лера, казалось бы, доступные понятия по десятку раз, объясняет, что кушать, а что и близко ко рту подносить нельзя. Кое-кто из них, не успев закрыть дверь, снова входят и начинают все сызнова: а вот это, а вот то, и по скольку раз в день, и в каком количестве. Словом, бывает так, что Лере кажется, будто она помалу сходит с ума. А ведь разрядиться ей нельзя, то есть взять и выставить за дверь, надо терпеть и никаких грозных перемен в облике не допускать. Иначе самой можно вылететь за дверь, и ничегошеньки тому высшему начальству не докажешь.

С мужиками разного пошиба тоже хватает всякого. Как, мол, можно питаться: это же уму непостижимо — выходить из-за стола голодным. Что-то этот доктор с мудреным названием эндокринолог не то толкует, уж не садистские ли наклонности одолели по отношению к нам, мужикам. Разумеется, такой треп Лера пресекала решительно, говорила, что через недельку-другую организм привыкнет и перестроится на новый режим питания. Вес помалу начнет убывать, глюкоза в крови уменьшится, и жизнь обретет заметное облегчение. И еще один аргумент Лера запускала в ход и для мужиков, и для туповатых: из десяти человек, больных диабетом, троим отнимают конечности, из-за несоблюдения режима питания. А что такое мужик без ног, понятно каждому. Многих такое откровение сражало наповал, на глазах менялись их лица. Но на такой нервной частоте ей долго не продержаться, и чтобы поберечь себя, Лере в первую очередь надо научиться любить себя. Пока же она чувствует, что вся извелась, даже ночного сна ей уже не хватает. Надо, пока не поздно, менять образ жизни.

В лице ее читалось одно недовольство, и глядя мне в глаза, слегка сощурившись, она произнесла:

— Вот так-то, Ник Иванович. Немало нервных клеток потратила и на тебя. Вспомни, как поначалу ты упирался, начисто отметая то, в чем я тебя убеждала.

— Милая Лера Алексеевна, — нежно сказал я. — Только сейчас я понял, что ты фактически совмещаешь две профессии. Ты и психолог, и эндокринолог. И прости, что я вел себя, как те «умные и тупые».

— Я тебе ничего не сказала о «подводных камнях». О том, сколько унижений и угроз терпим мы, рядовые врачи. Надеюсь, в общих чертах тебе ясно.

— Более чем. Хочешь, я тебе расскажу о вещах прозаических, где все как на ладони?

— Давай, развей меня чуток.

— Нас, студентов, послали на картошку. Троих поселили в просторной избе у одной красивой хозяйки. Из ее слов мы узнали, что муж работает в лесхозе и раз в неделю приезжает в баньку. В день нашего заселения объявился и сам хозяин. Рослый, крупный, он нехорошо зыркнул, снял с крюка у двери плетеный из кожи кнут и вышел. Вскоре послышались хлесткие удары во дворе. Мы бросились к окну и диву дались. Одной рукой хозяин держал хозяйку за волосы, другой лупил ее кнутом. Она молчала, крутилась так и сяк, чтобы удары кнута попадали по мягкому месту. Хорошо, что она была в длинном сарафане, и потому, как нам казалось, удары малость гасились. Хозяин был в ярости, с пеной на губах, и мы не решились вмешаться.

Наконец он устал, отбросил кнут и, грозно топая сапожищами, вошел в избу, из жбана чего-то попил, отер рот и злыми глазами уставился на нас. Взгляд был набыченный, и мои напарники склонили головы, будто тоже в чем-то повинны. Я не выдержал, встал посреди горницы и как можно смелее сказал:

— А бить жену просто гадко, даже если что-то не так.

— Слушай и запоминай, — ответил он. — Бабы как одна нехристи, отродье силы нечистой.

И тут, будто ничего и не произошло, вошла хозяйка, с порога робко молвила:

— Демьян, поди в баню, дух хороший.

— Холоденки наносила, веник запарила?

— Полон бачок, и веник в тазике готов.

— Вот так-то, юнцы, — ударил Демьян кулаком по столу. — В узде держите своих баб. Иначе рога у вас вырастут, как у чертей.

В общем, мы поняли, что надо бежать из этой избы. Упросили бригадира, чтобы подыскал нам другое жилье. Уразумев, в чем дело, бригадир сказал:

— Да с нее как с гуся вода. К его приезду она надевает ватную поддевку до колен. А битье ему прощает, потому что помутилось у него в голове. Брат его петлю накинул, когда бабу свою поймал с трактористом во ржи. Кто-то настучал. Вот он и того, порешил себя. Любил он ее. Завистники намекали, что не к добру такая любовь.

Спустя год, в мокрую осень, нас опять привезли в ту же деревню. Там мы и узнали, что Демьяна схоронили не так давно. На лесоповале придавило насмерть. Деревенские старухи твердили, что Господь по справедливости ему воздал. Жена его, когда опустили гроб, не стесняясь бросила на крышку гроба ту поддевку, что спасала ее от кнута.

— Зачем она столько терпела? — возмутилась Лера.

— Раз бьет, значит любит, — вырвалось у меня. И я понял, что сказал чистейшую глупость. К этой поговорке я всегда относился неприязненно. Всегда считал, что к женщине следует относиться бережно. Кем бы она ни была: наркоманка, алкоголичка или даже представительница древнейшей профессии.

III

— На твоей физиономии все как в зеркале, — сказала она. — Вы наслаждались, глядя, как тот мужлан истязал жену. Вы обязаны были защитить ее! Вы должны были самого его тем кнутом отходить. Трое молодых мужиков! Нет, вы созерцали зрелище, разинув рты.

По сути она была права. Мы должны были защитить хозяйку. Но, увы, у нас не хватило смелости, мы струсили. Уж слишком яростен и могуч показался нам Демьян. Из-за трусости мы упросили бригадира перевести нас к другой хозяйке. Бригадир тогда шепнул нам: «Хорошо, что не вступились, а то мог и пострелять, придурку все нипочем».

И тут мне припомнился печальный эпизод из ее жизни, который она как-то поведала мне в канун Рождества. При свечах.

Случилось так, что она застала в квартире соседку и мужа своего в довольно интимном поцелуе. Соседка кинулась к Лере и, ухватив ее за волосы, сильно ударила головой о стену. Видя, что муж не вмешивается, соседка повторила свой «прием». Лера потеряла сознание, а муж вызвал «скорую помощь».

Выйдя из больницы, Лера ушла в родительский дом навсегда. Но дом родителей стоял рядом, окна в окна с квартиркой бывшего мужа. От такого соседства Леру лихорадило, бывший муж всячески досаждал ей: мол, вот я здесь, и ты никуда от меня не денешься. Она решила продать родительский дом с огородом и садом, а взамен купить отдельное жилье для себя и для семьи сына. Только так она окончательно избавится от человека, бесконечно ей отвратительного. Она устала, и сердце просит покоя. Призналась она и в том, что со мной покой ей будет только сниться. Встречи, которые случались у нас все реже, несомненно были ей в тягость. Она подталкивала меня к мысли, что ее отношения с мужчинами не могут быть продолжительными. Такой надлом в ней произошел после второго неудачного брака.

— Значит, уходишь, — сказал я и поднялся из-за стола.

Я вошел в комнату, где до конца своих дней обитала моя бывшая жена, с которой в разводе я прожил тридцать лет без намерения ее оставить.

Раскрыв окно, я жадно закурил, глядя вниз, на куст черемухи. И в это время из-за куста показался мой рыжий котяра. Задрав голову, он неспешно уселся напротив окна и стал терпеливо ждать, когда я на тонкой веревке спущу ему что-нибудь вкусное. Однажды Лера опустила пайку тминной колбаски, а он в прыжке ухватил ее так крепко, что и веревка змейкой улетела вниз. Лера хохотала, хлопая в ладоши, ее радости не было предела.

Зато сейчас ей не до смеха и не до меня.

Я вышел в прихожую в тот момент, когда она произвела последний мазок на губах.

— А там внизу наш рыжий котяра, — сказал я.

— Вот и забавляйся с ним, — отозвалась она. — Не обижайся, Ник, но я не могу жить твоей жизнью.

— Тогда с Богом.

Закрывая дверь, я помахал ей рукой, как делал всегда, когда она спускалась по лестнице. В этот раз она сломя голову слетала по ступенькам. Я подошел

к окну, ожидая ее появления на улице. Выйдя из подъезда, она зашагала так, будто куда-то опаздывала, держа возле уха мобильник. Что ж, пусть катится. У меня есть рыжий кот, который, задрав мордаху, ждет угощения. Он привык ко мне и, наверно, прикидывает, не лучше ли перебраться ко мне навсегда. И чтобы долго не откладывать, я решил спуститься к нему с колбасой в руке. Говорят, что хорошие коты лечат многие болезни, в том числе и диабет.

И тут звонок в дверь. В голове мелькнуло, что вернулась Лера по причине своей забывчивости. Возле зеркала ничего из ее вещиц не было, а звонок повторился. Распахнул дверь — передо мной стоит Венька и криво улыбается.

— Слышь, — промямлил он, — а чего-то твоя зашустрила?

— Утюг не выключила, — ответил я быстро. — На-ка шматок колбасы, примани кота и принеси его мне. Он там, возле черемухи.

— Того, рыжего?

— Да, его. Вот денежка ровно на бутылку. Потом метнешься, как передашь кота.

— А мне «копытные»?

— Не обижу!

— Годится, считай, котяра уже тут.

Он взял колбасу, поднес к носу и, гремя солдатскими кирзачами, подался вниз. Вернулся скоро, держа в руках кота с колбасой в зубах. Я рассмеялся тому, что рыжий кот не выпустил колбасу. Бережно приняв его от Веньки, я ощутил, насколько он добр и податлив. Опустив рыжего на пол, я удивился, что он как ни в чем не бывало спокойно принялся за колбасу. Ел жадно, точно боясь, что отберут, а когда колбаса оказалась в желудке, поднял на меня зеленоватые глаза. На кухне он терся о мои ноги, пока я не выдал ему еще пайку. Меня поразило, что рыжий вел себя уверенно, будто жил в моей двухкомнатке давно и ему все здесь было знакомо.

Венька смотался за каких-нибудь десять минут и вернулся, сияя от счастья.

— Ник, дай стакан, — сказал он торопливо. — Я отолью по-божески.

— Давай бутылку.

— Ну, сивый, — вспыхнул Венька. — Ни в жисть больше не пойду.

— Спорим, — протянул я ему руку.

Венька неприязненно скривился, а я рванул бутылку из его рук. На кухне я отлил половину и ровно столько вернул ему с бутылкой. Он вытаращил глаза, не веря, что ему так перепало.

— Извини, — жалобно вякнул он. — А ты добряк, оказывается.

— Назовешь еще раз сивым...

— Забудь, Ник, я бабу твою видел с одним фартовым мужиком, — выдохнул он. — В машину садились. Он за руль, она рядом.

— Не бабу, а женщину, — напомнил ему я, ошеломленный такой новостью. — И запомни, женщина всегда ищет, с кем ей лучше. А я уже — зануда старый. А все пыжусь...

— Дак она ж вроде как с тобой.

— Тебе показалось. Все, друг Веня, вперед и на мины.

Он пожал худыми плечами и тихо, будто я понес тяжелую утрату, прикрыл за собой дверь. Я оцепенел от такой новости, а рыжий нежно терся о мои ноги, выражая сочувствие. Неужели коты улавливают смысл речи человеческой? Впрочем, жизнь переменчива, и мне взамен женщины рыжий кот.

СВЕТЛАНА ЕВСЕЕВА

Сила слова — молитвенный Дух

Запах горячего хлеба

Мерзнет на улице город.
Но,
    где труды горячи,
Пахнет пекарнею холод,
Хлебом, созревшим в печи.

Тут не игра вам в бирюльки!
Наспех нельзя преуспеть.
Тщатся и сердце, и руки
Счастье ржаное испечь.

…В ночь превращается вечер.
В постную спальню пора?
Все, что печем не на ветер,
Надо допечь до утра.

В смысл каравая вникая,
Кое-чему научась,
Жизнь я свою выпекаю.
Жизнь —
        это завтра
                сейчас.

Многоречие

Живы древние реки в нас, в каждой судьбе:
Иордан и Евфрат, Ганг и Нил...
И славянское русло я знаю в себе,
Где на дне всё:
            песок, жемчуг, ил...
……………………………………..
Не мечтаю про кольца, про серьги!
От подарков мой нрав поотвык.
Я пишу, а славянские реки
Понимают славянский язык.

А давно ли, недавно ли…
В жизни моей
Было много чего кувырком!
Где не видела ночь моя звезд-фонарей,
Я плыла по волнам гематом.

И…
Не надо бодрить — чем попало! — мозги,
У соседей в долг денег просить,
И не надо любить винный свой магазин,
И за это себя не любить!

Полюбите меня, наши Реки!
Не поют без любви соловьи!
Я печаталась бы и в Америке!
Но…
— Английские там словари!

Надоест пустяковая книгопечать,
Свянет вся пустоцветная резвость.
Если жить у Реки, то Рекою дышать.
Здесь
Река эта —
наша Словесность.

Здесь дано к Совершенству и плыть, и грести…
В брод идти по жемчужному дну…
И на гребне волны в жизнь так выдохнуть Стих,
Как жизнь отдают за
Ро-дину.

Школа

Жизнь,
что ни день, то — Педагог,
Дарующий урок.
Уроков кладь, за годом год, —
Заплечный мой мешок.

Где Мастерство — не болтовня,
Нет лжеучителей.
Учило Творчество меня
Общиной всей своей.

Есть ржавчина и для элит,
Где в силе суета.
Я — ученица.
Эрудит —
Вес школьного креста.

…Нельзя моделям не блистать
На пиршествах смотрин.

Для летописцев Благодать
Монастыри квартир.

Была родня.
Ищу родню…
Кто выжил, —
Исполин,
Несущий завтрашнему дню
Вес пройденых былин.

Учусь не падать в боль, пока
Не свалит нечто с ног,
Была бы и нужна клюка,
— Тут кто-то в том помог!

Не две души, один во мне
Дух двух моих столиц.
…Все тяжелее на спине
Кладь пройденых страниц.

В музей заплечный камень сдам
И в Небо постучусь.
Я потому еще не там,
Что здесь еще учусь.

Свечи

Тело увядает,
Зреет в силу Дух.
Дух не забывает
Братьев и подруг.

Я дружила с вами,
Понимала вас,
У меня стихами
С вами телесвязь.

Где совсем далече, —
Свидеться нельзя.
Перед фото свечи
Ставит жизнь моя.

…Труд — живые буквы,
Отдых — буква ять.
В старую обувку
Буду крем втирать.

Мы — не староверы,
Мы — не кержаки,
Стихоатмосферы
Мы — подвижники!

Веря не химерам,
А Святым дарам,
Вносят Стиховеры
Свет Свечей во Храм.

Светом Новой эры,
Хором всех свечей
Молитесь, Стиховеры,
И —
        …о Свече моей!

Мой дух — славянский метеор

Я, якобы, живу одна.
Нет-нет, — не одиноко!
В Ташкенте русской рождена,
Где русских было много.

Слетел мой дух в сосновый бор
В суть Пущи белорусской.
Мой дух — славянский метеор,
Ни в чем не тот — тунгусский.

А в Мире — Кризис.
                                        Тяжело
Всем языкам-наречьям.
Москве снегами намело
Беженцев на плечи.

В нас дышит святость жития,
Труд возлюбивших предков.
— Дышу. Не рукава спустя,
Не кое-как, а
                        крепко.

Терпенью матушка Зима
Меня учила строго.
Таких, выносливых весьма,
В природе нашей много.

Похмельных маслениц блины
В былом отмельтешили.
Снегурочка былой Страны
Здесь бабы Снежной шире.

Храню июли в декабрях,
В печати и в тетрадках,
Храню в стихах, как в янтарях,
Чувств летних отпечатки.

Мне сорок раз под Новый год
Загадывать желанье,
Мне сорок лет длить переход
В Успех от Ожиданья!

Несу я Творчество и Быт
На коромысле Мысли,
Евразия моей судьбы
От меня зависит.

Меня мой к Жизни интерес
Ведет к моим итогам.
И верю
  В Небо, в Поле, в Лес…
Жаль! —
            Лесорубов много.

Атлантида

Атлантида в Галактике нашей —
Это наша планета Земля.
Неудач затянувшийся кашель
Я лечила таблетками зря.

Я в период живу переходный,
Где все сразу наскоком не взять,
Где пора с наших чувств благородных
От цинизма наручники снять.

Никакая я не иностранка!
Прозу желтую вижу костром,
Где Поэзия, наша славянка, —
Жанна д’Арк во французском былом.

Не сгорела бы тут вся Евразия!
…Знаю, где есть и доблесть, и честь.
Дозвонюсь, той мобильною связью я,
До Атлантов, туда, в МЧС.

А звонить — выше?
                              Голоса хватит ли?
— Слово мысли звонит и не вслух.
Знают уши всевышней Галактики:
Сила Слова — молитвенный Дух.

Не потоплена я и не взорвана,
Не напугана грубостью ран,
Плагиатами не обескровлена,
Не застигнута спиртом в стакан!

…В Атлантиде, где надо, крепки ледники,
В Атлантиде бессилен Потоп.
В Атлантиде не хилы умом мужики,
Бабы — радость не для недотеп.

Кровяные тельца нашей речи —
Это гласные буквы Стиха.
Красный Крест не откажет. Подлечит,
Если стану здоровьем плоха.

…Долго жить — излечить все обиды.
Осознав силу Слова в себе,
Оберечь нашу в нас Атлантиду
Умоляю Атлантов Небес!

МАКСИМ ГОРЕЦКИЙ

Песни лирника

В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения классика белорусской литературы Максима Ивановича Горецкого. Его жизненный и творческий путь были тернистыми. Писатель подвергся репрессиям, безвременно погиб. Его произведения долго не печатались. В 1984—1986 годах было издано Собрание сочинений М. Горецкого в 4 томах, но в него по тогдашним социальным условиям многое не вошло: запечатлевая эпизоды прошлого и современного Беларуси, писатель затронул и некоторые «болезненные точки», о которых совсем еще недавно предпочитали не вспоминать. Поэтому и не вошли в Собрание сочинений рассказы «Песни лирника», «В 1920 году», «Фантазия», «Апостол» («Неудача»), «Всебелорусский съезд 1917-го года». Первый из них еще в 1913 году был напечатан в сборнике «Рунь» и был единственным произведением, которое более чем пятьдесят лет после первой публикации не переиздавалось. Упомянута в нем старая легенда о княжне Анне Соломерецкой, предавшей свою родину. Слова проклятия, сказанные вдогонку беженке старым священником, в представлении цензоров были крамольными. И повествование, в котором ставилась тема национальной независимости, неизбежно попадало в ряд непечатаемых. Рассказ «В 1920 году» восстанавливал некоторые обстоятельства времен гражданской войны. Персонажи этого произведения размышляют о судьбе Беларуси, о том, что им делать в том положении, когда «с одной стороны большевики, с другой поляки». Да уже одно то, что в произведении упоминается о «взятке большевику», о гимне «Адвеку мы спалі» даже самим текстологом, готовившим произведения Горецкого к изданию, не представляло никаких шансов на то, что они могут увидеть свет. Ведь то, что писатель по горячим следам событий стремился осмыслить вопросы национальных отношений в условиях территориального и идейного размежевания в Беларуси, обостренного войной, во внимание не принималось. Не вписывался этот рассказ в привычный ряд картин гражданской войны. Так же как не вписывался в традиционно положительный, непорочный облик коммуниста персонаж рассказа «Незадача» временный комиссар N-ской фронтовой чрезвычайной комиссии в деле борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и дезертирством товарищ Батрачонков или «горячий коммунист, старый поклонник белорусского движения товарищ Курапа» из рассказа «Апостол». Подмеченные Горецким черты того, что мы сейчас называем двойственностью сознания, двойной моралью, демагогическим догматизмом мышления, оказались ядовитой сатирой на пороки новой власти, истоки которых Горецкий увидел еще в самом начале двадцатых годов. Рассказ «Фантазия», впечатляющий пронзительно-тоскливым настроением, с которым Горецкий размышляет о судьбе Беларуси во времена ужасной войны, не разрешалось печатать по той причине, что среди деяте-

лей белорусского возрождения назывались Иван Луцкевич, Алесь Гарун, Сергей Полуян и некоторые другие писатели, причисленные к тем, кого уничижительно называли «бебурнацами» — белорусскими буржуазными националистами.

Все эти рассказы на белорусском языке были опубликованы в сборнике «Максім Гарэцкі. Творы», изданном в 1990 году как своеобразный дополнительный том-приложение к Собранию сочинений писателя. Предлагаем читателю эти рассказы, впервые представленные в переводах на русский язык, выполненных Идалией Игнатьевной Кононец.

Михаил КЕНЬКО

Фантазия

Земной шар, окутанный кровавым туманом и сгорая в нем, совершал свой вечный путь в системе Солнца.

Гуще всего туман осел на просторах Беларуси.

Под громкий грохот пушек, ружейную и пулеметную трескотню, в отблесках страшных пожарищ раздавались истошные крики и страшные стоны убиваемых, резаных, помирающих с голоду людей.

Кладбища и тюрьмы переполнились. Грех спеленал каждое сердце. Кровью и слезами заплыли глаза.

Тени умерших предков в смертельной тоске стояли над распятой страной и отворачивались от своих наполненных смрадной запекшейся кровью кладбищ.

С растерзанным вконец сердцем великого гуманиста вылез ночной порой из неведомой потомкам могилы удрученный Франциск Скорина и двинулся в темном небе в свой родной Полоцк.

Длинные, широкие полы мантии доктора лекарских и просветительских наук развевались по ветру, а яркий нимб вокруг печальной головы то разгорался, то меркнул.

Пролетая над слабо освещенным из-за боязни аэропланов Минском, тень доктора искала глазами тот госпиталь, где лежал при смерти от голодухи Янка Купала.

Увидев над темным домом сияющий ореол поэта, тень опустилась в тихой палате и стала над своим немощным другом.

— Как чувствуешь себя, брате мой? — без слов спросил доктор у стонавшего поэта.

Больной с трудом зашевелился и грустно посмотрел на гуманиста.

— Не муки тела страшны, — прочел Франциск Скорина в кротких голубых глазах, — душа болит.

— Лечу в Полоцк, хочу узнать, что теперь там, — сказал, немного помолчав, доктор.

— Всюду одно и то же… Что здесь, что в Вильно, что в Смоленске и повсюду в Отчизне милой… — прошелестел пересохшими от жажды губами поэт.

Доктор грустно склонил голову на грудь и долго стоял так.

— На сходку! — сказал в беспамятстве Купала и пробудил от черных дум поникшую тень.

— Кому и на какую? — эхом отозвалась тень. Помолчала и вымолвила с горечью: — Могучий клич твой раздается уже давно и повсюду, от края до края, по Беларуси… А много ли явилось? Народ наш за долгие века неволи оглох и перестал быть отзывчивым.

— Что делать? — снова, как в горячке, застонал Купала.

— Что делать? — переспросил доктор. — То, что ты делаешь. Но чтобы народ нашего края понял необходимость схода. И не собраться ли сначала только нам, пробуждавшим его к добру во все века и ежечасно?

— Хорошо… — прошептал поэт и утих.

Тень вылетела из палаты и направилась не в Полоцк, а повернула назад, к Ошмянщине.

Издалека увидела она на могиле в Жупранах огромный яркий ореол над нашим народным Баяном[1].

Франциск Скорина спустился у костела и нарочно задел полой мантии спящего пьяного легионера.

— Пся крев! Холера! Быдло белоруске! — закричал потревоженный доктором жандарм, а ему эхом отозвался из-под земли жутко-болезненный стон отца Возрождения.

— Не стони, брате мой дорогой! Быстрее бери ты свою «Дудку» и «Смык» и пойдем на сход скликать! — сказал ему вместо приветствия доктор.

Из могилы поднялась тень усатой фигуры.

— Осипла моя дудка, а у смычка нет скрипки… — жаловался Богушевич и добавил, подумав о своей музе:

Каб ты так іграла,
Каб немарасць брала!..

— Твоя «Дудка» гремит, мой брате, на весь край, а к «Смыку» создала «Скрипку» Тетка. Сейчас пойдем в Лидчину на то сельское кладбище, прежде всего на сход ее позовем, ибо эта заботливая приятельница лучше всех умеет скликать народ.

И две тени рядышком полетели в Лидчину.

Переполненная задором и энергией, хотя худенькая и бледная, уже сама летела к ним поэтесса и лирически, тихонько пела в ответ на свои мысли:

Можа, хто з дзеток скруце жалейку,
Унучку паломанай ліры.
І так заіграе, што ўсенька зямелька
Пачуе мой одгалас шчыры…

— Ах, браточки-голубочки, — заговорила она без промедления. — Надо так: один на восток, другой на запад, а я кое с кем кликну тех, кто на чужбине почивает, — и тотчас же умчалась.

Вскоре тени умерших и души живых стали стекаться на свой Парнас со всех сторон света.

Покашливая, брел из далекой Ялты густобровый Максим Богданович. Спешил, как всегда, из Галиции, из своей могилы в Закопане, запыхавшийся Иван Луцкевич. Выкарабкался из-под груды трупов братской могилы в Ковне Лявон Гмырак. Быстро шел в шубе и в зимней сибирской шапке из Кракова длинный Алесь Гарун. Важно и спокойно двигался из Минщины пан Винцук Дунин-Марцинкевич. Как в беспамятстве приближался из Киева прозрачно-бледный Сергей Полуян с синим шнурком на шее… Тяжко топал рассудительный коренастый Карусь Каганец. Шли туда и другие.

А земной шар, сгорая в кровавом тумане, летел и летел по своему вечному пути, как будто ничего и не происходило.

---

[1] Баян — имя древнерусского поэта, упоминаемого в «Слове о полку Игореве».

Песни лирника

В глухом лесу темно, как в могиле.

Беспокойно трепещут листочки на березах и тревожно шумят макушки сосен. Поздно уже, час после полуночи, а ночь эта — купальская…

Блеснул огонек возле черного пня. Что там? Не деньги ли заклятые на землю выходят, или, может, червячок купальский светится?

— У-а-а! У-а-а! У-а-а!.. — страшно заскулило что-то за болотом в чащобе. Ой, что там? Не русалка ли на ветвях березовых качается, не сова ли ушастая зайчика к себе выманивает, съесть хочет? Вот тяжело захлопала крыльями какая-то птица в сучьях и исчезла в пуще. Откуда она взялась в такую пору?

Ох, хорошо, — свежий ветерок подул. Колышется у дороги над колдобиной лозовый куст, а там, за ним, кто-то черный выступает… Пень обгорелый или иное что-то?

Поздно уже, час после полуночи, а дорожка, в темноте невидимая, все тянется и тянется по лесу. Далеко еще поле Залесянское, и страшно тут одному.

Коренья на этой дороге обнажились, нельзя быстро бежать. Темно вокруг, и ни одной живой души.

— Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! — шепчет Янка, вглядываясь во тьму лесную; не хочется ему думать о нечистой силе полуночной, осторожно нащупывает он палкой дорогу перед собой, ступает неслышно, но старается идти как можно быстрей. Пряди волос на лбу мокрые и холодные.

— Дай Боже только окопы миновать. Только окопы, окопы…

А окопы эти безмолвные спят во мраке ночи.

Если б не толки людские, никто и не знал бы, что когда-то тут славное Замчище князей Соломерецких было, жизнь кипела. Гремели пушки, дым пороховой курился и лилась кровь человеческая. А в праздники великие хмель-вино в чарах пенилось, играли гусли-самогуды, пели лиры старцев, гул стоял от голосов человеческих, и много чего деялось, что уже навеки сокрыто от более поздних времен.

Высоко держали князья Соломерецкие знамя земли своей, знамя бело-черно-красное, не склоняли головы своей перед грозной силой Московщины, не сгибались и перед хитрой притязательницей — Польшей…

А время шло, теряли силу могущественные, и неожиданно возносились на вершину незаметные, умирали князья славные, вырождался род княжеский. Помер молчаливый седоусый Мстислав, и на весь род его осталась одна наследница — дочь его ненаглядная, ненадежная княжна Ганночка.

Красивая она, как цветок божественный, а ум был девичий и сердце девичье…

Молит Бога старый поп, монах Григорий: «Удержи власть князей моих, устреми глаза княжны моей на пользу всех Радимичей…»[1]

И говорит монах Григорий красивой Ганне-княжне: «Ох ты, моя княжна-дитятко, служка Божья и подданных своих заступница, именитая наследница достославных князей Соломерецких, не допускай ты к себе панича польского, княжича Владислава Воябойского, не слушай ты сладко-ядовитых речей наставников его, береги престол и веру святую православную, береги…»

Слушала попа, на него не глядя, княжна молодая.

---

[1] Радимичи — Союз восточнославянских племен междуречья и верхнего Днепра и Десны. В XII веке большая часть территории в Черниговской, северная часть — в Смоленских землях.

И, не получив ответа, шел он, старик, Богу молиться в тихой церкви, построенной еще старым князем Лугквением.

А княжна Ганна все чаще и чаще приглашает к себе Владислава, княжича Воябойского, чаще и чаще в очи его молодые смотрит…

Нетвердо стоит престол князей Соломерецких, опасается католиков и вера православная. И слухи ходят: московский властитель послал свою рать на Литву Русскую, под стародавние каменные стены древнего Соломерецка.

— О Боже наш! О княжна моя! — стонет поп, монах Григорий. Не на что уже ему надеяться.

Все напрасно. Все имеет конец…

Сыплется кирпич, и пыль носится над стенами городища, гулом гудит под пулями московскими Замковая Гора, дым застлал все поле брани, ревут волы армейские, ржут кони литовские, звонят колокола похоронные, кровь льется…

Плачут матери по сыновьям своим, а девушки плачут по своим возлюбленным, печаль великая охватила детей Соломерецка, льется кровь…

А по подземному ходу-лазу из-под родных склепов каменных в Темный Лес несут княжну Ганну усатые, в кунтушах и с пером на шапке, дружинники княжича Владислава. Покидает отцовское гнездо последняя веточка с большого родословного древа соломерецких князей.

И вскоре... Вот уже слышны плески и шум ручья студеного, вот и дуб великий, а возле него ход-лаз подземный наверх выходит. Как обомлела княжна Ганна в Замчище, так и теперь еще в беспамятстве. Но помаленьку-потихоньку открыла глаза девичьи большие, понемногу, с тоской и болью, поняла все. Обхватила рукой белою, маленькой косу длинную, черную, в пути спутавшуюся, прижала к груди своей и слезами, как бусинами драгоценными, крупными, смочила их и шепчет самой себе: «Княжество мое… Владя, Владя, оборони меня…»

— Ге-гей! Стойте, стойте, подождите, ляхи!.. — послышалось, бежит, задыхаясь, кто-то сзади. А это поп Григорий. Бегом бежит, глаза горят, сам бледный как смерть, в руке святой крест держит…

— Нет… нет… не внучку ли знаменитого Лугквеня, князя нашего, в стане ляхов вижу я? Правда ли, или только кажется мне, что так преждевременно княжна Ганна Соломерецкая из родного угла в чужедальнюю сторону летит?..

— Молчи, монах! — простонала княжна.

— Нельзя молчать мне, ибо не молчал под гром пушек и свист пуль на московских и польских полях брани перед князем Лугквенем и сыном его Мстиславом, нельзя молчать мне и перед дитем их… Куда бежишь, княжна? Еще крепки стены соломерецкие, не сломаны ограды замковые, есть еще тыквы и орешки на московцев в склепах наших, и не покоряются еще люди наши, княжна! Много сокровищ дедовских припрятано у нас, большой брус золота и камней драгоценных в святынях наших, — откупимся от Московщины и не побежим искать помощи у католиков, куда деды наши не бегали и нам путь заказан…

— Молчи, монах! Владислав, мой любимый, защитит наследство отцов моих…

— Защитит… Княжна, княжна! Так защитит, что кости князей наших в гробах перевернутся и прах их развеется. Не хочет Польша Русь Литовскую равной сестрой считать, так не будет ни Литвы, ни Польши, а будет могущественная бесконечная Московия. Горе нам! Не убегай, княжна! Откупимся сперва от воевод московских, а там что Бог святой даст, а покинешь Соломерецк теперь — не будет уже, никогда не будет нашего независимого Соломерецка…

— Нет… эй, парень, кликни дружину, ведите коней… Ступай, Григорий!

Страшным сделался седой поп. Вскинул в высоко поднятых руках крест святой и на колени рухнул. С мукой и болью посмотрел вслед княжне Ганне и на небо глянул.

— Боже наш! — крикнул он. — Суди нас, суди меня… Конец нам. Наша княжна покинула нас, с Польшей сошлась и Москве отдалась. Вот спутались при бегстве волосы ее, так пусть же теперь и расчесывает их. Пусть распутывает аж до тех пор, пока мы с Москвой и Польшей не распутаемся…

Задрожала земля, пламя полыхнуло со всех сторон, под грохот пушек и стоны воинов ухнуло все на целую милю в окружности под землю, в бездонье…

Прошло много веков, и только окопы, старые окопы — свидетели старины — остались. В ночь таинственную купальскую слышны там колокольный звон глухой, похоронный, и грохот пушек, и стоны искалеченных, и пение монастырское, и девичий плач неутешный.

Страшно тут, и еще далеко Янке до поля того Залесянского, но вот-вот и окопы стародавние.

— Гру-гу-гу… — поднялся ветер, и закачался лес, завыл, застонал. Подгибаются от страха ноги у Янки, и видит он поодаль от дороги, возле главного окопа, красное что-то: то ли месяц молодой там всходит, то ли огонь горит, а может, костер кто-то разложил.

— И воскреснет Бог, и разбегутся враги его… — еле шевеля пересохшим языком, зашептал Янка, и костер погас на мгновенье. Но вдруг осветился лес; глянул Янка — огромный сундук стоит, а на нем девушка волосы расчесывает, но никак распутать не может, а с боков у нее две черные собаки с цепей рвутся.

Хотел Янка перекреститься, да загляделся на девушку, жалко ее стало.

Молодая, белолицая, красивая, только глаза прячет, и слезы крупные, как роса утренняя, по щекам текут. Косы, как змеи обвили голову и грудь, и время от времени огнем от них пышет.

— Расплети-и их, расплети-и мне их… Все, все тебе отдам, навеки богатым будешь, а собак, слуг моих верных, не бойся. Ох, пожалей ты меня, расплети же, расплети мне косы мои, о-о-о!..

Сильно забилось сердце у Янки, ком к горлу подкатил от жалости, и слезы навернулись.

А собаки так и рычат, так и скалят зубы, огонь изо рта полыхает, а зубы что клещи железные.

Развязал Янка пояс свой красный: «Пусть крепче собак привяжет», — подумал он и бросил пояс княжне молодой.

Загремел сундук, зазвенели деньги в нем, а княжна как шальная: «Ой! Больно!» — крикнула, будто пояс тот огнем ее обжег.

— Только коснулся ты меня, но не освободил; буду я мучиться еще столько, — заплакала она жалобно и зло. — Будь же ты проклят, как проклята я! — добавила она и исчезла под землей с сундуком, собаками и поясом Янки…

Онемел Янка.

И уже темно вокруг; как и прежде, шумит лес, вскоре в просвете и поле Залесянское показалось.

Чья лира плакучая слышна возле паперти каменной под старой липой дуплистою? Что за старец слепой с белыми, как шерсть белая, волосами и мутными незрячими глазами играет там? Кто это такой, что поет о княжестве Соломерецком?

— Это Янка Проклятый.

Откуда он, кто он — никто не знает в здешних местах.

А когда спросят у Янки:

— Где же, дед, Родина твоя?

— У Бога, — грустно и гордо ответит он.

— А была ли у тебя жена, есть ли у тебя дети?

— Схоронил жену, дети на пожаре сгорели, добро сгорело: и хатка, и кони, и коровы, и все-все. А земля неурожайная…

— Какой ты печальный, дедуля, — скажут ему, а он посмотрит перед собой незрячими глазами, подтряхнет котомку на плечах, лиру поправит, скажет:

— Спасибо Богу за все, все под ним, а он один бессмертный над нами, — и под лиру свою старенькую запоет грустную-грустную песню о княжне Ганне Соломерецкой, и о времени Литовской Руси, и о владычестве князей соломерецких над радимичами.

Плачет лира, и плачут бабульки дряхлые, и молодцы, и девчата красивые…

Апостол

Адвеку мы спалі, і нас узбудзілі…

Пламенный коммунист и давний поборник белорусского движения товарищ Курапа (партийная кличка Жабин) с отвращением оставил шумный, пыльный и голодный город и поехал просвещать деревню.

На митингах и разных собраниях он всегда говорил, что не деревня виновата, а тот, кто мало заботится о ее просвещении.

— Так надо, товарищи, ехать в деревню!

Курапа хорошо говорил по-белорусски, и как только Красная Армия дала возможность снова объявить независимую Советскую Беларусь, он сразу же стал инструктором отдела так называемого «управления» и вытребовал командировку в провинцию.

Набрав красной литературы на всех местных языках, кроме белорусского, так как литература на этом языке еще до сих пор считалась контрреволюционной выдумкой белорусских националистов, разлегшись на душистом, но несколько пыльном сене с дикого сенокоса бедного хозяина, ехал он на паре рысаков по Ошмянскому тракту и любовался красивой, тихой, задумчивой природной белорусского лета.

Чтобы отвлечься, коммунист обратил внимание на своего возницу.

Тот молчаливо правил лошадьми и время от времени как-то странно чмыхал, будто недовольный чем-то, но не оглядывался на своего простоватого пана.

«Какая, однако, чисто буржуазная черта в способе размещения кучера и седока, — подумал со знакомым чувством язвительности товарищ Жабин. — Он как бы более низкое существо, сидит впереди, а я, коммунист, будто бы и пан, сижу сзади…»

— Давайте, товарищ, сядем рядом! — крикнул он вознице, но тот в грохоте колес не услышал и только лишний раз, как показалось коммунисту, странно, по-своему фыркнул.

Тогда Курапа снова предался размышлениям. Сначала он немного утешился тем, что в его голову пришла такая важная идея — садиться на подводе

рядом с возницей. Но радость была недолгой. «Я же мог сесть рядом с ним еще в городе, сразу же», — подумал он.

Тоскливо.

Уже месяц, как Курапа бросил курить из-за страшной дороговизны табака и до сих пор довольно стойко терпел и не поддавался искушению, хорошо знакомому только курильщикам. Но тут, среди безлюдного, тихого, задумчивого поля, на широкой пыльной дороге, папироса и дымок от нее стояли перед глазами как тень чего-то необычайно приятного.

— Товарищ, вы курите? — несколько громче крикнул Жабин, чтобы на этот раз возница услышал его. Потом поправился и повторил тише: — Вы, товарищ, дымите?

Крестьянин не услышал и на этот раз. Он снова по-своему чмыхнул, но голову не повернул.

— Как ваша фамилия? — еще громче спросил у него коммунист и, приподнявшись на руке, другой тронул его за плечо в серой густо запыленной свитке.

— Я одинокий, — отозвался, наконец, возница, полуобернувшись, и Жабин увидел давно не бритую седую щетину и подстриженные, седовато-желтые усы под носом.

— А фамилия какая?

Возница помолчал, будто колебался: говорить или нет, но снова немного повернул голову и под утихающий стук колес ответил:

— Я пишусь без фамилии, по отцу… Янучонок. А люди прозвали: Шашок.

— Католик или православный?

— Мы польские.

И снова чмыхнул.

Глядя на усы возницы, Курапа убедился, что возница — курящий человек. И удивился, почему так долго он не курит, но попросить табака стеснялся, и хотя с большим усилием, но промолчал.

— А как у пана назвичка?

Тоже немного подумав, коммунист коротко и без особого удовольствия представился:

— Жабин… инструктор.

Возница на этот раз расслышал хорошо и более доброжелательно сказал:

— Струкар — это, наверно, имя русское, потому что у нас таких нет. А пан Жабинский был у нас…

Курапа покраснел.

— Долой панов! Их надо убивать, как собак. Правильно, товарищ? — крикнул он в самое ухо вознице и с облегчением подумал: «Цепи непрриязни надобно ррва-ать срразу».

— Правильно, — покорно согласился возница.

На этот раз Курапа не утерпел, достал из кармана клочок мятой бумаги, оторванной от газеты, натер из листочков сена мелкой трухи и стал скручивать цигарку.

Кони неожиданно дернули, и труха рассыпалась.

Крестьянин будто нюхом чувствовал, что делает его седок. Оглянулся, незаметно усмехнулся себе под нос и полез в карман, бросив вожжи.

— Я дам пану закурить.

— Будьте любезны, товарищ! Хотя напрасно вы оскорбляете меня паном. Я такой же пролетарий, как и вы. И вообще слово «пан» теперь совсем без надобности.

— Простите: известное дело, мы темные…

Одному коню понадобилось остановиться на некоторое время, и возница с седоком делали самокрутки, беря табак из кисета возницы. Возница молчал и перестал чмыхать.

А когда кони двинулись, они с наслаждением задымили; возница подсел ближе к Жабину и, не глядя на него, без особой, казалось бы, причины заговорил:

— Нам бы, товарищ, ксендза откуда-нибудь посоветовали бы. Ксендзы вместе с поляками поубегали. Люди родятся, умирают, а мы не знаем, что с ними делать.

«Вот она, правильность моих мыслей и взглядов на деревню. Город организуется. Люди толпятся по разным новоиспеченным учреждениям. Выполняют «работу» — пустую, непродуктивную… Прогнал бы их всех, чертей, в деревню, просвещать ее, революционизировать…»

Так рассуждал Курапа, соображая: очень ли резко или несколько мягче сказать о ксендзах.

— Теперь можно и без ксендзов, товарищ.

Возница чуть заметно и с особым смыслом усмехнулся, повернулся к лошадям, подбодрил их. Когда они побежали трусцой он, докуривая цигарку, сказал:

— Без них нельзя… известное дело, люди родятся, умирают, что с ними делать?

Коммунист с состраданием и с некоторым высокомерием посмотрел на согбенную спину возницы и не стал его возвращать.

Взобравшись на пригорок, увидели в лощине хаты и хлевы среди зеленых деревьев. Крестьянин вздохнул, а Курапа обдумывал, что он будет сейчас говорить собранным на сход людям.

Деревня не проявляла никаких признаков жизни. Она, ее деревянные, низкие, под соломенными крышами постройки, так же, как и поле, были тихозадумчивые или даже бездумные, безмолвные, серые.

Пусто и безлюдно было на улице. Вот кто-то на стук телеги высунулся из-за угла сеновала и уставился на него, чужого, в черном, городского. Раз! — моментально исчез и пропал бесследно за сеновалом.

Напротив одной из лучших на вид хат подвода по велению Жабина остановилась. Коммунист соскочил с телеги и ходил возле забора, чтобы размять затекшее тело и лучше разглядеть, что происходит на концах улицы, собираются ли люди. Возница, нацепив повод на кол в том же заборе, пошел во двор — оправиться и попросить ведро. Как только он закрыл за собой калитку, из хлева высунулся дед и подзывал возницу к себе рукой.

— Шашок! Шашок! — шептал дед. — Иди сюда, чтоб ты сгорел, какого там черта коммуниста привез?

— Нех бэнде пахвалены... — подал руку деду грустный Шашок.

— Во веки веков! — ответил дед и сразу же пристал опять с расспросами: — Ну, ну?

Шашок, зайдя на сеновал, рассказал все, что знал.

— Какой-то комитет хочет создать, — закончил он рассказ.

— А чтоб на них паралич с этими комитетами, — охал дед, — реквизировали моего коня вместе с парнем на работу. Две недели гоняют, а тут жатва, сенокос. Поляки замучили…

— По-простому говорит, — усмехнулся Шашок.

— Чтоб не узнали. Стерва, — выругался дед.

Когда возница вышел на улицу с ведром, Жабин недовольно процедил сквозь зубы:

— Где вы столько пропадали?

— Искал, искал, никого нет, все в поле.

Когда кони были напоены, Жабин неожиданно для возницы скомандовал: «Вези на поле!»

Только они завернули за гумно, как какой-то верховой, приникши к конскому загривку, бросился из-за стога соломы к лесу. Коммунист инстинктивно схватился за кобуру револьвера.

— Прячут коней от «учета» в лес, а я вози и вози, — бурчал грустный Шашок.

— Вези на дорогу, я им покажу! — крикнул обозлившийся Жабин, и телега повернула назад.

Чьи-то глаза смотрели сквозь щель в гумне, как поднялась пыль на дороге.

Неудача

I

Временный комиссар N-ской фронтовой чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и дезертирством, товарищ Батрачонков, ехал на автомобиле в своей матросской куртке домой на праздник Ильи, а заодно и узнать, как идет революция в деревне.

Илью празднуют, как известно, двадцатого июля по старому стилю, когда начинается жатва. В этот день в Залужанском приходе, откуда родом Батрачонков, после отправления службы в церкви начинается за околицей ярмарка и ярмарочное гуляние. Собирается здесь весь приход, являются парни и девчата из всех окрестных деревень, а заядлые любители погулять приезжают и из очень дальних мест.

К залужанской церкви нет, пожалуй, и двух верст от Батрацких Дворков, где живут Батрачонковы. И комиссар с момента выезда из города и аж до этой старосельской гати все время вспоминал свое далекое детство и ярмарки в Залужье и думал, как лучше поступить: пойти завтра на ярмарку вместе со всеми дворковскими парнями и девчатами пешком или задержать автомобиль на один день и поехать на ярмарку на нем? Поехать позднее, прямо на ярмарку, после богослужения?

Он невольно улыбнулся, подумав, как автомобиль с ним, комиссаром, и с кучей дворковских девчат прокатится посреди самого ярмарочного сборища… Все люди смотрят и спрашивают: что за чудеса, кто это такой?

— Да здравствует революция! — громко крикнул Батрачонков. Шум машины и свист ветра заглушили его слова.

— Что вы, товарищ? — услышал, однако, шофер и оглянулся.

— Ничего, ничего… — смутился матрос.

У самых Дворков на большаке также есть гать, и Батрачонков вспомнил земского начальника Шальновича, как он всегда со своим автомобилем вязнул там.

«Подумать только: бывший подпасок Артемка Батрачонок — второй человек, который едет по этому большаку на автомобиле; первым был Шальнович, второй он — вот теперь — матрос, — и тихонько прошептал: — Да здравствует рабоче-крестьянская революция!»

Лет десять, не более, минуло с той поры, когда Шальнович первый раз в этом глухом углу показал людям новое чудо техники, машину-самокат.

Было это осенью, когда крестьяне копали картошку и добирали коноплю. Погода стояла сухая, солнечная, только прошедшие раньше дожди оставили лужи в низких местах дороги и совершенно размесили гать.

Вдруг что-то необычное зашумело, выкатилось из леса, и закурилась пыль на большаке за дворковскими гумнами. Быстро-быстро, во всю прыть катится панская карета… и без коней! Все побросали и картошку, и коноплю — кинулись со всех ног смотреть. Бабы со страху чуть сознание не потеряли — так испугались, и пожилые мужчины струхнули. Только кто-то из молодых, мир повидавших, крикнул весело и громко, чтобы все слышали: «А, вот оно что!.. ту-мо-би-ля», — и влез на забор, чтобы дальше было видно, чтобы видеть аж за холмами. Петракова собака сначала сидела, а потом как гавкнет! И пулей полетела вдогонку за машиной. Мальчишки — за собакой. Не успели они забежать за гумна, как машина скрылась за горой, нырнула к гати. И засела.

Батрачонок вез тогда с хозяином корчевья и сучья с вырубки. Хозяин остался настилать перед машиной ветки, а мальчика земский погнал в Дворки за мужиками, чтобы шли вытаскивать из болота самокат.

Комиссар стряхнул с себя это воспоминание: что было, то было. Кто бы мог предположить, что так быстро и внезапно все рухнет?

Минуло, и теперь на самокате, как когда-то земский, едет он, комиссар рабоче-крестьянский революции. Его машина благополучно переехала грязное старосельское поле; хотелось так же благополучно переехать и свою гать; было бы очень неприятно и стыдно, чтобы и его, как того господина, из болота спасали мужики.

Автомобиль весело мчался под гору, и вот за рекой начинается бывшая панская земля — известных панов Шамет-Головинских. Широко и далеко раскинулись угодья… Вот за той рощицей раньше, когда он еще со всеми вместе ходил в монастырь на Малую Пречистую молиться Богу, видны были белые, словно из мела, стены панских строений. Теперь их нет, — комиссар безразлично посмотрел в ту сторону, — нет, мужики сожгли… Торчат только какие-то столбы, черные как сажа, должно быть, обгорелые. Теперь нет тех белых зданий, и даже поле, засеянное не сплошь, а только отдельными участками зеленых яровых, даже оно вроде бы выглядит более скудным?

Ничего…

Ничего, из-за этого не становится меньше удовольствие, что оно, поле, уже общенародная собственность, и настанет время, когда оно будет выглядеть еще лучше, чем выглядело при панах.

Позади осталась извилистая речка, с кустами по берегам и сверкающая на солнце там, где кустов нет. Обозначенная ольшаником, вилась она узкой лентой посреди широкого зеленого лога, нынешним летом еще некошеного, хотя завтра Илья.

От лога начинался пологий склон, засеянный льном. Отошла река, отбежал и лен, вот и картофельное поле минуется. С высокого места виден далеко-далеко весь простор: желтая рожь, серые хаты с зелеными конопляниками, печальное кладбище в стороне и синяя каемка леса вокруг.

Тихой грустью повеяло с этого простора на комиссарову душу, хотя и старался он радоваться, что панов нет и все стало общей собственностью народа.

Тихой грустью потянуло на него с этой пустыни, когда невольно приходило сравнение с шумной и беспокойной жизнью в N-ске, особенно теперешней, когда придвинулся фронт и прибыла «чрезвычайка» во главе с ним, Батрачонковым.

II

Правда, гать он проехал благополучно, не увяз, и в баню успел — помыться перед праздником, но в бане все с ним, начиная с шофера, обходились как с паном: старались подать воду, веник, просили разрешения попарить ему спину и совершали еще сотню иных, мелких, но противоречащих его идейности поступков. Старики, будто сговорились, называли его на «вы». «Вы, Артемка» или «Вы, Халимонович», что очень нравилось его отцу, но начисто отравляло жизнь комиссару. Никто ничего у него не спросил, хотя испокон веков здесь велось, что всякого нового человека, солдата или гражданского, некоторое время просто допекали расспросами о новостях. И более того: никто не пришел на их двор, где под навесом стоял непривычный для всех дворковцев чудо-самокат. Боялись или не хотели?

Пока у Филимоновых, придя из бани, распивали привезенную Артемкой бутылку самогонки и закусывали салом, купленным за три зеленые «керенки» у соседа-«кулака» (как обозвал его некстати тут, среди своих, шофер), по всем дворковским хатам, а через портного из Залужья и у всех залужанских раззвонили, что Батрачонок-комиссар приехал на машине делать завтра ревизию в Залужье у попа и привез с собой бочонок самогонки и аж… пятнадцать футов «керенских» денег. «А может, есть и царские, кто его знает», — предполагали бабы.

Церковный староста побежал к попу и так перепугал матушку, что та даже сознание потеряла. Батюшка на ночь глядя поехал к своему приятелю-аптекарю, у которого племянник был тоже в каких-то комиссарах. Аптекарь написал племяннику письмо, а батюшку спрятал в аптечном подвале.

Ночью пошел дождь. Утром, прослышав, что залужанский праздник почему-то не состоится, комиссар, страшно искусанный за ночь блохами, хмурый, невеселый возвращался в N и перегнал на старосельской гати телегу попа.

Через день комиссар был арестован и отдан под суд за спекуляцию, пьянство и непозволительную отлучку со службы, используя притом для личных нужд казенный самокат.

Всебелорусский съезд 1917 года

Весной 1918 года, красивым теплым утром, обещавшим хороший день, я покинул Смоленск, уезжая на лето домой.

Подвозили меня кооперативщики, приезжавшие в Смоленский Союз за товарами.

Нашел я их прямо на рынке, где по нашенским серым одеждам, по мягкому овалу лица, по говору и даже по лошадям и подводам догадался, что люди с нашей стороны.

Все они оказались из соседней волости, и один из них сразу же согласился подвезти меня за очень небольшую плату.

Человек небольшого росточка, сухорукий, шапку носил сдвинутой со лба назад, говорил козлиным тенорком и был слишком разговорчивым. Звали его Кузьма.

Мы уже проехали верст двадцать, а он ни минуту не умолк и уже много чего успел рассказать о теперешней жизни в наших краях.

Раза два услышал я от Кузьмы, что их кооператив называется «Беларус». Это меня удивило. «Однако, — подумал я, — это, видимо, никак не связано

с нашим возрождением», и с этого названия вытаращилось на меня страшное пугало ять (Ѣ) и закрутились собачьими хвостами две русификаторские эсы (С)…

Но все же было любопытно. Объехав чуть ли не все крупные города на родине, я только в Могилеве видел гостиницу с названием «Беларусь», а так повсюду в названиях не было ничего, что напоминало бы имя белоруса в «Северо-Западномъ КраѢ Россіи-матушки». Были «Москва», «Краковы», даже «Парижи» и «Неаполи», а «Беларуси», за единственным исключением, не было. Поэтому название кооператива меня заинтересовало.

Тем временем мы подъехали к горке, и все слезли с телег. Подводы потихоньку поползли наверх, а подводчики собрались вместе и занялись скручиванием цигарок, чтобы, взобравшись на гору и сев в телеги, быстрее поехать и курить.

Но неожиданно Кузьма спрашивает у меня при всех:

— А что теперь с Беларусью будет после того прошлогоднего съезда?

— Какого съезда? — еще более удивился я тому, что мои земляки спрашивают о Беларуси, так как привык к их полной неосведомленности. Думал, что в нашей стороне только в моей деревне, благодаря мне, немного знают о своих национальных делах.

Парни же посмотрели на Кузьму и засмеялись.

— Мы в прошлом году посылали его делегатом на съезд в Минск создавать свою республику, — сказал самый бойкий.

— Чего ж, дурни, смеетесь? — добродушно цыкнул на них Кузьма.

— А почему ты удрал со съезда? — пошутил другой.

— Разве я говорил вам, что удирал? — возмутился Кузьма и не без гордости добавил: — Я, как лев, защищался, а они — «удрал»…

Бойкий парень прищурил глаз, сдвинул шапку на затылок, хорошо изобразив Кузьму, и его козлиным тенором, как он, махая сухой рукой, вдруг затянул:

Спрадвеку мы спалі, і нас узбудзілі,
Сказалі, як трэба рабіць,
Што трэба свабоды, зямлі-і-і…

Даже я не смог удержаться от смеха. Смеялся и сам Кузьма.

— Вот дурень-то, — плаксивым голосом заговорил он, — думает, что надо мной смеется… Ты, братец, над собой смеешься!

— А где вы научились петь нашу марсельезу? — спросил я у парня.

— Так он же, он всю волость научил, — увидел я палец, наставленный, как штык, в грудь Кузьмы.

Кузьма ударил парня по руке, и тот засмеялся:

— Это ж наш герой! Свою республику создавал!

— Вот же темнота! Господи Боже, вот же наша темнота! Что с вами с такими сделаешь, — вопил Кузьма, ища у меня поддержки.

Когда мы сели на подводы, Кузьма закурил, перестал шутить и спокойно сказал:

— А я хоть немного их просветил. Сами захотели назвать наш кооператив «Беларусом»…

Все услышанное было для меня большой новостью. Ничего подобного я не предполагал встретить в глухом углу Смоленщины, от которого ближайшая железная дорога в ста верстах. Я не узнавал своих селян.

— А вы, дядька, давно… такой? — спросил я.

— С прошлого, братец, года, после того съезда.

— Интересный был съезд? — притворился я незнайкой, чтобы в рассказе было больше непосредственности.

— Разве вы ничего не знаете? — со скрытой укоризной повернулся ко мне Кузьма. — А я, признаться, подумал, что вы из «народных». Ученый, из Смоленска едет и по-белорусски говорит, верно, думаю народный человек…

— Кого вы называете народными людьми?

— Да этих, которые хотят, чтобы наше все было, чтобы, значится, на ноги поставить Беларусь.

— А почему вы об этом не спросили?

— Ждал, может, вы что скажете. Да и теперь… — он потупил голову, — видите… свои же смеются.

— Ну, хлопцы шутили, на них не надо обижаться.

— Да я и не думал обижаться! Известное дело, хлопцы молодые, им бы только дурачиться. И они не такие, как вы, может, подумали… Дружные хлопцы… Надо мной они смеются, но если бы вы им что-нибудь против белорусов сказали… услышали бы кое-что.

— А как на вас смотрят большевики вашей волости?

— Пусть как хотят смотрят, я их не боюсь! Какие там большевики — горе одно. Я настоящих большевиков еще не видел. А ту пьяную черномазую подлюку, что наш съезд разогнал, если бы где-нибудь поймал, то сразу бы ему каюк сделал, хотя душегубства не люблю.

— Почему же такая злоба к нему?

— Потому, братец, что он бил наших людей, делегатку бил. Такая девушка, что он ей в подметки не годится, а он ее бил сапогом, топтал ногами…

Кузьма вздохнул.

— Как же так? — своим вопросом вызвал я его на продолжение рассказа.

— Это был последний день съезда. Поздно уже, ночь, а у нас в театре, где съезд проходит, ну просто как на Пасху в церкви. Как-то и радостно, и тоскливо, и непонятно, что с тобой делается, христосоваться хочется со всеми людьми. Это ж не шутка: республику свою, Беларусь несчастную, на ноги ставим, сейчас правительство народное выбирать будем… А тут и крикни кто-то: большевики приехали нас разгонять. Что за беда, думаем, кажется же против них никаких постановлений не принимали, контрреволюционеров среди нас нет: все больше мужики, солдаты, народные люди из мужиков. Хотим, чтобы все народу шло: и земля, и леса, и власть — за что ж они разгонять нас будут? По-ихнему ж хотим, только чтобы, значится, без непорядков, без всякого вреда. Мы же на своей земельке, а среди них — всякие приблудные, что чужого края не щадят, без надобности уничтожают; известное дело, за войну собралось их на фронте разных, не столько добрых, как негодников. Нет, кричат: выходи! Ружьями угрожают, присыпало их к дверям, как нечистой силы. И все народ не нашенский, дерзкий, без понятия. Кричат, гонят, а черномазый, начальник ихний, вперед вылез и что-то пьяное там бормочет. Видно, что человек упился и не понимает, куда залез. Не дадимся, думаем мы! Загородились скамейками, котомочками своими с харчами. Да где там, разве ж с голыми руками оборонишься от такой уймы. Вижу я и стоящие со мной рядом, что бросилось это зверье, чтобы забрать наших народных людей. Бросились и мы спасать их. А там целая бойня! Наши солдаты схватились с теми, что явились нас разгонять. Колошматят друг друга, тузят. Вижу я, на том месте, где в театре представление показывают, впереди всех защищается наша делегатка, бойкая девушка, она такие речи на съезде держала, что прямо хватало за сердце. И вот подходит к ней черномазая гадина и что-то, усмехаясь, говорит ей, видать, оскорбительное для нее. А она вдруг раз

в карман — вытащила маленький черный левольверчик и наставила на него — у меня аж сердце упало. Хлоп! — осечка. Тогда она этим левольверчиком как хряснет его по челюсти, он аж согнулся. И тогда поднялось там такое, что и пересказать трудно. Набросились его солдаты на девушку вместе с ним. Повалили на пол, бьют чем ни попадя, прикладами, ногами, за волосы таскают. Насилу наши вырвали беднягу из ихних рук. Да и я ее защищал, не стоял сложа руки. Но тотчас же получил такой удар в спину, похоже, прикладом, что думал, живым от этих бестий не вырваться. И вижу: ведут уже некоторых народных людей, общественников, под конвоем во двор. Пропало наше дело, надо спасаться, удирать. Бегу к дверям: стой, говорят, и ты там дрался? Я недолго думая шмыг назад, схватил чью-то большую черную папаху, что на полу валялась, насунул на голову и снова к дверям. Стой! — кричат. — И ты там дрался? — Нет, говорю, товарищи, я не такой, я не дрался, а тот, что дрался, вместе с другими в заднюю дверь выскочил. Поверили, не узнали и выпустили на улицу. А там возле дверей полно грузовиков-автомобилей с пулеметами, с солдатами, и на улице полно солдат, не разобрать, кто свой, кто чужой. Тут меня поймали и погнали вместе с другими арестованными в какой-то подвал. Просидели мы ночь. Крепко взяло всех за сердце: вот тебе, Беларусь несчастная! Думаем: бил тебя царь с панами, а теперь простые приблуды за то же взялись. Не подняться тебе на свои ноги, бедная. Плакали мы, братец мой, сидя там, правду говорю — плакали.

— А теперь ведь вы, дядька, надеетесь, что будет Беларусь?

— Теперь! Теперь, братец, вся наша волость как один человек грудью за нее станет. Как же ей, в таком разе, не быть? Не мы, так наши дети поднимем-таки ее на свои ноги.

Кузьма умолк, гейкнул на коня и погнал его, словно лететь собирался — восхищенный, возбужденный, смелый.

В 1920 году

(рассказ «народного» человека)

Ради важных нужд нашего народного дела осенью 1920 года я переходил польско-московский фронт и одну ночь провел в нейтральной зоне.

В грязной и затхлой каморке местечкового заезжего двора проспал я не менее пятнадцати часов подряд и проснулся от гомона двух мужских голосов в соседней комнате. Нас разделяла тонкая деревянная перегородка, и весь разговор был отчетливо слышен. Но, занятый невеселыми думами о своем пропавшем проводнике, я долгое время не обращал внимания на говорящих.

Сон мой был тяжелым и кошмарным. На запыленном стекле маленького окна, дождавшегося, наконец, нескольких желтых лучей заходившего осеннего солнца, беспрестанно билась, звенела и умирала единственная живая муха, и с ее жужжанием связался мой сон, полный воспоминаний о вчерашнем переходе московского фронта.

Недалеко от нейтральной зоны мы попали под обстрел и должны были два часа, показавшихся вечностью, лежать в болоте между кочками.

Проводника моего, крестьянина из ближайшей деревни, сознательного, преданного всей душой нашему делу человека, когда он, оставив меня в болоте, пополз на берег в разведку, — схватили красноармейцы-москали и, ударяя прикладами, погнали в свой штаб. Мы рассчитывали, что он встретится с красноармейцем-белорусом, который при моем первом переходе помог

мне переправиться. Но, видимо, их уже сменили, расчет наш не оправдался, и человек пропал.

Мысль о нем теперь страшно мучила меня.

Я скрывался в его хате, идя на восток, целых три дня; познакомился с его семьей, привязался к его детям, которые так мило декламировали мне «Адвеку мы спалі», — и вот теперь мысль о наступившем для них сиротстве грызла меня, отравляла мою радость, что сам убежал из-под носа московской стражи и копии всех важных постановлений Главного Совета наших восточных организаций, зашитые в подкладке пиджака, донес сюда невредимыми (пальто бросил в болоте).

«Что теперь думает Авдотья о «народных людях», погубивших ее мужа? А она ведь так старалась услужить мне, так вовремя накормить меня всем лучшим, что было у них, чтобы хоть таким образом выказать свое женское сочувствие «народному делу». И вот я, «важный народный человек», как она с гордостью хвалилась своей матери, невольно стал причиной ее великого горя».

«Только бы не расстреляли, а там как-нибудь удастся его вызволить», — не выходила у меня мысль о проводнике.

А расстрелять его могли, потому что он уже был на подозрении как «белорусский верховод» среди окрестных селян, враждебно настроенных против московско-большевистского нашествия.

Была у меня и другая забота: еще надо перебраться через польские заставы, крайне охочие к деньгам и избалованные спекулянтами, совершенно свободно переезжающими фронт.

А денег у меня осталось мало: десять тысяч советских рублей, одна царская пятисотка и двести польских марок[1].

Я думал: удовольствуется ли польская стража на фронте пятисоткой и можно ли часть денег оставить хозяину заезжего двора, чтобы переслал семье проводника?

В этот момент гомон за стеной усилился: там тоже поминали царские, думские, польские, советские…

Сперва мне казалось, что хвастаются друг другу своими денежными операциями спекулянты, заполнившие заезжий двор по дороге из Вильно в Минск и из Минска в Вильно.

Но я ошибся.

— И вот, братец мой дорогой, — говорил один из них, — вырвался-таки я из этого плена, а вместе с тем и от своих любовниц.

— Ну а как же твоя школа? — спросил его друг.

— Школа? Чтоб она сгорела. Все лето не мог выехать, должен был то в ней сидеть, то ездить на разные курсы и съезды по народному просвещению. Напоследок отвели мне так называемую школьную десятину, и чтобы я на ней сам работал да еще и мужикам показывал, что и как надлежит делать по-культурному. А тут жрать нечего, никаких земледельческих орудий труда не выдали… Пальцем я буду землю копать, что ли? Взял и удрал в Польшу, чтоб они сгорели со своими порядками!

— Так… Ну а как же теперь твои зазнобы?

— С ними просто беда, братец мой милый.

— Плачут по тебе?

— А леший их знает! Дело не в слезах, а в том, что в конце концов загнали меня в угол, чтобы женился. Поверишь? — должен был прятаться от

[1] В двадцатые годы наравне со злотыми ходили и польские марки.

мужиков. Выхожу я от одной, а отец другой уже караулит, чтоб меня поймать и взять, как говорится, на цугундер[1]…

— Как же ты их столько одновременно имел? — смеется его друг.

— Как? — тут заведешь хоть сотню, если жрать нечего. Ты понимаешь, советского жалования учителю хватает на каких-нибудь пять фунтов хлеба. А мужики разжирели, полные мешки набили денег, а чтобы учителю или на школу кто-нибудь дал — ни копейки! По старой привычке: школа казенная, так полена дров никто не даст, чтобы класс натопить, — казна должна давать. Вот как они говорят. Вижу я, что или совсем пропадать, или изворачиваться как-то надо. Ну и решился. Зайду к какому-нибудь хозяину, где есть девица на выданье, и начну дурака валять: и про любовь, и про свадьбу, и про то, что теперь все равны, что и учителю не грех на хорошей крестьянке жениться… Развесят они уши и думают: «А может, и правда женится на нашей курносой?» И ну меня угощать, и ну меня подкармливать, тут тебе и сала, и сыру, и всякого лиха…

— Какого же лиха?

— Известно, какого: долго ведь голову дурить не удастся, надо кончать или удирать. Покручусь, покручусь и начинаю комедию — с другой гулять, потом с третьей. И так развелось их у меня в нашей округе десятка два. Дошло до того, что носа нигде не могу показать: отцы ловят, пристают, когда же свадьбу буду делать? Девки между собой ссорятся, одна на другую напраслину возводят, позорят, на меня ропщут. Одним словом, сделался я как бы племенным быком на животноводческой ферме, спасения себе нигде не мог найти.

— Однако же выкрутился?

— С трудом, братец мой! Одна пылкая не удержалась, забеременела. Приходит ко мне еженедельно с отцом или с матерью, подступает с ножом к горлу: женись! Плачет, голосит, то просит, то угрожает в совет пожаловаться.

— О, это уже не шутки!

— Какого черта шутки… Пожаловался-таки отец на меня в совет, что девку с пути сбил, а жениться не хочу. Вызывают меня, раба божьего, на растерзание: «Что же вы, товарищ учитель, делаете? — говорит комиссар. — Мы вас заставим на ней жениться». — «И принуждать не надо, — говорю, — товарищ комиссар, пусть хоть сейчас ко мне в жены идет». Комиссар мой и осекся. «Почему же они жалуются?» — «Не знаю, — говорю ему, — должно быть, хотят венчания в церкви, а я, хотя и беспартийный, коммунист в душе и признаю только свободное сожительство с женщиной». Нечего ему сказать, видит, что наскочила коса на камень…

Собеседники похохотали, потом умолкли на какое-то время, как бы прислушиваясь, что там за моей стеной.

— Если человек захочет спать, то и шум ему нипочем, — услышал я голос учителя. — Да и не так уж громко мы говорим, — добавил он.

— Хозяин предупреждал, чтобы мы потише себя вели: там спит какой-то проезжий господин.

— А, ничего…

Они что-то пили, может, ханжу, и закусывали драченами[2], расхваливая их, курили очень вонючий табак, харкали, плевали, шаркали ногами и за разговором не слышали, как я осторожно открыл форточку, впустив в каморку свежий воздух. За окном на стене сеновала еще лежали последние лучи солнца.

---

[1] Взять на цугундер — взять на расправу, привлечь к ответственности.

[2] Драчена — кушанье из смешанных с молоком и мукой или тертым картофелем яиц.

Где-то в стороне топал конь, и изредка долетали голоса — хозяина-лавочника и какого-то мужика. Потом все надолго утихло, потому что в будние дни крестьяне — редкие гости в местечке.

— Ну, а что у тебя, братец ты мой? — спросил тот, который удрал от большевиков. Он был в приподнятом настроении, только что рассказав, как за небольшую взятку большевику благополучно перешел линию фронта, а евреев, шедших с ним вместе, поймали и повели в штаб.

— Что у меня? — переспросил оккупированный Польшей, набрал полные легкие воздуха и шумно выдохнул, видимо, готовился рассказать все со смаком и подробно. — Я «примазался» к белорусам, получаю паек в белорусской армейской организации и пока что — горе в сторону! Теперь вот сюда приехал вербовать желающих.

— Погоди, — перебил учитель, — так, может быть, ты меня завербовал бы? Что для этого надобно? Я тоже белорус.

— Ничего, — ответил ему вербовщик, — только язык придется немного поковеркать.

— И всего-то? Да мне это не страшно, с зазнобами я только по-белорусски и говорил.

— А писать по-белорусски умеешь?

— Пробовал. У нас пошли было слухи, что будет Беларусь, поэтому придется в школах учить по-белорусски. В Гомеле на съезде заведующих отделами народного просвещения что-то в этом роде постановили, но никакого приказа учителям не было, вот я и бросил. Я даже литературу белорусскую немного знаю. Слышал ты когда-нибудь «Тараса на Парнасе»?

— Нет. А что это за штука?

— Ну, слушай:

Ці знаў хто, братцы, з вас Тараса,
У палясоўшчыках што быў, —
На Пуцявішчы, ля Панаса,
Ён там ля лазні блізка жыў.
Што ж, чалавек ён быў рахманы,
Гарэлкі ў губу ён не браў…

— Стой! — перебил его офицер. — Так ты у нас сейчас деятелем белорусским будешь. Я, признаться, не жалую этот язык, ну да пусть, чего уж… одно свинство!

— А как же ты вербуешь? Тебе ведь, наверно, надо за Беларусь агитировать?

— Ха-ха-ха! — захохотал вербовщик. — Вы там все всерьез принимаете и думаете, что мы в самом деле делаем здесь какую-то Беларусь! Это же одна комедия, это чтобы поляки давали пайки и деньги. Какого черта я завербую, если никто из мужиков не записывается. Сам народ не хочет никакой Беларуси.

Учитель ничего не сказал, видимо, не согласился с таким взглядом друга.

— Ну нет, братец мой милый, — помолчав, заговорил он, — мне кажется, что Беларусь будет. Очень уж серьезно взялись некоторые за это дело. Ты знаешь, даже у нас там завелись теперь такие заядлые белорусы, что скажи ему что-нибудь против хотя бы в шутку, руку не будет подавать.

— Да и у нас хватает таких идиотов, однако мы над ними только смеемся. А что они сделают без армии?

— Что армия? Теперь и армия не поможет. С одной стороны большевики, с другой поляки. Но я хорошо знаю, что белорусская агитация принима-

ет большой размах. У нас весь народ за белорусов, хотя некоторые до этой поры даже и не знали, что они тоже белорусы. За белорусами пойдет теперь каждый крестьянин, потому что только с ними и связывает свои надежды на доброе.

— Так почему же ты еще не в белорусах, этакий-то пылкий их защитник? — насмешливо и недовольно спросил офицер. — Когда будет единая неделимая Россия, то я и тебя заодно постараюсь повесить.

— Должно быть, я это предчувствовал, поэтому вот осторожничал, — шуткой ответил учитель. — А все же ты меня завербуй в свое белорусское войско по старой дружбе.

Тут разговор собеседников переключился на воспоминания об их прежней службе в одном полку, и я перестал слушать.

В дверь моей каморки постучали. Пришел с таинственным видом хозяин, а с ним вместе возница виленских евреев-спекулянтов.

Хозяин помог мне договориться о поездке с обязательным переездом через польскую линию фронта за две тысячи польских марок (с выплатой в Вильно).

За полчаса подвода была готова, и я выехал в компании трех спекулянтов, так и не увидев разговаривавших за перегородкой собеседников.

Перевод с белорусского Идалии КОНОНЕЦ.

МИХАСЬ СТРЕЛЬЦОВ

Осталось лишь одно — любить и жить

Прошло 26 лет со дня смерти одного из самых загадочных белорусских литераторов — Михася Стрельцова.

Он умер в 50 лет. Наследие его невелико, но огромно по своей значимости. Хочется познакомить читателя с частью его творчества, именно той частью, которая касается произведений его молодых лет, хотя написанных уже в зрелом возрасте.

Это его стихи-раздумья, стихи-воспоминания о нашей любви. Все они биографичны, каждое из них имеет свою предысторию.

Так как многим хотелось бы верить в нетленную любовь, я хочу обнадежить их, опубликовав свои переводы его стихов.

Я переводила их с тем же чувством, с каким он их писал. Я почти уверена, что мои переводы — не без его помощи.

Я — его жена. Мы прожили с ним 15 лучших лет нашей жизни.

Галина СТРЕЛЬЦОВА

* * *

И с той поры, когда с тобой
Навек нас версты разлучили,
Твоими взглядами за мной
Повсюду эти дни следили.
Свидетель бог и также я,
Не снилась мне такая доля,
И для тебя, и для меня
Неволей стала наша воля.
Так и не смог простить себе,
Понять, и как так получилось —
Не отдал я твоей судьбе
Всего того, что мной ценилось.
Я думал, мы теперь друзья,
И ты теперь имеешь право
На то, на что имею я,
Пусть это горькая приправа.
Я думал, вспоминаешь ты
Меня, когда заря займется,
Что чувств горячих молодых
Нам испытать не доведется,
Что стежки разные у нас:
Тебе – одна, а мне – другая.
Надеюсь, путь твой в добрый час,
Тебя не ждет беда лихая…

Ошибся я, что не спешил
Ни осенью и ни весною!
И гром гремел, и ветер выл,
Как разошлись душа с душою.
Как трудно вымолвить «Люблю!»,
Ответ предвидел я заранье,
Тебя об этом наказанье,
Как о пощаде, я молю.

Прощай

И скрежет колес, и перроны,
И пахнет дорогою гарь,
Покачиваются вагоны,
Подмигивает фонарь.

И репродуктор вокзальный,
Как эхо: «Ав-в-ай-ай-ай!»
Как отголосок прощальный
Прощай, только не забывай,

Далекое воспоминанье,
Откуда возникло оно?
Казалось, в дыму прощальном
Исчезло оно давно.

Ах, кто-то куда-то ехал,
Не спрашивай, кто и куда.
Из-под колес вырывалось эхо:
«Прощай и помни всегда!»

И в шуме толпы вокзальной,
Сквозь репродукторный лай
Все так же неслось печально:
«Прощай, только не забывай!»

В той дальней далекой дали,
На светлом ее рубеже,
Кому тогда сердце отдали,
Кого проводили уже?

Далекие юности грезы,
Где правда, а где обман?
Пролились прощанья слезы
На разнотравье полян,

Рассеялись по-над полем,
Опали среди берез,
Чтоб отозваться болью
Неразразившихся гроз.

И скрежет колес, и перроны,
И пахнет дорогой гарь,

Покачиваются вагоны,
Подмигивает фонарь.

Над речкою и над плесом,
Над полем, из края в край,
Все тише стучат колеса:
«Прощай, забывай, прощай!»

* * *

Вот и они, воспоминаний цветы,
В скверах, на тумбах, на дугах трамваев…
Скажи, только честно, а много ль дашь ты
За роскошь отцветшего мая?

Я знаю, что так же все было у всех,
Подвластное вечной привычке,
Бессонные ночи, девический смех,
Перроны, вокзал, электрички.

Осыпалась снегом калина весны,
Покрылась трава придорожная пылью.
Тепло твоих губ мне является в сны,
И сердце зайдется тоскою унылой.

Тревожная память, тревожный вопрос,
Тревожные в снах картины:
Состав вместе с прошлым идет под откос,
Летит на рябины, крушины.

* * *

А было это только сном:
Над речкой солнышко стояло,
И чайки быстрое крыло
В лучах горячих трепетало.

Шептались травы, слышал я,
Шептались камыши с водою,
В гортанном лепете ручья
Звучало имя дорогое.

И этот звук, и этот свет
Наполнил сердце сладкой болью.
Умчится в вечность много лет,
А он останется со мною.

И запах солнца и травы
Пускай меня во сне лелеет,
И воздух молоком парным
И напоит, и обогреет.

И я благословил тот день
И над криницей наклонился,

Когда в прозрачности воды
Твой светлый образ отразился.

Я пил струю, нектар я пил,
Как будто чье-то заклинанье.
Я так тогда тебя любил,
Как накануне расставанья.

Уж покорился я судьбе,
Уже смирился я с расплатой,
Хотя не знал еще во сне,
Что наяву смирюсь с утратой.

* * *

Ты ушла,
Почему-то ушла,
И я
Стал колодцем без воды,
Стал весенним кустом без листьев,
А больше всего
Стал похожим на клетку,
Которую оставила птичка…

Слышу, в чужом саду поет,
Вижу, висит золоченая клетка.

* * *

Этот дом я покинул, —
Он чужой мне теперь,
Пусть развеется дымом
Горечь прежних потерь.

Разве это возможно?
Где протянется тень
От копны придорожной,
Там и будет постель.

Может, в Щару иль Пину,
Или в Птичь, Вилию́,
Иль в иную долину
Я слезу уроню,

Чтоб она испарилась
Над рекой, над рекой,
Чтоб сдружилась, сроднилась
С туч небесной гурьбой;

Чтобы тучи клубились,
Предвещая грозу.
Чтобы ливни пролились,
Возвращая слезу;

Чтобы чайки кричали,
Так приветствуя гром,
Чтоб на дальнем причале
Содрогнулся паром!

* * *

И в счастье есть щемящее мгновенье,
Когда душа и слово рвутся ввысь,
Тебя переполняет вдохновенье,
Но за перо ты лучше не берись.

Самодостаточность, самозабвенье…
Возможно только чувствам говорить.
Казаться может слово оскорбленьем,
Осталось лишь одно — любить и жить!

* * *

Рыгору Бородулину

И я стоял на этой круче:
Был звонкий день, катился Сож
В страну воспоминаний лучших,
С которыми всю жизнь живешь.
С порою той, в которой дали
И грусть свою, и синеву
При расставаньи мне отдали —
Когда вернуть я их смогу?
Однажды выбрав расставанье,
Уже вовеки не вернешь
Голубы-реченьки журчанье,
С которой породнился Сож.
А эту тишь, и этот ясень,
И лес, и пашни, и луга,
На сенокосе Яся с Касей,
За ними копны и стога,
Коней заливистое ржанье,
И даже голоса дрожанье
В любви проснувшейся словах?
Они со мной и мною стали,
Через селенья, города
И прорастали, и врастали
В мои тревоги и года.
И все вилась, вилась дорога, —
То хмель на ней, то дереза,
И так хотел познать я много,
И так хотел сказать я много,
Но главного и не сказал.
Сам виноват: тоской измучен,
Я дали юности маню.
Прости, мой друг, я с этой кручи
Повинно голову клоню.

Перевод с белорусского Галины СТРЕЛЬЦОВОЙ.

Сначала была любовь

Галина Стрельцова.

— Галина Семеновна, как Вы познакомились с Михасем Стрельцовым? Расскажите о вашей дружбе, о том, как вы решили пожениться.

— Сначала была любовь. Дружба и все другие добрые чувства возникли потом. Познакомились мы на студенческой вечеринке и уже больше не расставались. Это была любовь с первого взгляда. Чем больше мы узнавали друг друга, тем крепче становилось наше чувство. Мы оказались с ним родственными душами, что и подтвердила вся наша дальнейшая жизнь.

Наше чувство оказалось настолько самодостаточным, что внешние атрибуты не имели уже никакого значения. Даже поход в ЗАГС не оказался для нас чем-то значительным, было это без колец, платьев, марша Мендельсона. Вся свадьба ограничилась скромным поздравлением родителей.

Переход к семейной жизни не показался нам значительнее, чем два года платонической любви высшего накала.

Я была на третьем, а Миша на четвертом курсе, но рождение дочери не помешало нам успешно закончить учебу.

— Расскажите о вашей семье. Каким Михась Стрельцов был мужем, отцом, хозяином? Как был налажен быт?

— Весь быт лежал на мне, хотя Михась никогда не отказывал мне в помощи по хозяйству.

Его вниманием я не была обделена. Он постоянно баловал меня подарками. Если случалось быть вместе в магазине — настаивал, чтобы я покупала себе разные вещи, ничего не требуя себе. Мне пришлось взять на себя всю заботу о всех его потребностях. А хозяином он был никудышным: у нас постоянно отваливались ручки дверей, падали вешалки, подтекали краны. Пришлось самой многому учиться.

Детей он очень любил и не жалел для них времени (в его родной семье тоже были маленькие сестры). Порою они переворачивали весь дом. Он покупал им игрушки, книжки, конфеты, а несколько раз даже и платья.

Он знал толк в хороших вещах, любил комфорт и порядок, вкусную еду. Но не требовал от меня этого, а просто выражал свою благодарность, если что-то ему нравилось.

Любил порадовать меня редкими вещами: первые французские духи («Ночной Париж») были у меня.

Строго следил за моим внешним видом, вынося строгий приговор некоторым моим нарядам.

Большой недостаток — был очень ревнив. Это портило нам жизнь.

— Вы, конечно же, стали бывать на его родине, в его семье. Что это была за семья, какой там царил дух?

— Глухая деревня Сычин (Славгородский район). Добираться до нее нужно было через Сож на пароме, через лес — семь километров пешком. Дом на отшибе (тропинка через лужок, мимо огорода и пруда). Двор с хлевом, сеновалом, сараем, колодцем.

Родители. Отец, Лев Климович, — высокий сильный мужчина с черными волосами и яркими голубыми глазами. Мать, Мария Михайловна, — маленькая, болезненного вида, русоволосая, зеленоглазая женщина с застенчивой улыбкой и тихим голосом. Дети: Михась и Валя старшие, довоенные; Коля, Нина и Тася — младшие.

Основной работник в семье — отец. Раньше, пока не уехал в Минск, помогал старший сын — Михась. Сестра Валя — помощница матери.

В доме всем заправляла мать. Я не слышала, чтобы она когда-нибудь повысила голос. Дети и муж ее обожали.

В доме — смесь чисто деревенского и поселкового быта. Большая печь, лавки с чугунами и ведрами, дежка для замешивания теста (мать сама пекла хлеб). Перед окном — большой стол, над ним лампа, рядом полка с книгами и учебниками. Здесь ели, читали, делали уроки. В горнице светло и чисто. Кругом рукоделье матери: тканые половики и постилки, вышитые рушники, салфетки, скатерть.

— Как Михась работал (имеется в виду писательский труд)? Говорил ли что-нибудь о творчестве, о планах? Какие у него были предпочтения в литературе? С кем из писателей дружил?

— Писал он обычно по ночам. Писал и курил, и пил очень горячий чай. Он долго обдумывал свои произведения. Это было видно по его отрешенному виду. Записная книжка и ручка всегда были при нем. В своих черновиках он делал много правок, много раз переписывал и никому не давал их читать, пока работал над текстом.

Как великий художник он точно подмечал малейшие детали в образах своих персонажей. Я могу судить об этом по его рассказу «Перед дорогой», где он изобразил моих родителей. А в его женских образах я постоянно нахожу свои черты.

Все свободное время он читал, тоже не вынимая изо рта сигарету. Диапазон его литературных пристрастий был очень широк. Часто он вскакивал с книгой в руке и кричал мне: «Ты только послушай!» Казалось, ничего нет в литературе, чего бы он не знал: Пушкин, Чехов, Хемингуэй, Экзюпери, Купала, Богданович, Лорка...

Мы тесно общались с семьями В. Адамчика, В. Короткевича (с которыми были соседями), Р. Бородулиным, И. Чигриновым, Я. Брылем, В. Быковым. А со Степаном Гаврусевым он был знаком еще со студенческих лет.

— Почему он вдруг перестал писать прозу, перешел на стихи? Говорил ли он что-нибудь об этом в семейном кругу?

— Михасю никогда не была чужда поэзия, хотя свое настоящее творчество он начал с прозы. В первый, более гармоничный период своей жизни он

Михась и Галина Стрельцовы.

считал, что проза серьезнее, весомее, нужнее поэзии. Она давала ему больше возможности для самовыражения, глубоких раздумий, общения с читателями. Его поэзия — это крик его души. Переход к поэзии произошел тогда, когда на него свалилась гора несчастий: разрыв с семьей, борьба с «зеленым змием», смерть близких.

— Михась Стрельцов — уникальный писатель. А что в нем было уникального как в человеке?

— Вижу его уникальность как человека в том, что в условиях глухой деревни, вдали от культурных центров, с детства приученный к тяжелому крестьянскому труду, он смог путем самовоспитания стать настоящим «патрицием» в лучшем понимании этого слова — тонким, интеллигентным, высокообразованным человеком.

Но первородный «мужик» в нем иногда просыпался. Михасю приходилось подавлять его в себе.

— Почти все белорусские (белорусскоязычные) писатели — радетели белорусской идеи, белорусского дела. А что Вы о Михасе можете сказать в этом отношении?

— Он был настоящим борцом за чистоту и красоту *матчынай мовы*. Однажды я случайно подслушала разговор — приезжий мужчина спрашивал у местного, где бы он мог ознакомиться с настоящим белорусским языком. Тот ему ответил: «Читай Стрельцова».

Он был популяризатором белорусской литературы, много времени уделял творчеству молодых.

— Что его сгубило (кто-то впадает в депрессию, кто-то, наоборот, «кайфует», а что было с ним)?

— Есть версия, что многие выдающиеся люди обречены на преждевременную смерть по той причине, что чрезмерное эмоциональное напряжение, в котором они живут, угнетает их иммунную систему, тем самым настраивая организм на самоуничтожение. Отсюда алкоголизм, суициды, соматические заболевания.

Знаю одно: Михась очень хотел жить.

Беседовала
Наталья КАЗАПОЛЯНСКАЯ.

Памяти Михася Стрельцова

Пусть твой и мой в аккорд один
Два наших голоса сольются
И белым аистом они
Над нашей жизнью пронесутся.

Скажи нам, аист, сделай милость,
А не видна ли та криница,
Что нам ночами часто снилась,
Чиста ли в ней еще водица?

А Птичь, речушку, помнишь ту,
А Менку, ручеек прозрачный,
И вала древнего гряду,
Которой счет годов утрачен?

Они запомнить нас могли
В ту нашу пору молодую
И нашу юность сберегли,
Замкнув в шкатулку вековую.

А не видать ли с высоты
Над полноводным Сожем кручу,
С которой вдаль смотрели мы,
Стараясь разглядеть получше

Луга, дубравы над водой,
Едва заметную тропинку,
Ведущую к тебе домой,
Мы шли с тобой по ней в обнимку.

Нам травы под ноги стелились,
Цветы спешили поклониться,
И птицы будто торопились
Благою вестью поделиться.

А Неман можно ли забыть,
И город — не бывает лучше,
Здесь дочка начала ходить,
Воспоминанья греют душу…

О Свитязь! Свято место это,
Сюда вернуться ты хотел,
Возле него ты след поэта
В росе когда-то разглядел.

И аист, сделав круг печальный,
Взмахнув крылами, воспарил,
Свое перо, как дар прощальный,
Тебе на память подарил.

И это верное перо
Уже с тобою не рассталось,
В крыле надломленном оно
Покой твой охранять осталось.

Цветок любимый сон-травы
Гранита серого коснется,
И снова с прежней высоты
Аккорд заветный отзовется.

Галина СТРЕЛЬЦОВА

ВЛАСТИМИР
СТАНИСАВЛЕВИЧ-ШАРКАМЕНАЦ

Вода хранит память

Рассказы

Мимо Шклова Днепр течет

Письма, которые Досифей Обрадович через потомка сербо-лужицких князей Станислава Гломачанина получал из Белой Руси от генерала Симеона Зорича, были полны тепла и по-военному прямолинейно выраженного удовлетворения в связи с тем, что четыре экземпляра книги «Жизнь и приключения» попали в руки генерала при посредстве «жителей его города». «Его город» — Шклов Могилевской губернии — вместе с деревнями и хуторами имел около шестнадцати тысяч населения, а в придачу к этому было еще семь тысяч душ жителей Полоцкой губернии.

В письме, отправленном осенью 1783 года, Зорич о книге высказывался так: «Обнаруживая в ней такой чистый стиль языка нашего милого народа, такие четко выраженные и полезные нравоучения, читал я с таким удовольствием, что не могу Вам в полной мере высказать, сколь дорога мне книга эта, Вами присланная». Все письма заканчивались приглашением в гости, просьбой ответить как можно скорее и приехать: «Тогда бы я имел радость показать Вам, как умею почитать людей Вашего ума».

Досифей отвечать не спешил, стараясь поскорее издать новую книгу. Но его радовало предложение отправиться в Белую Русь и так завершить свои путешествия по горным и равнинным краям — от Карловцев и Молдавии, через Хале и Лейпциг, до Шклова… Что он публично и высказал год спустя в следующей книге, «Советы здравого разума», которую посвятил именно благодетелю своему, «милостивейшему патрону Зоричу». А еще до этого, в начале 1784 года, послал благодарственное письмо: «Будь я свободным, то вместо этого моего писания себя самого на почту бы отправил и крылья бы хотел иметь, дабы чем скорее у ног славного Мецената моего за столь милостивое и царскодушное письмо не просто благодарить, а, если бы возможным оказалось, и самому целиком в благодарность превратиться».

Досифею, впрочем, важно было не только выпустить новую книгу. Он должен был изучать иностранные языки. А тут появилась удачная возможность поехать в Лондон, чтобы основательно заняться английским. Так что с ответом на приглашение Зорича стоило год-другой подождать…

Днепр с достоинством катил свои воды по пространной низменности. Гордый и уверенный в своих силах, он людям, любившим его, приносил радость жизни, веру в благодатность природы и удивительные ощущения удовлетворенности, которые появляются у обитающих рядом с рекой. Рыбы в воде Днепра, птицы над ним и трава по красивым берегам его почти так же, как и люди, ощущали блаженство от того, что Бог эту реку пустил здесь именно для них.

К днепровской воде, столь приятной для человеческой души, часто подъезжал на своем великолепном коне и генерал Симеон Зорич. Из всего благодатного, что может река предложить человеку, он ожидал того, что в такие моменты наиболее значимо — чтобы вода смыла с него и подальше унесла отчаяние, которое в это седое туманное утро сжимало ему грудь.

Он провел бурную ночь за карточным столом в обществе польского шляхтича и двух русских офицеров. Почти до самого утра «карта шла». Особых выигрышей, собственно, и не приносила, поскольку хитрые партнеры больших ставок не делали. Хотя в целом, можно сказать, Фортуна была милостивой: он отыгрывал то, что проигрывал. Слуги приносили еду, ставя ее на отдельные столики возле каждого из четверых игроков. Для генерала была приготовлена свежая рыба из Днепра. Остальные угощались мясом и разными лакомствами, а генерал отдавал предпочтение рыбе вареной, безо всяких приправ, даже без масла, считая, что ему, изнуренному долгой игрой, только она может вернуть остроту ума и скорость мышления — то главное, что требуется для успешной игры. Они играли в русский покер с французскими картами: это колода из 32 листов, раздаваемая по одному, пока каждый не наберет пяти карт; а с помощью оставшихся игроки, используя разные приемы, в том числе и блеф, поскольку игра ведется при закрытых картах, стремились набрать как можно более высокого достоинства спаренные карты.

И вот уже около трех часов утра, когда ночь уходит так же, как в вечерние сумерки приходит, а это — самое глухое время суток, удача оставила генерала. Он стал быстро проигрывать. И к утру проиграл все. Шляхтич Полоцкович тоже. Правда, ему-то, давно обанкротившемуся, и проигрывать было практически нечего. Он сел играть с минимальной суммой при себе лишь в надежде, что повезет и удастся «вернуть свое». Но выигрыш оказался у русских офицеров. Похоже, они использовали так называемый «французский талон», который всегда приносит успех, только иногда этого приходится долго ждать. Однако они дождались. Сидели оба рядом. Их стоило разделить, но Зорич не знал, кого больше опасаться, так как все трое были его противниками. Собственно, офицеры могли действовать вот по какому принципу: если раздает партнер с правой стороны, то говорить: «Не снимаю», а когда приходит очередь добирать, то брать столько карт, чтобы вместе с изначальными их было шесть; и банкующему с прикупом — тоже шесть, в числе которых первые три известны, так что можно выбирать «прикупаемое», чтобы оказаться в выигрыше.

Карточный проигрыш сам по себе на душу не так уж давит. Если и случается подобное, то душа, напрягшись, примиряется и терпит. Но вот когда поражение действует на состояние духа и ума, когда оно подрывает веру в удачливость, на которую рассчитывал, а та подвела, тогда другое дело. В таких случаях как бы придавливает тяжелый, внушительных размеров камень, который хочется рукой потрогать, а еще лучше — хоть чуточку отодвинуть в сторону дальнего уголка своей духовной сферы… Но эта сфера может разрушиться, груз же оказывается таким тяжелым, что от него никак не освободиться. Так что нужно ждать, пока груз этот уберет время. А еще его может если не унести, то облегчить вода. Как раз этого Симеон Зорич сейчас ожидал от Днепра.

Вглядываясь в течение у берега, где он присел, Зорич видел, что вода расходится от середины, как бы демонстрируя, что не все должно быть отдано матице. Какая-то часть «отделяющейся» воды, коснувшись берега, возвращается немного назад, делает круг и возвращается снова к стрежню течения, к матице, но делает это как бы добровольно, а не под давлением силы. И генералу приходит утешительная мысль, что он тоже еще может

вернуть свое состояние и владеть им как прежде, до начала ночной карточной игры. Хотя первая из четырех дам, пиковая, уплыла все же по течению.

Собственно, генерал, чувствуя в голове пустоту от сильного давления вследствие разорительного проигрыша, не спеша брал карту за картой, спонтанно останавливался после каждой и пускал их по волнам Днепра. При этом он сам себе тихо, в бороду, говорил, что проиграл-то не впервые, но все же от этого порока надо окончательно избавиться. Карты, одна за другой, со скоростью прибрежной воды уплывали, терялись из поля зрения, узкого не только по причине туманности. Между тем, некоторые возвращались на волнах, совершавших круги против воли матицы. Такие карты прибивало к берегу, к ногам проигравшегося генерала, однако затем они все-таки отплывали, направляясь к матице, где и должны были оказаться. Первой возвратившейся картой была пиковая дама, что он видел отчетливо. Потому подумал: может, именно она спасет его в очередной игре? Но тут же стал громко клясться, что больше за карточный стол не сядет. Так обычно поступают настоящие совестливые игроки, в отличие от игроков-профессионалов, цель которых — не поиграть, а кого-то «ободрать», насколько возможно. Зорич клялся так уже не раз. Однако сдержаться не мог. Не могли помочь и священники. Наверное, сами совершали ошибки, под епитрахилью «освобождая» его от тяжелого порока, будто бы навсегда, а оказывалось, что это не так, ибо он вскоре опять увлекался игрой.

Сейчас же пришла мысль: а не время ли основательно поговорить насчет этого с самым что ни есть здравомыслящим человеком — Досифеем Обрадовичем? Ведь он в своей большой книге «Советы здравого разума» обсуждал не только добродетели, но и пороки тоже. Пожалуй, о здравом разуме он может знать что-то такое, чего не знают другие, включая даже священников? Вот только бы смог он прибыть в Шклов…

А тут еще вернулось сразу несколько выброшенных карт, причем «раскрытых»… И это в затуманенный ум генерала Зорича вселило уверенность, что он сделает совершенно правильно, если еще раз пригласит Досифея, который успел изучить в Лондоне английский язык и уже довольно долгое время находится в Вене. Короче говоря, его непременно следует пригласить и радушно принять!

Однако реальность имеет свои законы. Вода течет, все проходит, и никто не может держать в своих руках течение времени. Вот и карты все уплыли-таки по воде. Зорич поднялся с пустыми руками — как поднимается над рекой туман, и взял под уздцы своего верного коня, который здесь же рядом ждал хозяина. А ему, хозяину, стало легче. Слава Богу, всегда можно отыскать повод радоваться жизни; вот есть же существо, которое его ждет, ему беспрекословно подчиняется и не ищет никакой корысти, в отличие от тех ночных стервятников, вытягивавших у него все бóльшие и бóльшие суммы, которые генерал молча выкладывал «на шнур», а они затем перекладывались в кучки их выигрышей. Может, наступивший день принесет что-то новое… Не исключено, будет возможность и отыграться… Кто знает… Хотя помнится ведь присказка отца, которую он принес из Далмации: «Не за то мать сына била, что в карты играл и проигрался, а за то, что ходил отыгрываться».

Вспоминая по дороге отца своего Гавриила — а конь в это время чутьем уловил, что следует приостановиться, — генерал и не заметил, как оказался возле дома своего доброго друга, а также и друга отца, священника Владимира, который многократно предлагал, а несколько раз и пробовал, навсегда отвратить его от покера. Но вспомнив опять о здраворазумном Досифее, Зорич решил не заходить к священнику,

а пришпорил уже остановившегося коня и поскакал к своему, лучшему в Шклове, дворцу. Ему не потребовалось спешиваться и открывать ворота — слуги были рядом и вмиг сделали свободным путь к любимому жилищу. Этот дворец, без которого уже и не представлял своей жизни, Симеон Зорич очень-очень любил. Дорожил им больше, чем домами в Петербурге и в Сесвегене, на лифляндской земле. Хотя все это и почти все, что имел, досталось ему в дар от императрицы Екатерины Второй за заслуги в войнах с Пруссией и Турцией, шкловский дворец Зорич считал в известной степени делом своих рук. Потому, вероятно, что много в него изначально вложил и на него же впоследствии много тратил. Между прочим, только тогда, когда императрица соизволила посетить Могилевскую губернию, он, чтобы устроить ей прием с надлежащими почестями, выложил более десяти тысяч дукатов. Причем лишь на столовые приборы ушло не меньше половины этой суммы.

Когда через пространный двор генерал направлялся к главному входу в свой дворец, ему показалось — точнее, появилось такое ощущение, — что и это здание постепенно ветшает, как и он сам. Но когда вошел в галерею первого этажа и услышал, как оркестр репетирует пассаж из оперы, в глазах у него посветлело, пришло чувство, что не все еще потеряно. Да, он сегодня же пошлет новое приглашение Досифею, лучше всех знающему, как одолеть пороки, от которых так трудно избавляться, поскольку с ними, наверное, мы рождены. А ведь если бы он мог избавиться от страсти к картам, то его состояние — кожевенная, веревочная и лодочная мастерские, винокурня — вполне бы не только обеспечивали роскошную жизнь ему, но и наследникам что-то еще осталось бы. Тогда и пиротехник Мелиссимо из Италии, взявший баснословные деньги за устроенную иллюминацию, не вызывал бы у него особых переживаний уже потому, что карточные проигрыши намного-намного больше. Впрочем, после того, как итальянец вызвал восхищение царицы и всех приглашенных своим невиданным фейерверком, Зорич спросил, откуда у него такие познания в области пиротехники и умение пускать огни всех цветов, и тот ответил, что десять лет изучал опыт великого Леонардо да Винчи. В частности, уточнил он, «Рай» для свадьбы Джана Галеаци, племянника Людовика Сфорцы, а также еще лучшее огнеметное представление маэстро Леонардо — для свадебной церемонии самого мецената, Людовика Сфорцы и его невесты Беатриче д' Эсте. «Так что если это действительно итог десятилетнего изучения опыта великого представителя Ренессанса, знаменитого художника Леонардо да Винчи, то я не много заплатил», — подумал генерал. И тут же у него родилась новая необычайная идея: на следующее празднество, когда к нему прибудут прославленные сербы из Австрии и России, пусть тот же Мелиссимо, умелец художественно пускать цветные огни и воду, устроит для него в саду винные фонтаны, из которых все, уже напившись изрядно, будут продлевать удовлетворение своих потребностей… Такого никто еще никогда не видел!

Генералу Зоричу, при всех его воинских и светских успехах, довелось пережить и серьезные падения, разочарования. Чтобы поддерживать высокое положение в обществе, он нес весьма большие затраты. Вот и здесь поначалу негде было надлежащим образом разместить гостей, так что приходилось устраивать их за свой счет, в городе. Но самое главное, что приносит ему радость и позволяет забыть обо всех изведанных неудачах, страданиях, — это военная школа. В своем шкловском имении для сыновей белорусских дворян и вообще детей, проявлявших незаурядные способности, он открыл кадетский корпус, который составлял предмет гордости и личной, и всеобщей, — значимость такой опеки ощутило население всей Могилевской губернии.

Генерал, страстно желавший продолжить такое общеполезное дело, ради которого сейчас требовалось подобрать достойных преподавателей, в намерении поскорее пригласить Досифея Обрадовича только укреплялся. Тем более что сюда направлялся еще один серб — Эммануил Янкович. Он бы знакомил будущих офицеров с достижениями физики, а Досифей бы проповедовал свои рационалистические идеи.

Обрадович, между тем, через венских сербов, которые время от времени посещали Зорича, смог уже внушить генералу, что он готов прибыть в Шклов, но ему там, помимо педагогической работы, нужна типография, чтобы не страдали его интересы, связанные с изданием книг. И здесь Зорич, «милостивейший и благодетельнейший патрон», проявил только ему свойственное великодушие: пообещал, что типография будет его ждать и с изданием книг трудностей не возникнет — то есть, Досифей получит все, на что рассчитывает в Лейпциге, куда собирался отправиться из Вены.

В конце концов Досифей Обрадович оказался в Шклове. Но там с конца 1787-го до середины 1788 года напрасно ждал он обещанной типографии. Благодетельность генерала Зорича в данном случае имела свои ограничения. И скитальцу Досифею, чтобы удовлетворить свои постоянно меняющиеся запросы, пришлось отправиться дальше по миру. Хотя и после этого своих отношений с дорогим меценатом он не испортил, понимая, что все возможное тот сделал: вместо шестимесячной платы выдал годовую, то есть помимо заработанного присовокупил столько же в качестве награды или своего рода отпускных на время, пока Обрадович как следует устроится; к тому же отдал в его распоряжение свое лифляндское имение. Там сербский просветитель «на благах господина генерала Зорича» месяц проведет, а затем получит от своего благодетеля еще и дорогую лисью шубу, за которую, если продаст, может получить еще три месячных платы. Так Досифей, побывав в Сасвегене, Риге и Кенигсберге, провел некоторое время в прибалтийских краях, где упорядочил свои записи, сделанные в Эпире, Далмации, Банате и Вене. А перебравшись из Прибалтики в Берлин, на протяжении конца сентября и начала октября описывал свои впечатления от путешествий по Западной Европе и Англии, о которой остались особо теплые воспоминания, впоследствии долго вызывавшие ностальгию.

Генерал Зорич отъезд Досифея, который нравился ему вовсе не за то, что обращался к нему как «своей славе и защите», воспринял довольно спокойно. Ведь уровень школы поднялся: в ней теперь, помимо военного искусства, преподавались также риторика, этикет поведения, сценическое искусство, танцы. А расходы на содержание воспитанников частично брали уже родители…

За шесть месяцев у них были возможности поговорить о многом, в том числе и о страсти к картам, не дававшей Зоричу покоя. Досифей старался ему объяснить все на примере того, что видится постоянно. Вот, скажем, мимо Шклова течет Днепр. А это значит, что и жизнь мимо нас течет неумолимо, причем каждому она дается Богом. От нас зависит, набираем мы воду из реки для того, чтобы утолить жажду, или вовсе без учета меры потребностей, вредя таким образом здоровью, или бросаемся в эту воду, чтобы утопиться и отдать себя на съедение рыбам. Но хуже всего то, что мы не задумываемся о существовании выбора, а в определенных случаях думаем, что все уже потеряно. Бог дал нам самим выбирать, и при этом дал ум, чтобы мы выбирали самое лучшее. И если мы не желаем так делать, это не Его вина. Причем, что самое важное, тогда нам никто уже не способен помочь, коль мы сами того не желаем. Досифей напомнил генералу французское изречение: «Мочь — значит хотеть». А давно попавший

в зависимость от карт генерал оправдывался, что он, мол, хочет, да не может. На это рационалист возражал: ведь когда мы идем к Днепру напиться, то зачем же в Днепре топиться; то есть мало просто хотеть, надо знать, что в действительности представляет собой желаемое и нежелательное, — это уже ступенька к правильному и успешному действию; так устанавливается различие между грехом и добродетелью.

Зорич неоднократно бывал на Днепре. Часто гостей возил по реке на лодках, которые у него производились. Но из разговоров с гостившим писателем и философом вынес только одно: мимо Шклова Днепр течет. Особое значение обретала эта фраза после солидных проигрышей, поскольку играть в карты он так и не перестал.

А затем случилось самое печальное для него — пожар. Вспыхнул он где-то возле манежа, вскоре охватив здание школы и часть дворца. Сгорело все, во что так много вложил неравнодушный к общеполезным делам генерал. Сгорело, соответственно, все являвшееся оправданием, что генерал не напрасно жизнь прожил, что потратил ее не только на игру в карты и ухаживания за артистками, которым поклонялись юные кадеты. Однако дело его жизни пожрал огонь. Все превратилось в пепел. И обернулось болью. Виновником пожара, судя по всему, был старый управляющий конюшни Иво Наранджич, его земляк и родственник, отставной воин-кавалерист, участник русско-турецкой войны, который вместе со своим командиром Зоричем, в то время майором, четыре года провел в плену. Тогда этот бывалый унтер-офицер научил майора играть в покер. Будучи благодарным ему за верность во время боевых действий, а затем в условиях плена, Зорич впоследствии взял Наранджича управляющим своей конюшни, принял к себе на службу также его дочь Зору, поручив вести все торговые дела. И вот сейчас, вероятно, состарившийся подслеповатый ветеран по неосторожности поджег в конюшне сено. Огонь быстро стал распространяться, и сдержать его уже было невозможно.

Зорич впал в депрессию. Буквально за какой-то час неудержимый огонь уничтожил его жизненную мечту, воплотившуюся в реальность. Переживать это было невыносимо трудно. И становилось все заметнее, что от страданий генерал чахнет, постепенно угасает. Он перестал играть в карты. Но скорби из-за утраты итогов важнейшего духовного дела жизни одолеть не мог. Ее невозможно было пустить по воде Днепра. Наоборот, она скапливалась в сердце, заполняла душу и распространялась на все вокруг.

В связи с двадцатилетием основания Шкловского кадетского корпуса император Павел своим рескриптом присвоил Симеону Зоричу чин генерал-лейтенанта с назначением на службу в столице, а самому корпусу определил «стать государственным военным училищем в Москве». Но и после этого генерал не смог по-настоящему прийти в себя.

Морально сломленный пожаром, он все ближе подходил к моменту, которого не способен в конце концов никто избежать, хотя прежде воину Зоричу не однажды в самых опасных боевых ситуациях это удавалось. А тут оставались только последние капли опустошенной жизни…

И за год до окончания насыщенного событиями восемнадцатого века Симеон Зорич еще достаточно молодым, не имея и шестидесяти лет, преставился.

Досифею, жившему тогда уже более десяти лет в Вене, известие о том, что настигло его почитателя и покровителя, принесли венские сербы, которые в то время часто оказывались в белорусских равнинных краях, не считая их чужими. Написал ли что-то Досифей именно по этому случаю, неизвестно. Впрочем, он готовился к путешествию в Триест и Венецию, где напишет свою знаменитую «Песнь на инсуррекцию Сербиянов» с призывом: «Восстань, Сербия!» Впрочем, Досифея Обрадовича, как и его

покровителя, жизнь направляла в последнее русло, которое всем уготовано, когда придет час.

И он вскоре направился к родному отечеству — Крушедолу, Сремским Карловцам, Земуну, а оттуда, через Саву и Дунай, в дорогую сердцу Сербию. Там Досифей будет достойно принят, а после победы восстания под предводительством Кара-Георгия Петровича станет одним из самых почитаемых граждан. Именно Досифею Обрадовичу, как выдающемуся интеллектуалу, будет поручена высокая дипломатическая миссия в Бухаресте. Правда, это помешает ему заниматься литературной работой. Но все-таки принесет и возвышенные ощущения, а к тому же даст возможность посетить места, с которыми связано детство.

А вот генерала Симеона Зорича, его мецената, последнее русло не привело в родную Далмацию. Зорича взял Днепр, чтобы по воде навсегда унести в проклятое Черное море, которое поглотит всю его совокупную скорбь — из-за того, что не обеспечил типографию Досифею, из-за того, что часто проигрывал в карты, из-за многого вообще, а главное — из-за того, что прахом пошло (прежде его самого) дело жизни, то есть создание военного училища. Настрадавшаяся душа генерала обрела, наконец, самозабытье. Увы, сейчас, более двух веков спустя, уже и трудно определить, что она в Шклове у Днепра обитала. Но хотя материя никак не может заменить душу, все же об этом напоминает памятник, поставленный этому незаурядному человеку в его Шклове. Память о нем хранит, оказывается, и вся Беларусь. Как хорошо, что она способна помнить происходившее на землях ее!

Помимо земли, вероятно, хранит память и вода. Только человек еще не научился понимать язык ее: журчание ручья, плеск волн речных и морских. Вот научимся — тогда будем знать намного больше о себе через своих дорогих и незабываемых предков.

Мы еще убедимся, что вода, несомненно, хранит память. Остается лишь научиться понимать то, что она сохранила и будет хранить дальше. Тогда, пожалуй, сможем узнать и о происходящем после нас. Впрочем, эти знания неполноценны без знаний о происходившем до нас.

8 марта 2011 года, Париж

Для смерти не нужны рекомендации

— Господин полковник, почему вы со своим отрядом без приказа оставили позиции на Перчиловской высоте? — задал Раевскому вопрос генерал Михаил Григорьевич Черняев.

— Ваше Высокопревосходительство, я дважды посылал нарочных за распоряжениями, но таковых не получил. А нужно было сохранить жизни солдат.

— И такое мог сделать полковник русской армии!? Да какая это армия! Черт знает что эта милютинская армия!...

Полковник Раевский, внук Николая Михайловича Раевского, славного героя Отечественной войны 1812 года, побледнел от досады и обиды, чувствуя себя оскорбленным. А генерал продолжил:

— Вы носите фамилию Раевских. И это весьма обязывает. Вы же, увы, позорите и деда, сражавшегося против Наполеона, и брата, адъютанта Государя!

Все, что мог полковник Раевский перед главнокомандующим воюющей с турками сербской армии короля Милана в соответствии с правилами, так

это отступить несколько шагов назад, однако он, не позволяя себе ответить так, как хотел бы, и так, как побуждает гордость, обычно проявляющаяся в подобных ситуациях, ответил:

— Неправда, Михаил Григорьевич! Это неправда! — И вышел из штабной столовой. Ложки и вилки, утихшие при громком и резком разговоре, вновь застучали.

То, что слова отзываются в людях и после того, как они произнесены, первым из этих двух русских воинов подтвердил внутренне генерал, известный своей склонностью быстро вспыхивать, но также и способностью раскаиваться. Вот и на сей раз он попытался разобраться, отчего по отношению к этому полковнику обычно проявляет требовательность бóльшую, нежели к другим офицерам и солдатам-добровольцам. Конечно, оставление занимаемых позиций — это повод, чтобы использовать и крепкое слово. Главкому сербского войска вспомнилось также, что когда штабной писарь Тодорович принес ему список новоприбывших добровольцев и начал читать, то менее всего он обрадовался, услышав эти имя, отчество и фамилию: Николай Николаевич Раевский. Что правда, дед нынешнего сослуживца был для него образцом поведения во время военных действий, когда слово «атака» имеет особое значение. Собственно, и сам он благодаря атаке в 1865 году взял Ташкент… Но Раевский-дед — пожалуй, образец недостижимый. И это засвидетельствовал в романе «Война и мир» Лев Толстой, представивший генерала Раевского настоящим героем Отечественной войны 1812 года. На него Кутузов мог опереться в жестокой битве против Наполеона. «…Наверное, — размышлял Черняев, прикусив нижнюю губу, — больше всего на меня подействовало то, что полковник занимаемые позиции оставил именно без приказа, самовольно… Хотя, как доводилось читать в «Русском вестнике», опять же некто из Раевских в новом романе Льва Толстого, «Анна Каренина», представлен весьма достойно...»

Тем временем другому участнику нелицеприятного разговора, состоявшегося в штабной столовой во время обеда, полковнику Раевскому, не хотелось погружаться в самоанализ, а нужно было как-то погасить обиду и оскорбление, содержавшееся в словах генерала. Он вскочил на коня и помчался мимо складов к холму через луг и вспаханное поле, от скачки по которому конь быстро начал уставать и потеть. Но лишь когда скакун окончательно изнемог, твердохарактерный полковник остановился и позволил себе собраться с мыслями, обдумать обидные слова генерала — чтобы простить или, как требуют правила высшего общества, бросить обидчику перчатку.

Прежде всего ему вспомнилось то, как он, тридцатилетний, получил чин полковника и был направлен в Ташкент, а там основательно изучил рельеф окрестностей города и убедился в правоте своего суждения, что генерал Черняев провел ташкентскую операцию благодаря именно атаке, причем не той, которая по всем тактико-стратегическим условиям приносит победу. Только удача спасла тогда Черняева от поражения. Но он это свое мнение не излагал никогда никому, кроме генерала Дмитрия Алексеевича Милютина, нынешнего военного министра России. Да и то в частной дружеской беседе.

Собственно, Раевский еще в то время, когда выполнял разведывательное задание на сербских землях, посещал Вышеград и Боснию, с целью определить возможности восстания и изгнания турок с Балкан, все свои сведения передавал Милютину как военному министру, обходя Славянский комитет в Одессе, через который впоследствии он попал на сербско-турецкую войну. Понятно, Черняева с его выводами относительно атаки Милютин не знакомил, однако известно также, что генерал Черняев первый

раз на пенсию был отправлен в сорок семь лет, еще полный сил и возможностей, причем как раз в ходе реформ, которые проводились Милютиным. Тогда ему не помогло и прозвище «Лев Ташкентский». Понятно также, что этого Черняев не может никому простить, и у него есть шанс использовать отступление полковника Раевского как факт, свидетельствующий отнюдь не о достоинствах армии, во главе которой находится министр Милютин. Так что полковник должен понимать обоснованность нелицеприятного суждения генерала по поводу «милютинской армии», а в то же время честь этой армии нужно и защищать. Соответственно, поскольку перчатки он не бросил, то следует, пожалуй, простить генералу его резкость, а Милютину о происшествии не сообщать.

Министр уже оценил его способность отбирать сведения. И этот факт останется втоптанным копытами коня в сербскую землю, по которой он долго скакал, размышляя, как поступить. Еще бы только освободиться от обиды и досады, причиненных словами, что он не достоин как деда своего, так и брата, который является личным адъютантом императора Александра Второго.

Да, это непросто. Он, в тридцать лет удостоившийся чина полковника, имел университетское математическое образование и на ташкентской земле в периоды затишья изучал солнцелюбивые растения — виноград и хлопок, чтобы впоследствии выращивать их в России, а также много времени уделял книгам, все-таки был отнюдь не безразличен к вопросу о чести воина, тем более офицера. И вот теперь, в соответствии с кодексом чести, он должен генералу Черняеву — Михаилу Григорьевичу, как чаще его называл, — не просто сказать: «Это неправда!», но и доказать это. Тогда генерал, если он действительно готов во всем разобраться, пусть разберется и раскается. А он, Раевский, готов доказать это смертью за воинскую честь, в героической атаке проявив мужество — как проявляли и его дед, и сам Черняев, генералы.

И такое произойдет, будет проявлен истинный героизм, во славу Сербии, на помощь которой прибыли и Черняев, и Раевский. И оба они за краткое время войдут в историю этой страны.

Черняев живым возвратится в родной белорусский край, на Могилевщину. Но до этого, раскаявшись, что в свое время сказал Раевскому обидные слова, повесит на грудь его сербский орден, рядом с имевшимися уже двумя русскими, и таким образом окончательно избавит от чувства оскорбленности и униженности.

А предшествовало этому следующее. Получив донесение, что в сербском отряде на Горнем Адровце сложилась критическая ситуация, генерал попросил полковника отправиться туда и принять на себя командование. Нужно было задержать турок хотя бы на час, пока прибудет подкрепление. «С великим удовольствием! Прощайте, Михаил Григорьевич!» — громко ответил на это Раевский, выскочил из штаба, подтянул седло на знавшем уже окрестности коне, чтобы понестись стремительным галопом в сторону сербских позиций. «Вот, Бог милостив — послал возможность, которой я давно ждал. Теперь пусть судят, достоин ли я быть наследником Раевских, а также пусть оценят, насколько плоха «милютинская» армия, — тихо поделился он своими соображениями с оказавшимся рядом штабным врачом, сербом Владаном Джорджевичем, и пришпорил своего вороного, превращаясь вместе с ним в летящую по ветру ленту. Строгая воинская честь понесла его к адровацкой высоте Сухота.

За короткое время полковнику Раевскому удалось собрать и перегруппировать сербские силы вместе с небольшим резервом. После этого он поднялся на высшую точку, чтобы тщательно осмотреть позиции неприятеля и определиться, как быть дальше. Но таким образом полковник стал при-

тягательной мишенью для вражеских стрелков, один из которых и поразил эту мишень.

Генерал Черняев, получив донесение о действиях Раевского, за голову схватился: ведь потерять такого офицера значило не меньше, чем потерять Адровац. «Хотя судьбы таких героев определяют не генералы и не военные министры… Определяет Сам Бог…» — рассудил генерал и решил лично отправиться к месту разгоревшегося боя, чтобы завершить то, что начал герой-полковник.

Теперь — после второй отставки, после многих скитаний и путешествий по Балканам и Европе, после того, как ради утверждения «славянского дела» основан журнал «Русский мир», — «Лев Ташкентский» находился в своем имении на Могилевщине и в полностью мирной обстановке читал роман Льва Толстого «Анна Каренина». Ему, понятно, ближе всего были те сюжетные линии, которые отражали события войны и воинские подвиги. К тому же хотелось еще раз ответить себе на волновавшие вопросы: «Может, все-таки, это он указал Раевскому путь в ад, подвергнув его, тридцатишестилетнего, смертельной опасности? Или, может, сам Раевский оказался излишне безоглядным, когда выскочил на высоту без адъютанта? Да, он был храбрым, хотел подать пример младшим офицерам, среди которых находился и будущий воевода сербский Радомир Путник? Так или иначе, полковник Раевский удерживал высоту в два раза дольше, нежели изначально приказывалось… И конь его был убит, что свидетельствует не о личной отваге-бесшабашности офицера, а о том, что он действительно дал образец поведения для Четвертого сербского корпуса и для всей армии…»

Отставной генерал знает, что герой толстовского романа Вронский — это зеркальное отражение Раевского, с которым он виделся за два часа до его смерти. А помимо всего, вспомнилось и услышанное от Тодоровича: тот спросил у полковника, имеет ли он сербское гражданство, коль сражается за эту страну; а полковник ответил, что для смерти не нужны никакие рекомендации — мол, Толстой в этом прав. Всплывает также в памяти картина, как плакали женщины Белграда, когда по Дунаю отправляли тело погибшего Раевского…

«Да, останки его должны были покоиться рядом с дедом и остальными предками. Мир праху его в фамильном склепе, в селе Разумовском! Конечно, я тогда сильно обидел его, упомянув деда и брата… Но Коля, находясь рядом с дедом-генералом Николаем Раевским, пожалуй, простит мне это…» — тихо, так что слышалось только на уровне бороды его, разговаривал сам с собою семидесятилетний Черняев, которому не суждено дожить до восьмидесяти. А когда засыпал, перебирал прожитые годы, богатые событиями, которые связаны с различными местами, от Чимкента до Могилевщины, и каждому из них находил выверенное временем объяснение... А его время истекало. Через пару лет ему предстояло уйти в лучший мир.

Возможно, в памяти отставного генерала Черняева тогда возникла еще какая-то картина. И если так, то касалась она части души, оставленной на полях сражения в Сербии, куда собрались было многие добровольцы — великороссы, белорусы, украинцы, болгары, даже итальянцы и французы. Но об этом мы никогда не узнаем, потому что мысли богатого талантами «ташкентского льва» носились по всему свету, словно летящая по ветру лента. Однако на адровацкой высоте Сухота они должны были задержаться, чтобы отдать почести всем, кто эту высоту защищал, непременно включая полковника Раевского, по воле Божьей занесенного в анналы истории братской страны… Там, на земле святого Саввы, с юго-восточной стороны от алтаря церкви святого Романа, в монастыре Прасковача, говорят, погребено сердце этого воина. Могила обозначена только традиционным право-

славным крестом. Но коль похоронено сердце воина одного, то сколько еще сердец соратников вместе с ним, знает только Бог, во имя Которого шла тогда война… Потому туда сейчас устремляются мысли отставного генерала. Там обрели покой души многих… Об этом думал генерал и в последние минуты своей жизни, когда туман в голове дополнился туманом над белорусской равниной и унес в дальнюю мглу. Тогда липы и березы шумели в тон херувимской песне, которую понимают лишь души бодрствующие и путешествующие, направляющиеся к своей последней цели.

Ведомые известным, легко узнаваемым запахом липового цвета, в эту ночь многие души на легких крыльях из великорусских, белорусских и украинских равнин устремились в Горний Адровац, им знакомый. А там их встречала тем же запахом липового цвета церковь, возведенная в знак благодарности за соучастие Марией Раевской, от имени семьи Раевских. Души поклонились теням упокоенных, вознеслись высоко над Моравско-Алексинацкой котловиной, до самого неба, чтобы одновременно посмотреть на все липы — в Адровце, в Разумовском и под Могилевом, чтобы свести это в одно цветение, одно для всех, и чтобы оно длилось столько же, сколько может течь могучий Днепр, то есть во веки веков.

Париж, 24 марта 2011 года.

Ровно 12 лет назад велись бомбардировки Югославии; сейчас бомбардировкам подвергаются также другие страны; а липы цветут — и пахнут.

Перевод с сербского Ивана Чароты.

Современная сербская поэзия

Стояние перед правдой

МИЛОРАД ДЖУРИЧ

Предки

Мыслю, как лиса — хвостом,
мыслю, как вода — дном,

мыслю, как огонь — горением,
мыслю, как земля — затвердением,

мыслю, как жизнь — смертями,
мыслю, как волк — зубами.

Так и предки мои мыслили.

Шкатулочка

Это ведь иллюзия —
Небольшая шкатулочка.

Изо всей силы
стараюсь ее открыть.

А крышка набухла.

Но вдруг возникает
иное, большое пространство.

Это иллюзия.
А может, и нет.

Смерти

Кроме тебя, там нет ничего —
ни звука, ни знака,
ни стремления, ни сомнения…

Ты — вечная капля росы,
плод моего воображения.

Я, землю оставив,
уйду в придуманный мир.

Зароют меня на холме,
где воздух чистый
и растерянные птицы…

МИРЬЯНА БУЛАТОВИЧ

Как бы я представилась инопланетянину

— Родом я из большого народа,
который живет в непризнанной части Европы
и сам этому способствует.
Специалисты по числам убеждают
народ мой большой, что он мал, всеми способами:
обидными словами, угрозами, бомбами.

И мой неисчислимый народ
все это как-то выдерживает.

Даже когда разделили, располовинили,
не верит никак, что мал он.

И я не верю.

— А Вы, господин инопланетный?
Верите ли, что каким-то образом
малого народа представитель
смог бы Вас в бесконечности найти?

— Да были какие-то здесь …
Только я их и знать не знаю, —
ответил инопланетянин
с заметным русским акцентом.

Вот, вся земля переходит на английский,
а все небо по-русски говорит.

Зарубежным писателям

Берегитесь наших читателей!
Они хитры: на встречи приходят
со своими книгами в карманах.
Терпят ваши стихи,
чтобы тут же свои прочитать.

Спрашиваю из уголка:
— А на кого же рассчитывается
все это — и ваше, и наше,
когда миновал уже век
тех, кто чтения жаждет.

Жажда утолена.
Мы словами пресыщены
и не запоминаем ничего;
только ищем кого-то,
кто бы мог помнить нас.

Чтобы хранил в своих
Чужестранных воспоминаниях.

ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЧ ЦИ

И видел я книгу

И видел я книгу летящую:
в ней перечислены все птицы,
рыбы, растения, насекомые;
имя ей — хранитель слов.

И видел я книгу летящую:
в ней записаны все голоса,
все звуки от плеска волн до грома:
имя ей — гармония Вселенной.

И видел я книгу летящую:
в ней слова художников,
писателей, исследователей;
имя ей — стояние перед правдой.

И видел я книгу летящую:
в ней имена всех убийц,
насильников, сторонников войн;
имя ей — безверие и несправедливость.

Имя ей печаль моя,
имя ей — боль неизреченная,
полное беспамятство,
превращение в ничтожество.

Федор Достоевский, или Искушение Сатаны

Стоишь на краю, думаешь:
внизу пропасть,
внизу смерть.

А ты — воплощенье мечты,
красота и любовь,
незамутненный исток.

Уму твоему
и могуществу
нет пределов.

Космоса холод,
вселенская тьма
не сдержат полет твой.

Светом и мраком,
сущность дающим,
ты сам управляешь.

Хлопни в ладоши,
ударь мраком свет,
закрой иль открой глаза.

Скажи: «Я хочу», —
и будешь повелевать
людей легионами.

Дано все тебе:
в пылу творческом
одолевай преграды.

Творчества красота —
от красоты твоей
и мира в твоих руках.

Разори старый мир,
новый построй,
затем разрушь и его.

Стоишь на краю,
видишь пропасть;
знай: это врата свободы.

АННА ДУДАШ

Хлеб

Хлеб наш насущный
убереги
от змея стоглавого,
от молнии, от потопа,
от осквернителей.

Сохрани
для голодных ртов детей
и любви чистой сеятелей,
для святой трапезы…

Да будет
голодающим насыщение
и через Тело Христово
кающимся прощение.

Для того,
чтобы свет утверждался,
чистый источник не замутнялся,
всякий колос наливался.

Преодоление бренности

Каждую весну
зеленеет крона явора,
цветистые ветви детства
ароматом пьянят
и вгляд затуманивают.

Каждую весну
все выше головы они
к небесам поднимают,
тогда как я допиваю
последние капли жизни.

Все ниже и ниже
к земле голову склоняю,
одни лишь мечты,
сотканные из любви, —
неувядшими остались.

Только они
преодолеть бренность способны.

РАДОМИР АНДРИЧ

Упрятанный слиток

Прежде чем уйти от клада,
глубоко зарытого в сказку,
белобородый старец на язык
пробует слиток, упрятанный
среди картин, не нужных глазам,
которые смотрят веками на рощу
за дверями, недоступными для тех,
кто собрал уже доказательства
о присутствии беспокойных гласных
в жилище тайном,
хотя это не что иное, как отзвук
некой иной реальности,
отражение новых в путь зовов.

Тени

Картины Троянской войны,
еще продолжающейся, —

это же тени героев,
ставших бессмертными
в заточении слепых глаз Гомера,

где два параллельных мира
ведут борьбу, соперничая,
кто больше крови пролил
для неоспоримых доказательств,
что существует мир лишь один.

РАША ПЕРИЧ

Петух

Любише Джидичу

Пришел к колоде человек
с петухом в одной руке,
а с топором в другой,
чтобы лезвие омочить
да колоду окропить.

Закукарекал Заревестник,
о, так закукарекал —
закричал…

То ль
о заре как всегда оповещая,
то ль о смерти своей…

Или, Боже, Тебя призывая,
чтобы видел улыбку
землянина Своего,
идущего рубить голову.

И отблеск солнца
на лезвии топора... Боже наш.

Пир

И вернулся поэт в свой сад,
под свою липу,
чтобы устроить пир душе своей,
так же, как его небесные покровители
пир себе устраивают именно здесь,
где также предки его друг другу
рассказывали косовские предания.

И нашел поэт в своем саду
свое детство,
и здесь же увидел Божью справедливость:
что у каждого цветка своя пчела,
и у каждой пчелы свой цветок,
и что язык — мёд,
и что у Бога есть свой поэт.

ДРАГАН ЛАКИЧЕВИЧ

* * *

Слова — как люди:
Ни одно нельзя презирать.
Никогда не знаешь, какое чего стоит,
Которым можно спасти жизнь,
А которым вызвать смерть.

Там, где не хватает многого,
Спрятано большое богатство.
Есть где-то горшок слов,
А в нем и то единственное,
Прежде никем не записанное,
Но оно может высказать все.

Душа, по сути, — собрание слов,
Больших и меньших,
Нежных и грубых.

Человек таков, каковы слова его.
Слова, собственно, представляют
Состав крови.
И по ним видно, чем кто болен.

То, что сказал ты, не прошло.
То, что скажешь, будет существовать
Неведомо где и неведомо сколько.

Слова видимы и невидимы,
Красноречивы и молчаливы:
На юбилеях и на поминках.
Иного богатства такого нет.

ЛЮБИНКО ЕЛИЧ

У дороги

Белобородый старец
у неведомой дороги
стоит опершись
на свои бессчетные
годы и показывает
посохом направление
где смерть заходит
во мглу и где никто
уже только однажды
не умирает

Перевод с сербского Ивана Чароты.

К 425-летию издания Статута
Великого Княжества Литовского

ИВАН САВЕРЧЕНКО

Канцлер

Историческое эссе

I

Лев Сапега — звезда первой величины на небосклоне белорусской истории и культуры. Он родился 4 апреля 1557 года в деревне Островно, на Витебщине. Именно там, в живописном уголке Беларуси, на холме возле чудесного озера, стоял некогда семейный дворец древнего магнатского рода Сапегов.

Начальное образование Лев Сапега получил в Несвижской протестантской школе. В 13-летнем возрасте он поступил в Лейпцигский университет, где несколько лет изучал право. По возвращении на родину образованный юноша попал на службу к великому князю Стефану Баторию. В 1579—1582 годах Лев Сапега во главе гусарской хоругви воевал под Великими Луками, Псковом и Заволочем с московскими войсками. Вероятно, за военные заслуги 4 февраля 1580 года Лев Сапега получил весьма престижную и чрезвычайно перспективную в карьерном плане должность *секретаря* Великого Княжества Литовского.

В 1581 году Лев Сапега занял новую должность — *высшего писаря*. С этого момента ему становятся известными практически все государственные тайны. Государственная служба на всю жизнь стала его основной заботой и судьбой. Лев Сапега приложил немало усилий, чтобы усовершенствовать деятельность государственных институтов, поднять авторитет судебной и исполнительной власти страны. Уже в 1581 году он способствовал образованию Трибунала — высшего апелляционного суда Княжества. Судя по всему, сведущий в юриспруденции писарь лично подготовил его правовое обоснование с одноименным названием «Трибунал» (Вильно, 1581).

II

Осенью 1583 года, когда Лев Сапега находился в Кракове при королевском дворе, орды Османской империи напали на южные земли федерации. «От господина старосты каменецкого, — сообщал Лев Сапега в Вильно Христофору Радзивиллу, — примчался гонец с известием, что турки переправились через Дунай и стали лагерем возле Каменца».

Великое Княжество Литовское и Польша начали срочную подготовку к обороне. Чтобы оградить страну от опасности с Востока на время войны с южным врагом, правительство ВКЛ приняло решение срочно подписать мир с Московским княжеством. Было решено направить авторитетное посольство к Ивану IV Грозному.

Именно Лев Сапега, которому на тот момент не исполнилось и 27 лет, возглавил ответственную дипломатическую миссию в Москву. Ее цель состояла в том, чтобы заключить мир с восточным соседом. Посольская миссия на восток оказалась, однако, совсем не легким делом.

Делегация выехала из Вильно весной 1584 года. В состав посольской миссии ВКЛ входило 275 человек. Кроме Льва Сапеги и пяти шляхтичей в Москву направлялись 29 белорусских купцов, которые на 177 телегах везли свои товары.

По тогдашнему обычаю, Лев Сапега вез ценные подарки, или «поминки», монарху Московского княжества: породистых лошадей, украшенную золотом сбрую, пистоли, серебряные кубки, отделанную карету и прочее богатство.

В дороге, под Можайском, послов встретил гонец из Москвы и передал внезапный и непонятный приказ: остановиться и ждать дальнейших распоряжений. Причину задержки Льву Сапеге не объяснили. К посольству приставили охрану и не позволяли ничего сообщать в Вильно.

Постепенно среди послов росла тревога. Ширились различные противоречивые слухи. Все волновались, чувствуя, что случилось что-то чрезвычайное. Послов держали в неведении. Наконец, один из охранников случайно проговорился о смерти монарха Ивана IV. Через некоторое время в Можайск Льву Сапеге пришел новый приказ: ехать дальше в Москву.

Около Москвы-реки посольство встретили два царских пристава с несколькими сотнями всадников и официально сообщили Сапеге о смерти 28 марта 1584 года их монарха и о восхождении на московский престол его сына — Федора Ивановича, благословленного на царство отцом перед уходом в иной мир.

После приезда в Москву Льва Сапегу проводили к посольской резиденции, где несколько дней, как преступника, держали под стражей. Об условиях, в которых глава посольства ВКЛ оказался в Москве, он сообщал 26 апреля 1584 года в своем «Сообщении к Христофору Радзивиллу, подканцлеру и польному гетману». Вот лишь несколько строк из него: «Те приставы сопровождали меня до посольского двора. Там меня скрывали, как какого-то узника: все дыры в заборе позакрывали, вокруг двора выставили стражников, которые охраняли меня день и ночь. Все это совсем не удивительно, ведь, как я слышал, их новый монарх имеет не много ума и к тому же часто болеет тяжелой болезнью. Между московскими дворянами нет согласия и взаимопонимания, они постоянно спорят и выясняют между собой, кто из них важнее...»

Первая официальная аудиенция в Кремле состоялась только 12 апреля 1584 года. Лев Сапега получил возможность выразить недовольство отношением к нему. Но на протесты и возмущения посла никто не обратил особого внимания.

Впечатления Льва Сапеги от встреч с московскими боярами были не из лучших. Он мог наблюдать нравы, царившие в Кремле, и поведение бояр, между которыми, с восхождением на престол нового правителя, еще более возросла конкуренция и взаимная неприязнь. Лев Сапега в своем «Сообщении...» отмечал: «12 апреля по новому календарю я был приглашен в замок на встречу с думскими боярами великого князя московского. Они должны были встретиться со мной в полном составе. Но между ними начались препирания из-за мест. Перед самым моим приездом они едва ли не перерезали друг друга. Из всех думских бояр осталось только четыре: князь Федор Михайлович Трубецкой, Федор Борисович Годунов, Андрей и Василий Щелкаловы. С ними я встречался и просил их о том, чтобы они отпустили меня обратно к его королевской милости, поскольку тот князь, к которому меня направляли, умер».

Действительно, с самого начала переговоров Лев Сапега оказался в сложном положении, поскольку все грамоты и письма, подписанные Стефаном Баторием и скрепленные печатями Короны и Княжества, адресовались Ивану IV. Теперь же, после его внезапной смерти, все необходимо было переделать и переписать заново. Это, конечно, требовало времени. Возникла сложная и даже драматическая ситуация для Льва Сапеги. Надежды на скорое подписание мирного соглашения рушились. Хуже того, возникла угроза полного срыва переговоров. Но возвращаться ни с чем, не подписав соглашение с Москвой, когда над

Отечеством нависла страшная беда, Лев Сапега не мог. Он чувствовал личную ответственность за судьбу страны, прекрасно осознавая, что от результатов его переговоров будет зависеть многое.

Критическая ситуация требовала от главы посольства исключительно осторожных шагов. Поэтому, когда московские бояре начали ультимативно требовать от него «справить посольство» к царю Федору, Лев Сапега был вынужден отказаться от встречи с ним. Он настойчиво добивался разрешения направить посыльных к великому князю и королю за новыми распоряжениями и грамотами. После долгой волокиты, хотя и без особой охоты, бояре все же дали ему возможность направить посыльных в ВКЛ. Начались долгие дни ожидания, тревожные и опасные.

В Москве в это время произошли беспорядки, о чем Лев Сапега подробно сообщал в Вильно: «Когда я уехал из замка, а бояре тоже отправились обедать к своим дворцам, Бельский со стрельцами окружил замок. Бельский отправился к великому князю и потребовал от него, чтобы он вернул опричников и все порядки, которые существовали во времена предыдущего князя.

Сведения о поступке Бельского дошли до бояр. Они быстро вернулись к глав-ному замку. Но стрельцы не пускали их в замок. Тогда слуги Мстиславского и Никиты Романовича начали драку со стрельцами, но стрельцы побили их. Вскоре все остальные бояре с их людьми объединились и вместе начали пробиваться к замку. Стрельцы стреляли по ним, убили около 20 человек и очень многих ранили.

Бояре с их людьми окружили замок, подготовили огромную пушку, чтобы стрелять по замку. Но оттуда выбежал Андрей Щелкалов и отговорил их от штурма замка.

Позже, когда людей спросили от имени великого князя, почему они начали насилие, они объяснили, что Бельский уничтожил князя Мстиславского и князя Шуйского, а также других бояр поубивал, а сам присягает на верность великому князю.

Бельского удалили из Думы. Его хотят сослать в Казань. Против Бельского восстали все. Они в один голос заявили, что готовы заколоть или зарезать его ножами.

В Москве опасаются, что в такое время против них выступят татары. Но они больше всего боятся его милости нашего короля».

По возвращении посыльных с новыми грамотами долгожданные переговоры возобновились. Лев Сапега встретился с царем Федором. Главное для него на тот момент было — убедить каким-то образом московского монарха и бояр в необходимости и взаимной пользе мира. Чтобы увеличить свои шансы на успех, Лев Сапега использовал старое, но чрезвычайно действенное в дипломатии средство. Он намеренно сообщил царю, что турки якобы готовятся к войне с Московией и султан ищет поддержки у ВКЛ. Доводы Льва Сапеги возымели действие и принесли желанные плоды. Через несколько дней, несмотря на нерешенные вопросы вокруг Ливонской земли, между Речью Посполитой и Москвой был подписан десятилетний мир.

Кроме соглашения о мире Лев Сапега добился от Федора Ивановича освобождения из плена, без всякого выкупа, около 900 белорусов. Нетрудно представить радость великого посла, так как чуть ранее он просил членов правительства, чтобы они обратились к монарху за разрешением поднять на переговорах вопрос об освобождении пленных соотечественников: «Любезно прошу вас обратиться к королю, чтобы он позволил мне позаботиться обо всех них. Действительно, надо над ними сжалиться. Я каждый день обливаюсь слезами, когда слышу их стоны, хотя и далеко от них стою. Всех заключенных здесь в Москве насчитывается 614 человек, а в других замках — еще около трехсот».

Неслыханный успех посольства поднял авторитет Льва Сапеги в глазах соотечественников. За успешное завершение переговоров он получил щедрую

награду — *Слонимское староство*. Затем, 2 февраля 1585 года, совершенно справедливо и заслуженно он занял влиятельную должность *подканцлера* Великого Княжества Литовского.

III

Новая государственная должность открыла перед Львом Сапегой широкие возможности по укреплению Великого Княжества, сохранению его политического и экономического суверенитета. Однако на этом пути подканцлера ждали серьезные испытания.

Уже в марте 1585 года польские магнаты начали получать королевские привилегии на земли Великого Княжества Литовского, завоеванные во время баталий с Московским государством. Возмущенный действиями наглых соседей и, как все больше убеждался Лев Сапега, не слишком надежных и искренних союзников, он с гневом осуждал безосновательные претензии поляков и доказывал абсолютное право Великого Княжества на приобретенные территории. «С тех пор как началась война за Инфлянты, — писал подканцлер, — поляки и выеденного яйца не дали нам в помощь. А сейчас, когда все идет к концу, то господа поляки стремятся овладеть Великими Луками, Заволочем, Холмом... Они хотят оттолкнуть нас не только от завоеванного нами сейчас, но и от того, что мы держали раньше».

Как видно, Лев Сапега был далек от того, чтобы защищать интересы Польши. Наоборот, заботясь о белорусском народе, расширяя территорию Княжества, укрепляя его границы, подканцлер каждый раз сдерживал порывы поляков захватить великокняжеские земли. Правда, и во время конфликтов с поляками в 1585 году Лев Сапега, занимаясь международными делами, учитывая конкретные исторические обстоятельства, нередко выступал как представитель всей федерации. Но он при этом всегда исходил прежде всего из интересов Великого Княжества Литовского, примеряя важнейшие решения с политическими целями своего государства, согласовывая их с устремлениями белорусской знати. Разнообразные исторические документы, связанные с деятельностью Льва Сапеги, позволяют однозначно утверждать, что во всей его многолетней политической деятельности не было ни одного случая, чтобы интересы Польши, или даже всей федерации, он ставил выше собственно великокняжеских.

Лев Сапега.

Должность подканцлера требовала от Льва Сапеги ежедневного анализа не только внутреннего положения Княжества, но и международных отношений. Каждый сдвиг, каждый поворот в политике европейских и ближайших азиатских стран, естественно, требовал соответствующих шагов от Великого Княжества Литовского.

Так, в 1585 году подканцлера очень насторожили сведения, поступившие в Великую Канцелярию, о намерении Максимилиана, брата императора Священной Римской империи Рудольфа, занять московский престол вместо Федора Ивановича. Союз Священной Римской империи с Московией ничего хорошего не сулил Великому Княжеству Литовскому.

Чтобы помешать новому опасному для Отечества альянсу, Лев Сапега немедленно подготовил и направил в 1585 году в Москву посольство Михаила Гарабурды, который, переняв дипломатический опыт подканцлера, смог убедить московских бояр в нецелесообразности единения с католическим миром.

1 сентября 1586 года в личной жизни Льва Сапеги произошли перемены. Он женился на Дороте Фирлиевне, которая овдовела после смерти мужа князя Стефана Зборажаского. Материальное положение подканцлера в это время, наверное, выглядело не слишком хорошо. Чтобы сыграть свадьбу, он вынужден был продать одно из своих имений за 500 коп грошей. Кстати, документы судебного дела Льва Сапеги с панами Горностаем и Цехановецким за 1586 год, внесенные в книги Метрики Великого Княжества, также свидетельствуют о трудностях в его денежных делах.

Женившись на вдове, обладательнице великих богатств, подканцлер существенно увеличил свой капитал. Однако нельзя думать, что брак Льва Сапеги и Дороты Фирлиевны — результат меркантильного расчета подканцлера. Через всю недолгую супружескую жизнь Лев Сапега и Дорота Фирлиевна пронесли трепетное и чистое чувство взаимной любви, несмотря на сплетни, что постоянно распускали завистники их семейного счастья.

IV

После неожиданной смерти 12 декабря 1586 года в Гродно Стефана Батория (согласно исторической легенде, отравленного кем-то из его врагов) для Льва Сапеги начался почти двухлетний период испытаний.

Из-за отсутствия монарха в ВКЛ и Польше возник острый политический кризис. Конвокационный (предвыборный) вальный сейм, созванный 1 февраля 1587 года, засвидетельствовал, что федерацию ждут новые беспорядки и непримиримая борьба между различными шляхетскими и магнатскими группировками.

Свою задачу во время избирательной кампании подканцлер видел, прежде всего, в том, чтобы защитить интересы Княжества и, невзирая на обычные для таких моментов всевластие и анархию, добиться возвышения Отечества. И он, как показали более поздние события, достиг поставленной цели. Прежде всего, благодаря продуманным действиям, невероятной выдержке, политической предусмотрительности и аналитическому уму.

Избрание монарха европейской страны в те времена обычно не было только внутренним делом государства. Почти всегда это событие оказывалось в центре всей европейской политики. В ВКЛ и Польше, к тому же, монархический трон был выборный, а не династический, что усложняло и без того непростую ситуацию. Так, после смерти Стефана Батория на федерацию направили свои взгляды Австрия, Швеция и Московское княжество. Вскоре объявились и главные претенденты на королевский и великокняжеский престол: австрийский эрцгерцог Максимилиан, московский царь Федор Иванович и представитель династии Ягеллонов по женской линии — Сигизмунд III Ваза, которые начали искать сторонников среди шляхты ВКЛ и Польши.

К весне 1587 года ориентация различных политических сил ВКЛ и Польши обозначилась довольно определенно. Могущественные польские паны Зборовские поддерживали кандидатуру Максимилиана. За Сигизмунда, сына шведского короля Иоанна III и Екатерины из Ягеллонов, внука знаменитого Густава Вазы,

стояла «Черная Рада» Замойских. Королева Анна, вдова Стефана Батория, также считала своего племянника Сигизмунда III Вазу наилучшей кандидатурой на королевский и великокняжеский престол. Паны-Рада Великого Княжества Литовского, а вместе с ними и Лев Сапега, предлагали избрать королем и великим князем московского царя Федора Ивановича.

На Элекционном (избирательном) сейме, намеченном на конец июня 1587 года, должна была наступить развязка. Лев Сапега, как и большая часть шляхты Великого Княжества Литовского, делал все, чтобы кандидатура Федора получила большинство голосов. Где-то в январе—феврале он вместе с Федором Скуминым, Христофором Радзивиллом Перуном и Лукашем Мамоничем принимает в Вильно московское посольство во главе с боярином Ржевским, который привез царские грамоты к великокняжеским магнатам с просьбой избрать его монархом ВКЛ и Польши. Обращаясь к Панам-Раде, московский князь призывал их: «Вы бы, Паны-Рада, светские и духовные, посоветовавшись между собой и со всеми своими землями, позаботились бы о добре христианском и нас государем на Корону Польскую и Великое Княжество пожелали бы...»

В Москве прекрасно понимали нежелательные последствия избрания королем и великим князем Сигизмунда III Вазы или Максимилиана, что по логике вещей создавало условия для военно-политического союза ВКЛ и Польши со Швецией или Австрией. Именно чтобы воспрепятствовать образованию новых опасных для Московского княжества государственных альянсов, московский монарх соглашался, особенно в начале, на все условия магнатов Великого Княжества Литовского.

Со своей стороны Лев Сапега, стремясь использовать удобный момент для усиления Княжества, пообещал Федору через его послов всяческую поддержку в дальнейшем. «Мы все хотим, — передавал Федор Скумин мнение Панов-Рады московским послам, — чтобы нам с вами быть вместе на века, чтобы государь ваш правил и на наших землях».

В апреле 1587 года по инициативе Льва Сапеги в Москву отправляется посольство князя Огинского и Черниковского, чтобы еще раз предварительно обсудить условия, на которых Княжество соглашалось на избрание Федора Ивановича великим князем и королем. С посольством подканцлер передал царю приглашение на Избирательный вальный сейм. Однако тот, зная, что выборы в ВКЛ и Польше, как правило, заканчивались драками, а то и настоящими войнами, сам ехать не решился, а направил в Варшаву своих новых послов: боярина Стефана Васильевича Годунова, князя Федора Михайловича Троекурова и дьяка Василия Щелкалова.

4 августа 1587 года на Варшавском избирательном сейме, куда Лев Сапега прибыл с собственной вооруженной хоругвью (как, кстати, и все остальные, кто готовился отстаивать своих кандидатов), состоялась его встреча с московскими послами, которых он вскоре пригласил для беседы со всем «рыцарским кругом». Во время этой встречи царские послы проявили полную инфантильность и своими бессмысленными действиями оттолкнули многих сторонников кандидатуры Федора, среди которых, кстати, было немало и поляков. Приученные слепо, по-холопски исполнять волю своего господина, бояре, кроме того, еще и самонадеянно не соглашались почти со всеми условиями, на которых настаивала другая сторона.

Даже далеко не принципиальное требование шляхты, чтобы царь после его избрания королем и великим князем через десять недель, а в случае военной необходимости и раньше, приехал в ВКЛ и Польшу, вызвало возражения с их стороны. С традиционной напыщенностью послы отвечали: «В Варшаву царь приедет тогда, когда пожелает». При таком необдуманном поведении послов Федору трудно было рассчитывать на успех. Тем более, что он отказывался дать двести тысяч рублей на выплату долгов и защиту страны, так как другие претенденты, как небезосновательно предполагалось, по завершении выборов начнут доказывать свое право на престол с помощью оружия.

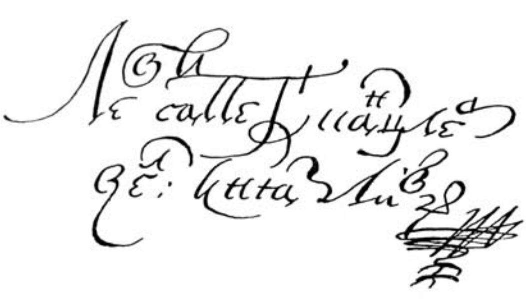
Когда 19 августа 1587 года коронный канцлер Замойский и его единомышленники, наконец, объявили своим претендентом на королевский престол Сигизмунда III Вазу, а Зборовские — эрцгерцога Максимилиана, шляхта Великого Княжества дала еще один шанс Москве. С согласия Льва Сапеги великокняжеские радные паны писали к послам: «Замойские выбрали шведского королевича, Зборовские выбрали брата императора, а мы все — литвины и большая часть поляков, хотим вашего государя. Но задержка только за верою и приездом. Если бы нам был быстро известен приезд вашего господина, мы бы, выбрав его, в то же время выдвинулись бы к Кракову и короны не дали бы ни шведу, ни брату императора».

Последние слова «Послания...» — вовсе не проявление чрезмерной самоуверенности белорусской знати. Великое Княжество Литовское имело достаточно сил, чтобы возвести на престол своего избранника. Убедительным доказательством тому служит и «Протест» против провозглашения Замойскими королем Сигизмунда III Вазы, подписанный 31 октября 1587 года подканцлером Львом Сапегой, трокским воеводой Яном Глебовичем и епископом Бенедиктом Войной. Только нерасторопность московских послов, а может, и действительно, неспособность Федора, свели его шансы к нулю.

Нельзя, однако, не учитывать и еще одной немаловажной детали: усилия самого Льва Сапеги и всех других белорусских панов отнюдь не были направлены на то, чтобы, «оторвавшись от Польши», как писал подканцлер, безоглядно броситься в объятия к московскому царю. Лев Сапега и все радные паны прекрасно осознавали, что угроза с Востока не лучше опасности с Запада. Подканцлер был совсем не простой личностью, жизнь научила его осторожности. Даже чересчур замысловатые ловушки, расставленные его врагами, он обходил, не поранившись, чувствуя козни противников на расстоянии.

Лев Сапега имел достаточно оснований, чтобы очень активно, по крайней мере, вначале, поддерживать кандидатуру московского царя. Логика действий подканцлера, патриота своей Родины, в тех сложных исторических обстоятельствах становится понятной только с учетом основной цели его политической деятельности — стремления к полной независимости Великого Княжества Литовского, его возвышению и процветанию.

Лев Сапега, бесспорно, хорошо знал о возможных негативных последствиях объединения ВКЛ с Московским государством. Но, оставаясь политиком, он видел и исключительность положения, возникшего в ВКЛ. Глубоко преданный идее создания сильного государства, подканцлер и в данной ситуации работал именно на нее. Будучи хорошо осведомленным в «московском вопросе» и зная реальные обстоятельства гораздо лучше многих современников, он рассчитывал на отсутствие у царя Федора возможностей, в случае избрания его великим князем, заниматься проблемами Великого Княжества Литовского. Кроме того, Лев Сапега, прекрасно осведомленный в психологии власти, резонно полагал, что Федор никогда, ни при каких обстоятельствах не оставит надежный, наследственный престол в Москве и не рискнет переехать в другую страну. Ибо в Великом Княжестве и Польше ему неизбежно пришлось бы столкнуться со шляхетской демократией, к которой московские монархи, конечно же, вовсе не были приучены. А если бы такое и случилось, то все равно болезненный московский царь, по твердому убеждению подканцлера, не смог бы серьезно влиять на политику белорусского правительства.



Автограф Льва Сапеги.

Да и посол Ржевский, якобы случайно, а на самом деле намеренно

сообщил Панам-Раде: «Вы только выберите себе в государи нашего царя, будьте под его царской рукой, а всем управляйте сами в Короне Польской и Великом Княжестве по своим правам». Эти слова, несомненно, сказанные послом нарочно, не иначе, исходили от самого царя Федора.

Таким образом, согласно планам Льва Сапеги, избрание великим князем московского монарха гарантировало бы Великому Княжеству Литовскому первенство над Польшей, так как терпеть дальше амбициозных польских панов было невозможно, а также охраняло бы государство от опасностей с Востока. За возвышением и военно-политическим усилением Княжества, наверное, наступил бы разрыв союза с Польшей и произошло бы избрание монарха из своего народа.

Ведя переговоры с послами Федора, Лев Сапега вместе с тем внимательно следил за действиями противников и расстановкой политических сил. А когда ситуация обострилась и исторические весы склонились на сторону Сигизмунда III Вазы, то он, проанализировав предварительно все возможные результаты, изменил тактику и отказался от дальнейшей поддержки Федора. Затем подканцлер предложил шведскому королевичу условия, на которых Великое Княжество соглашалось признать Великим князем именно его.

Сигизмунд III Ваза, которому еще предстояло с помощью оружия доказывать свое право на королевский и великокняжеский престол, вынужден был пойти на компромисс, необходимый Льву Сапеге, и принять условия, высказанные белорусскими магнатами и шляхтой.

Поскольку Великое Княжество, по словам самого же Льва Сапеги, всегда существовало inter Scyllam et Charibdim (между Сциллой и Харибдой. — *лат.*), то постоянное лавирование между союзной Польшей и соседним Московским княжеством стало чуть ли не важнейшим элементом во всей его тактике, в борьбе за независимость государства. Стремясь побеждать с наименьшими потерями, Лев Сапега считал необходимым по возможности чаще пользоваться не оружием, а тонкой дипломатией и безошибочным политическим расчетом.

Приняв деятельное участие в драме, начавшейся на Конвокационном, а затем продолжавшейся на Избирательном вальном сейме 1587 года, Лев Сапега талантливо сыграл сложную роль в политическом спектакле выборов монарха и вышел к финальной сцене победителем. Результаты усилий подканцлера и его единомышленников во время событий 1587—1588 годов были весьма значительными. История подтвердила, что только благодаря им Великое Княжество Литовское вышло из сложнейшей ситуации, возникшей в центре европейской политики, без каких-то существенных потерь.

ВКЛ продолжало входить в пока что необходимый для него военно-политический союз с Польшей, но по-прежнему сохраняло все атрибуты государственности. Прежде всего, оставались незыблемыми государственные границы, что охранялись приграничными вооруженными отрядами, существовала разветвленная система местных властей разных уровней, которые подчинялись высшим государственным структурам. Как и ранее, в Великом Княжестве продолжал осуществлять свои полномочия свободный и демократический законодательный орган — Вальный сейм, действовало независимое правительство и свое учреждение иностранных дел — Великая Канцелярия. Были собственные кодексы законов, правозащитные учреждения, воинские формирования, а также свои деньги.

Был и еще один важный результат политической борьбы Льва Сапеги в 1587—1588 годах, что заслуживает более пристального внимания. Как свидетельствуют исторические источники, подканцлер в то время возглавлял сеймовую комиссию, которая работала над новым Статутом, потребность в котором возникла после подписания Люблинской унии 1569 года. Лев Сапега лично редактировал статьи Статута, создав, по сути, новую концепцию независимого государства. Используя непростое положение Сигизмунда III Вазы (а оно с очередным вторжением татар осенью 1587 еще более осложнилось), Лев Сапе-

га добился от него подписания 28 января 1588 года Грамоты, которая подтверждала юридическую силу третьего Статута Великого Княжества Литовского.

Однако после подписания Статут 1588 года не сразу начал использоваться в судебной практике на местах, так как его там попросту не было. Возникла проблема организации немедленного печатания этого свода законов. Надо было, чтобы он как можно быстрее начал действовать. Ведь даже сам Сигизмунд III Ваза, забыв свои обещания и не обращая внимания на статьи только что подписанного им Статута ВКЛ, всячески нарушал права белорусского дворянства, раздавая в качестве подарков полякам земли и должности в ВКЛ. Новый монарх стремился самовольно и единовластно распоряжаться не только на территории Польши, но и Великого Княжества Литовского. При этом он совсем не советовался с подканцлером Львом Сапегой, который находился при его дворе.

Недовольный поведением Сигизмунда III Вазы, Лев Сапега в письме к Христофору Николаю Радзивиллу Перуну от 31 января 1588 года высказывал возмущение претензиями поляков на Ливонские земли: «Победой над Максимилианом очень усилились паны-поляки, начали презрительно относиться к народу литовскому, говоря: если бы эта новость пришла перед окончанием наших дел, то не позволили бы ни наших постулатов, ни покоя, ни половины Ливонской земли».

17 февраля 1588 года в следующем письме к Христофору Радзивиллу Лев Сапега сообщал о неприкрытой неприязни короля и великого князя к гражданам Великого Княжества Литовского. «Король говорил, — писал подканцлер, — что больше полякам обязан, чем литвинам, так как ему якобы поляки оказали большую поддержку, чем литвины. И он не только так говорит, но и делает. Уже поляки у нас больше получают, чем сами литвины. Литвину откажут, а поляку в то же время дадут».

При таком положении дел Лев Сапега чувствовал себя возле короля, по его словам, «как кот на льду», ибо монарх даже не желал принимать подканцлера, не говоря уже о честном и законном решении проблем Великого Княжества Литовского. Терпению Льва Сапеги приходил конец. Уже 7 июня 1588 года он пишет Христофору Радзивиллу: «Не только я, но и весь народ наш унижен королем. Живу здесь pro forma (ради формы; ради приличия. — *лат.*), аудиенции никак не могу добиться, поэтому и не хочу дальше обивать порогов...»

Прошло немногим более месяца, и подканцлер в середине июля 1588 года окончательно решил покинуть королевский двор, не желая терпеть личных оскорблений и настоящего издевательства над правительством Великого Княжества со стороны поляков. «Не хочу, — категорично заявлял он, — быть при дворе только ради формы и слушать оскорбления в адрес нашего правительства, так как правят комора (приближенные фавориты), а чиновники — не нужны».

Наступил критический момент во взаимоотношениях между Польшей и Великим Княжеством Литовским. Отъезд представителей Княжества от королевского двора означал бы прежде всего политический, а затем и неизбежный экономический и военный разрыв между двумя государствами. Но как раз тогда, когда оставалось решить какие-то мелочи, обстоятельства неожиданно изменились: возникла угроза очередной войны с турками и татарами. Поэтому Сигизмунд III Ваза пригласил к себе Льва Сапегу, покаялся за все «недоразумения» и снова поклялся впредь всегда строго выполнять королевские и великокняжеские обязанности, не допуская никаких нарушений законов Великого Княжества Литовского.

Однако обещаниям непоследовательного монарха Лев Сапега уже не верил. Он еще больше убедился, что только издание нового Статута и обязательное исполнение его статей всеми жителями Княжества, а прежде всего великим князем и королем, положит конец беззаконию. Подканцлер ускорил подготовку Статута к печати, пожертвовав на его издание собственные средства. 12 июля 1588 года он писал тогдашнему канцлеру Христофору Николаю Радзивиллу: «Статут новый приказал уже печатать по-русски (по-старобелорусски. — **И. С.**). Хотел

бы его издать и по-польски, однако, если бы пришлось его переводить de verbo ad verbum (слово в слово; буквально), в соответствии с русскими словами и сентенциями, а иначе — не осмелюсь, то получилось бы очень плохо. Охотно услышал бы совет вашей милости. Привилегии также хотел бы издать вместе со Статутом, однако из-за того, что не все они для нас подходящие — у одних начало хорошее, а середина плохая, у других — середина хороша, а начало и конец плохие, — то не могу решить, следует ли выбросить то, что плохое, или нет?»

Наконец летом 1588 года в виленской типографии Мамоничей вышел новый Статут — важнейший правовой кодекс ВКЛ, которому по совершенству и завершенности не было равных во всей Европе. Издание украшал портрет Сигизмунда III Вазы, а также изображение герба Льва Сапеги и панегирик к нему, написанный белорусским поэтом Андреем Рымшей.

Статут 1588 года — крупнейшая политическая победа Льва Сапеги. Данный кодекс законов гарантировал экономическую, политическую и культурную независимость Великого Княжества Литовского. Согласно его статьям, всем иностранцам запрещалось приобретать (покупать или получать в награду от великого князя) земельные наделы, замки и поместья, а также государственные и духовные должности на всей территории Великого Княжества.

В 12-й статье третьего раздела существенно ограничивались права монарха. «Также мы, монарх, обещаем и клянемся... — говорилось в нем, — что в том государстве, Великом Княжестве Литовском, и по всем землям, которые принадлежат ему, не будем давать во владение никаким чужеземцам и иностранцам духовных и светских должностей, замков, поместий, земель, староств, должностей земских и придворных. Мы и потомки наши, великие князья литовские, обязаны давать все это только литвинам, жемайтинам и русинам, уроженцам Великого Княжества Литовского и тех земель, которые ему принадлежат...» Таким образом, ставился заслон от проникновения на земли государства поляков, чем сдерживался процесс полонизации белорусов, начавшийся уже во второй половине XVI века.

Все вопросы внутренней жизни Великого Княжества Литовского, в соответствии с новым законодательством, решались теперь самостоятельно. Высшим законодательным органом считался Вальный сейм, местом проведения которого назначался Слоним.

В Статуте 1588 Лев Сапега зафиксировал, как одно из коренных требований, статус старобелорусского языка на всей территории государства. «А писарь земский, — подчеркивалось в первой статье четвертого раздела Статута, — должен по-русски, буквами и словами белорусскими все письма, выписки и повестки писать, а не каким другим языком и словами».

Главные принципы подготовленного Львом Сапегой кодекса законов, такие как презумпция невиновности, государственный и национально-культурный суверенитет, религиозная толерантность и другие, были особенно прогрессивные для того времени. Они и по сей день выступают как принципиально важные положения гражданских кодексов многих демократических стран мира.

В качестве предисловия к печатному Статуту 1588 года Лев Сапега поместил два собственных произведения: «Благодарность Сигизмунду Третьему, великому князю литовскому, русскому, прусскому, жемайтскому, мазовецкому и инфлянтскому» и «Обращение ко всем сословиям Великого Княжества Литовского».

В них подканцлер выступил в защиту концепции правового государства, суть которого в том, чтобы в стране царило не своевластие монархов, а закон, порядок и справедливость. Он писал: «Для порядочного человека нет ничего на свете дороже, чем безопасная жизнь в родном Отечестве, чтобы его доброй славы никто не оскорблял, телесному здоровью и имуществу не угрожал. Поэтому каждый должен безукоризненно исполнять законы, подчиняться праву, ибо оно обеспечивает мир и покой в государстве. Гражданин не должен молчаливо сносить

оскорбления, насилие и всякие унижения. Цель и смысл всех законов на свете — чтобы каждый человек мог защитить свое доброе имя, сохранить здоровье и имущество, ни в чем не имел никакого ущерба.

Наша свобода, которую мы возносим среди других христианских народов, состоит в том, что мы имеем государя, который правит, не нарушая наших прав. Мы свободно живем в доброй славе, самостоятельно распоряжаемся личной жизнью и собственным имуществом. Если же кто-либо посягнет на названные три вещи и начнет действовать в соответствии с собственным разумением, а не в соответствии с правом, начнет ущемлять наши права и свободы, тот будет не государем нашим, а нарушителем прав и свобод, тираном, стремящимся превратить нас в невольников».

Обращаясь к жителям ВКЛ, Лев Сапега пламенно убеждал соотечественников усваивать право, жить по законам, защищать правду и давать отпор обидчикам: «Мы действительно пользуемся правами и свободами, чему содействуют их милости короли и великие князья, за что мы благодарны Господу Богу. Мы сами создаем и принимаем законы, поэтому всегда можем наилучшим образом защитить свою власть и свободу. Не только сосед или обычный житель нашего государства, но и сам монарх не имеет над нами абсолютной власти, но господствует лишь в той мере, насколько ему позволяет право.

Мы имеем сокровище, бесценный клад в наших руках, который нельзя купить ни за какие деньги. О нем должен знать каждый благочестивый человек. Если человек будет осведомлен в законах, он будет сдерживать свои необузданные страсти, жить в соответствии с писаным правом и никого не обижать. Если же он будет притеснен кем-либо, то будет знать, где искать защиты и лекарств от нанесенных ему обид.

Известно, как один римский сенатор критиковал второго, который не знал законов своей страны. Так и каждый наш обыватель, хвалящийся своими вольностями, заслуживает упреков, если он не знает законов своей Отчизны и не хочет понимать тех прав, которые обеспечивают его свободы.

Всякому народу стыдно не знать свои законы, тем более нам, которые не на каком-либо чужом языке, а на своем собственном, имеем писаное право! И в каждый момент, в случае необходимости, можем обратиться к своему праву, чтобы защитить себя от всяких обид».

Статут 1588 года действовал на территории Беларуси вплоть до 1840 года, даже после ликвидации Княжества, и сыграл исключительную роль в сохранении белорусского народа. Во многом благодаря Статуту 1588 года, белорусы еще в XVIII веке не исчезли с исторической арены и теперь продолжают идти вперед по пути цивилизации вместе с другими народами мира.

V

В 1589 году в структурах высшей власти Великого Княжества Литовского произошли существенные изменения. После смерти Остафея Воловича (конец 1587 г.) Виленское воеводство перешло к Христофору Николаю Радзивиллу Перуну.

Лев Сапега получил вакантную должность *канцлера*, возглавив один из ответственных институтов исполнительной власти государства. От него теперь полностью зависело практическое осуществление внутренней и внешней политики Княжества: подготовка своих и принятие иностранных посольств, проведение уездных сеймиков и главных съездов Княжества. На плечи Льва Сапеги легла ответственность за деятельность местных властей, правоохранительных учреждений, урегулирование конфликтов между государством и церковью и многое другое. Одним словом, канцлер Княжества находился на пересечении всех жизненно важных артерий государства.

Однако в своих действиях, в проведении твердой политической линии Лев Сапега и на посту канцлера не был полностью свободен. Несмотря на новое законодательство, в государстве по-прежнему присутствовал один из парадоксов власти. Ни правительство, в которое помимо канцлера и подканцлера входили воеводы, каштеляны, великий гетман, подскарбий, великий маршалок, придворный и трибунальский маршалки, ни высший законодательный орган Княжества — Главный съезд — не обладали полным экономическим правом на территории своего же государства. Они, говоря сегодняшним языком, фактически не определяли кадровой политики Княжества. Право назначения на руководящие государственные должности держал в своих руках монарх. В результате вся без исключения белорусская знать на деле материально почти полностью зависела от великого князя и короля, так как он подписывал привилегии на свободные земли, а также на светские и духовные вакансии.

При этой довольно специфической форме ограниченной монархии в Великом Княжестве Литовском любая политическая оппозиция монарху всегда сравнительно легко им разбивалась. А метод «кнута и пряника», которым обычно пользовались монархи, позволял при необходимости в любой момент поссорить белорусских панов. В результате многие магнаты и шляхтичи нередко становились в руках хозяев едва не послушными марионетками.

Лев Сапега как патриот и, наконец, властолюбивая личность не хотел мириться с неограниченными действиями нового монарха, трагические последствия которых для Княжества были уже очевидны. Он начал борьбу с Сигизмундом III Вазой за полную самостоятельность княжества, стремясь заставить его уважать великокняжеские законы.

Канцлер прежде категорически потребовал, чтобы великий князь выполнял принятые на себя обязательства, наконец, вспомнил свои недавние обещания ему и перестал без согласования с правительством Великого Княжества Литовского раздавать полякам привилегии на земли, а также назначать их на светские и церковные должности.

Однако Сигизмунд III Ваза проигнорировал требования канцлера: в 1590 году под воздействием польских католических магнатов он сделал попытку снова обойти законы Великого Княжества Литовского и навязать свою волю. На место умершего краковского католического епископа монарх пригласил преданного белорусского католика Юрия Радзивилла, занимавшего доселе виленскую кафедру, и предложил, как бы взамен, на вакантную должность в Вильно поляка Бернарда Матеевского. Это было грубым нарушением Статута 1588 года, согласно которому полякам, как и всем иностранцам, запрещалось занимать на землях Княжества любые должности, в том числе и в церковных структурах.

Возмущеный бесцеремонным поступком монарха, его политическим своеволием, Лев Сапега ультимативно заявил, что он никогда не даст согласия на присутствие Бернарда Матеевского на виленской кафедре, и категорически отказался закреплять печатью Княжества решения епископа-поляка.

Начался длительный конфликт Льва Сапеги с Сигизмундом III Вазой. Закончился он только через десять лет победой канцлера. 26 апреля 1600 года на виленскую католическую кафедру взошел Бенедикт Война.

Несогласие с волей монарха, а тем более открытый протест против него — это был на то время ответственный и чрезвычайно рискованный шаг. Каждый, даже очень мощный феодал, идя наперекор великому князю, королю, особенно такому властолюбивому, как Сигизмунд III Ваза, ставил на карту все: свою политическую карьеру, положение в обществе, материальное благополучие.

Конечно, Лев Сапега не был аскетом и совершенно не хотел расставаться со своими привилегиями. И все же, невзирая на опасность, он мужественно принял вызов монарха. Значит, можно предположить, что судьбу, в том числе белорусского народа, сохранение его самобытной культуры, традиций и выполнение государственных законов он ставил выше собственного благополучия.

Конфликт между Сигизмундом III Вазой и Львом Сапегой из-за Виленского епископства интересен еще одним обстоятельством. Он позволяет понять все величие личности канцлера. Как известно, Лев Сапега в 1586 году принял католическую веру и, казалось бы, по логике тех времен, должен был бы защищать интересы своей конфессии, способствовать ее укреплению. Однако, как это ни странно, канцлер поставил на первое место не конфессиональные, а политические интересы своего государства. Символически звучат слова Льва Сапеги, высказанные им в письме к Христофору Николаю Радзивиллу: «Я католик и по милости Божией католиком хочу умереть, но покой Отчизны своей до конца дней моих стеречь буду».

Выбор, сделанный Львом Сапегой, — уникальный случай в истории средневековых государств и деятельности тогдашних европейских политиков. Позиция канцлера — это патриотизм высочайшей пробы, подтверждение того, что Лев Сапега никогда, ни при каких условиях не торговал Родиной.

Сигизмунд III Ваза, столкнувшись с поистине железной волей великого канцлера, был вынужден, наконец, согласиться с ним. При решении даже незначительных вопросов на территории Великого Княжества Литовского он, хотя и без особых симпатий к принципиальному Льву Сапеге, должен был считаться с его мнением, отсылая ему все бумаги и грамоты для предварительного согласования. Ни один документ монарха с этого времени без канцлерской подписи и печати Великого Княжества Литовского не имел сил на землях государства.

Вследствие напряженных отношений с Сигизмундом III Вазой Лев Сапега свое материальное благополучие улучшал, пользуясь нередко услугами королевской тети — Анны из Ягеллонов. Канцлер присылал ей подарки, а она, со своей стороны, ходатайствовала перед племянником, помогая Льву Сапеге получать новые земли и привилегии. До настоящего времени сохранились два письма Анны к Льву Сапеге (за 20 октября и 29 декабря 1589), которые как раз и дают представление о характере взаимоотношений между ними.

Однако если частные проблемы Льву Сапеге удавалось решать обходными путями и, как видно, довольно тривиально, то защита общегосударственных интересов Княжества требовала от него смелых действий, воли и личного мужества.

Опасность потери Княжеством независимости из-за беспрестанных претензий польских панов на его земли фактически никогда не исчезала — ни в течение канцлерства Льва Сапеги (даже после того, как он нашел «общий язык» с Сигизмундом), ни позже. История сохранила сведения о многочисленных схватках канцлера с польскими панами. О некоторых из них следует сказать несколько слов.

Весной 1590 года, когда срочно понадобились средства для усиленных войск на южных рубежах, поляки настаивали на внеочередном поборе именно с белорусских земель, сами же ничего не желали давать. Лев Сапега испортил много крови и нервов, пока отвел эту угрозу от Княжества, которая, кажется, угрожала ему полным разорением. Но, как свидетельствовали последующие события, совсем ненадолго.

Уже в мае 1590 года канцлеру снова пришлось сражаться с польскими сенаторами. Во время Варшавского Генерального Вального сейма при разделе «господ» (владений) поляки лезли из кожи, чтобы обмануть Панов-Раду Великого Княжества Литовского и лицемерно обобрать их, захватив лучшие куски. Только приезд в Варшаву Христофора Радзивилла Перуна и его авторитет помогли Льву Сапеге на тот момент остановить неприкрытое давление поляков.

Как видно, совсем не случайно, что польские паны люто ненавидели его. И, наоборот, в глазах ВКЛ авторитет канцлера как политика и борца за великокняжеские интересы увеличивался с каждым годом.

Популярности Льва Сапеги среди населения Великого Княжества не мог не заметить и Сигизмунд III Ваза, в планы которого в начале 90-х годов XVI века

входило укрепление связей Польши с Австрией. Польские магнаты во главе с коронным канцлером Яном Замойским, не желая видеть при дворе иностранцев, не поддержали намерений короля и великого князя и выступили против его планов жениться на Анне Габсбургской.

Сигизмунду III Вазе ничего не оставалось, как обратиться за помощью к Льву Сапеге и искать поддержки у Панов-Рады Великого Княжества Литовского. 31 июля 1590 года монарх пишет очередное примирительное письмо к канцлеру, прося одобрить его выбор и разрешить жениться на старшей дочери эрцгерцога Карла.

Лев Сапега, стремясь усилить собственные позиции при дворе, начал активно способствовать Сигизмунду III Вазе. Он, кажется, одолжил ему даже деньги на свадьбу, которая, хотя и значительно позже, чем предполагалось, была справлена (30 мая 1593). А когда на Вальном сейме встал вопрос о выделении для жены Сигизмунда III Вазы земель и поместий, против чего снова протестовали поляки, Лев Сапега и другие белорусские сенаторы, вопреки полякам, снова поддержал короля и великого князя. В результате Анна Габсбургская обрела несколько имений на территории Польши. После этих событий личные отношения Льва Сапеги с монархом как будто немного потеплели, хотя и не стали до конца искренними.

VI

Весной 1591 года в дом Льва Сапеги пришла беда. 14 марта умерла его жена Дорота Фирлиевна, оставив двухлетнего сына Яна и вовсе осиротевшую дочь от первого мужа — Барбару. В завещании, написанном за девять дней до смерти, Дорота завещала свое имущество дочери и сыну. Мужу она завещала 30 тысяч золотых.

Завещание Дороты Фирлиевны не совсем обычное. Это не только юридический документ, а в какой-то мере и литературный памятник, духовное завещание заботливой жены и матери, переполненное чувствами и горькой печалью.

Вот лишь несколько строк из него: «Боже мой, сделай так, чтобы доченька мая, Бася, не осиротела после меня совсем. Чтобы воспитывали ее почтительно до совершеннолетия или до тех пор, пока не найдется ей друг. Прошу воеводину виленскую, мою милостивую пани и сестру <Екатерину Тончинскую>, которая всегда ко мне была ласковой, чтобы ее милость ту же благодать на деток моих обратила, особенно на доченьку мою Басю...»

Лев Сапега похоронил Дороту Фирлиевну в Вильно в костеле св. Михаила, который он построил за два года перед тем на собственные средства.

Смерть жены, самого близкого человека, подкосила канцлера. «Тяжелое горе и нестерпимая беда сейчас у меня, — писал он к Екатерине Тончинский. — Жена моя в шесть часов ночи с четверга на пятницу

Титульный лист Статута ВКЛ.

отдала свою душу в руки Господа Бога, простившись с этим миром и со мной, оставив осиротевших ребятишек и меня в большом отчаянии...»

Но шло время. Тяжелая боль утраты понемногу ушла. Множество государственных дел, ожидавших немедленного решения, заставляли забывать о собственном горе.

Дмитрий Холецкий, великокняжеский подскарбий, уже неоднократно обращался к Льву Сапеге с просьбой начать наводить порядок в финансах. Нужно было возвращать в королевскую казну деньги, взятые когда-то мещанами Могилева, на обязательной выплате которых сейчас настаивал Сигизмунд III Ваза.

Кроме проблем с финансами в Великом Княжестве Литовском назревал конфликт на религиозной почве: протестанты требовали от властей выполнения Акта конфедерации 1573 года, который защищал их конфессиональные права, угрожая в противном случае общественным неповиновением и войной.

Чтобы утихомирить протестантов, Лев Сапега предпринял неотложные меры для разрешения конкретных вопросов, которые их волновали. 13 декабря 1591 года он направляет им на Радомский съезд письмо, которое помимо него подписали Христофор Зенович, брестский воевода, Альбрехт Радзивилл, маршалок Княжества, и Гаврила Война, подканцлер. Члены правительства просили протестантов успокоиться, не разжигать взаимной ненависти и не нарушать спокойствия в Княжестве. Канцлер обещал протестантам защитить все их «права и вольности», что по каким-то причинам до сих пор нарушались. Однако совсем избежать беспорядков в государстве не удалось. Выступления протестантов прокатились по всей стране.

Опасность внутренних конфликтов увеличивалась из-за отсутствия Сигизмунда III Вазы, который после смерти в ноябре 1592 года отца, шведского короля Иоанна, с разрешения Сейма, в мае 1593 года выехал в Швецию. Там он начал добиваться наследственного трона, так как шведская корона переходила по наследству и на то время была более весомой.

Сигизмунд III Ваза приглашал с собой в поездку и канцлера. Но Лев Сапега, сославшись на болезнь, отказался. Тревожные времена и множество государственных дел никак не способствовали тому, чтобы отправиться в сравнительно беззаботное путешествие среди знатной королевской свиты.

Преодолевая неимоверные трудности, Лев Сапега в это время много сил отдает урегулированию конфликтов между знатью, непрерывно ведет переговоры с протестантами, встречается с лидером белорусских евангеликов — Андреем Воляном, обеспечивает охрану южных рубежей, начинает упорядочение главного архива Княжества — Литовской метрики. Он решает чрезвычайно существенный вопрос об участии Великого Княжества Литовского в антитурецкой коалиции христианских государств, которая создавалась в середине 90-х годов XVI века под эгидой Папы Римского Климента VIII.

Через какое-то время из Швеции пришло сообщение о переносе срока коронации на более позднее время, на середину января 1594 года. Причиной послужило отрицательное отношение тамошнего дворянства к королю-католику. Но не это насторожило Льва Сапегу. На шведскую корону неожиданно предъявил претензии Карл, дядя Сигизмунда III Вазы. Возникла реальная угроза войны ВКЛ и Польши со Швецией, что создавало большую опасность для Княжества, так как здесь в 1594 году началась широкая волна выступлений крестьянской бедноты.

Наибольшие хлопоты канцлеру принесли казацкие отряды Лободы и Наливайко, что безжалостно грабили белорусские и украинские города и имения знати, дотла выжигали деревни, разрушали поселения, не жалея, рубили малых и старых, бесчестили женщин и девушек. О варварской жестокости «наливайковцев», которые совершили дикий шабаш в Могилеве, автор древней «Баркулабовской хроники» писал так: «Сожгли славный город Могилев, места божественные, дома, магазины, тюрьму. Всего уничтожили около 500 домов и 400 магазинов

с большими богатствами... Мещан, бояр и очень почтительных людей, как мужчин, так и женщин, и малых ребятишек, побили, порубили, осквернили. Кроме того, из магазинов и домов забрали множество богатств».

Лев Сапега и Христофор Радзивилл организовали сопротивление казацким отрядам. Во главе с Николаем Буйвидом и знаменитым кричевским старостой Богданом Соломерецким полки ВКЛ поделом рассчитались с «бунтовщиками» на Буйничском поле, под Могилевом. Главный преступник — Северин Наливайко — был позже пойман и казнен.

Лев Сапега и впредь всегда оставался сторонником сильного правового государства. Об этом ярко свидетельствует то, что он, произнося речь на Варшавском сейме 1597 года, осудил шляхетское восстание, которое возглавили Януш Радзивилл и Николай Зебжидовский. В своей речи канцлер подчеркивал, что ни закон, ни история не дают никому оснований добиваться чего-то от власти с помощью силы.

Лев Сапега, который был могилевским старостой, совершил жесткую расправу над зачинщиками восстания горожан в Могилеве, которое происходило в 1606—1610 годах. К нарушителям закона, кем бы они ни были, канцлер ВКЛ никогда не испытывал ни милосердия, ни сострадания.

VII

Оказавшись на вершине власти, Лев Сапега во многом определял характер государственной политики в духовно-религиозной сфере, в отношениях между государством и церковью. От него зависело достижение согласия между конфессиями, что было делом чрезвычайно сложным. На то время в Беларуси существовало несколько религиозных течений: Католичество, Православие, Протестантизм, Иудаизм и Ислам. Каждое из них имело свои корни, собственную философию и ориентацию на определенный тип культуры. Лев Сапега прекрасно осознавал, что при таком конгломерате конфессий исключительно важно сохранять толерантность, одинаково ровно относиться ко всем верующим, уважать их церковно-религиозные права.

На религиозное положение в ВКЛ чрезвычайно повлияло учреждение в 1589 году Московской Патриархии. Церковные власти Московского княжества сразу же заявили о необходимости объединения под властью Москвы всех православных, в том числе и жителей ВКЛ. Все православные земли провозглашались московскими. Лев Сапега прекрасно осознавал, к чему на практике приведут декларации московских патриархов. А они свидетельствовали как раз о том, что давние претензии Москвы на земли Беларуси приобретают очертания политической программы.

Стремясь оградить интересы Великого Княжества Литовского, Лев Сапега активно поддержал проект региональной унии — соглашения между Православной церковью ВКЛ и Католическим костелом. Он имел целью таким образом сохранить духовно-культурную независимость страны, защитить белорусский народ и верующих от экспансии с Востока,

10 сентября 1595 года Лев Сапега написал чрезвычайно яркое письмо к князю Константину Острожскому, в котором давал князю совет воздержаться от публичных угроз в адрес церковных иерархов. Канцлер настоятельно рекомендовал строптивому князю проявлять сдержанность при подготовке межконфессионального соглашения, советовал не использовать оскорблений в адрес монарха, просил прекратить преследование владимирского епископа Ипатия Потея. Лев Сапега отмечал: «Отношение к церковному объединению — это твое личное дело. Но как можно ругать Папу Римского, называть его антихристом и неприятелем Слова Божьего, оскорблять всех католиков и святую соборную веру, угрожать королю покушением на его жизнь и утратой королевства, приравнивать монарха

к еретикам и очернителям величества Божьего! А поскольку король — католик, то пугаешь его тем, что выставишь против него 20 тысяч солдат... Всего этого, мой милостивый господин, не надо делать. А я сам, хотя и добродетельный слуга и кровный вашей княжеской милости, но того одобрить не могу и искренне сожалею, что это от вас исходит».

Канцлер предупреждал Константина Острожского об ответственности и объяснял ему: «Король — верховный господин и защитник всех духовных лиц — как римской, так и греческой веры — не допустит, чтобы кто-нибудь творил зло. Его величество король желает и будет защищать всех от любого насилия, от обид и притеснений».

Ссылаясь на собственный опыт взаимоотношений с Сигизмундом III Вазой, Лев Сапега настоятельно рекомендовал князю Острожскому в сложный для страны период не особо конфликтовать с монархом: «Хоть меня и самого нередко заносит, но сейчас не то время».

Лев Сапега был прав: в любую минуту межконфессиональные недоразумения и религиозные споры в ВКЛ могли перерасти в полную анархию и хаос. Наверное, только своевременные советы канцлера, его решительные действия и срочные переговоры с украинской и белорусской шляхтой остановили князя Константина Острожского от непоправимых действий, спасли на тот момент ВКЛ от гражданской войны на религиозной почве, результаты которой могли быть очень трагическими для всей страны и всего общества.

Лев Сапега принял деятельное участие в Брестском церковном соборе, который проходил 6—8 октября 1596 года. Он присутствовал на нем в качестве королевского комиссара и выступил с пламенной речью в защиту церковной унии.

«Речь на Брестском церковном соборе 1596 года» Льва Сапеги — уникальное литературно-художественное произведение и одновременно раритетный памятник национальной историографии. Она дошла до нашего времени в составе произведения Петра Скарги «Брестский собор и оборона его».

Лев Сапега, выступая от имени королевских комиссаров, озвучивал позицию властных кругов ВКЛ. Выступление канцлера, как следует из текста «Речи...», происходило перед оппонентами унии, на одной из их встреч, куда он приехал с православными и католическими епископами.

Как свидетельствует содержание «Речи...», Лев Сапега прежде всего возмущался позицией киевского воеводы Константина Острожского, который стал на сторону противников унии и организовал параллельный собор. Канцлер снова сдерживал его от агрессивных действий. Он предупреждал Константина Острожского, чтобы тот не ставил себя выше короля, так как является его подданным, не стремился силой решать церковные дела, которые находятся в компетенции духовных лиц.

Лев Сапега наконец отмечал, что он, как королевский комиссар, данной ему властью обеспечит порядок и спокойствие на соборе: «Поскольку Всемогущий Господь Бог является началом и источником всякого согласия и милости, потому богобоязненные и умные люди уважают друг друга в согласии и единении, которое есть матерью всякого добра.

Его милость король был очень рад вашему договору, о котором вы сообщили ему три года назад. Митрополит и все епископы на тот момент достигли согласия, в том числе и ваши милости — епископ львовский и епископ перемышльский. Об этом красноречиво свидетельствуют подписи ваших собственных рук под совместным постановлением.

Вы заявляли, что подданные его милости короля, люди греческой веры, хотят соединиться с католиками, вернуться под власть единого пастыря, не желая впредь помогать новым грекам — цареградским патриархам, отступникам и отщепенцам.

Король никого никоим образом не склонял к такому решению, не подбивал, а тем более — никого не заставлял. Он действительно был очень рад, так как

через единение веры много людей становилось на путь избавления, расширялась хвала Богу, укреплялись согласие и единство в государстве его королевской милости, на чем держатся все государства.

Его милость король знал, что о союзе людей христианской веры на протяжении нескольких десятилетий слишком старался киевский воевода (Константин Острожский), который сейчас здесь с нами сидит. Через преподобного отца Поссевина он обращался к Папе Римскому Григорию XIII, прося его, чтобы согласие благополучно совершилось.

Король помнил о том, что его предки — бывшие короли, способствовали единству, совершенному на Флорентийском соборе, решения которого распространялись на их царства. Поэтому его милость король считает большой услугой Господу Богу и всему государству — оживить и обновить ту святую и спасительную связь.

Когда дела пошли дальше, а послы отцов епископов уже вернулись из Рима, господин киевский воевода на прошлом сейме очень просил короля способствовать унии, обещая со своей стороны помощь христианскому согласию. Его милость король любезно позволил осуществить унию между Церковью и Костелом.

Когда прошло определенное время, а сторонники единения не смогли в установленный срок и в определенном месте завершить начатое дело, король опять пошел навстречу желанию киевского воеводы и дал очередное разрешение на созыв собора.

Более того, когда приближалось время проведения собора, господин киевский воевода за несколько недель до его начала направил к королю панов Матея Малинского и Лаврентия Древинского, которые передали королю его сердечную благодарность за разрешение на созыв собора. Через тех своих послов киевский воевода просил о четырех вещах.

Во-первых, чтобы никто не приезжал на тот собор вооруженным и в окружении солдат. Чтобы во время собора все происходило без принуждения и насилия, в покое и безопасности.

Во-вторых, чтобы на собор свободно мог приехать каждый человек, независимо от веры.

В-третьих, чтобы на том соборе мог присутствовать Никифор Гречин, которого поймали с Розваном в Валахии, а он бежал из плена из Хотинского замка.

Четвертое, когда на соборе не будет достигнуто взаимопонимание по какому-либо из вопросов, чтобы те возражения можно было вынести на обсуждение сейма.

Его милость король направил киевскому воеводе письменный ответ, закрепив свое решение печатью.

На первую просьбу король не только дал полное согласие, но и распорядился, чтобы на соборе все происходило достойно, спокойно, и прилично, чтобы все чувствовали себя в безопасности. С этой целью он и направил собственных послов на собор.

Вторую просьбу его милость король не удовлетворил. Он объяснил, поскольку собор созывается ради взаимопонимания православных с католиками, то людям других вероисповеданий нечего делать на нем.

На третью просьбу король также не дал согласия. Он пояснил, что Никифор привел из Валахии Розвана, поддерживал тайные отношения с турками, чем наносил большой ущерб всему королевству и всему государству. Поэтому заседать вместе с ним на соборе, а тем более решать церковные дела, никому из подданных его королевской милости не стоит.

Четвертую просьбу киевского воеводы его милость король также отверг. Он уверял, что собор и сейм — две разные вещи. На сеймах не должны рассматриваться духовные вопросы, сейм не может выносить приговоры по духовным делам.

И вот теперь, на этом соборе мы наблюдаем непорядок и сопротивление воле и решениям его милости короля.

Те лица, которые настоятельно просили о созыве собора, отступили от него прежде, чем он начался.

Не знаем, каким духом и с какими мыслями вы приехали сюда, ваша милость киевский воевода, — с таким окружением, с вооруженными пешими солдатами и всадниками. Вы же сами зарекались творить подобное! Вы давали письменное обещание, за подписью вашей собственной руки и некоторых волынских шляхтичей, передав его через пана Малинского его милости королю! Кого той армией вы напугать хотите? Это вы так держитесь вашего слова? Где ваша порядочность? Ради братского договора, а не на войну сюда съехались! На собор, а не на неприятельские границы! На согласие, а не на ссору!

Если вы хотите запугать отцов епископов, бискупов и других духовных лиц, хотите помешать им свободно обсуждать духовные дела и выносить церковные постановления, то мы вам этого не позволим! За наших духовных пастырей мы готовы сложить собственные головы!

Мы поверили вашим словам и просьбам, приехали с покорностью, как следует приезжать к Божьей церкви. На соборе, где царит Святой Дух, где святые епископы, Божьи слуги, заседают и совещаются, ищут истину, заботятся о покое и пользе Божьей церкви, — нельзя допускать никаких унижений и оскорблений!

Лучше бы вы не просили его милость короля ни о чем! Не обманывали его и нас. Вы, прося о мире, приехали словно на войну!

Вы подстрекаете ваших людей к беспорядкам!

Вы не разговаривали, не дискутировали, наконец, никого не спрашивали, а сразу созвали собственную сходку, совершили раскол и разделение!

Вы провели неразрешенный и противоправный сеймик, выбрали на нем маршалка, чем унизили верховную власть его милости короля! Именно король прислал нас сюда, чтобы мы обеспечивали порядок и спокойствие, осуществляли маршальские обязанности!

Вы допустили к себе не только людей разной веры, но и ненадежных и подозрительных лиц. И что еще хуже — главой вашей общины сделали Никифора Гречина, которого преследует его милость король! Тот Никифор, недавно сбежавший из тюрьмы, обвиняется в преступных связях с турками и противниками государства. Он клеветал на короля, оскорблял его, чего никто из вас, как подданных его милости короля, не должен был терпеть!

Ваша сходка не только не может быть названа собором, но даже и шляхетским сеймиком, ибо и они собираются только с разрешения короля! Она иначе и назваться не может, как только проявлением непослушания, сопротивлением правительству, поставленному Богом! Священное Писание приравнивает такой грех к поклонению идолам.

Настоящий собор созвал митрополит, а не Балабан и Копыстенский!

Место соборов — в церквях и костелах, а не во дворцах и кабаках, зараженных еретизмом!

Возгордились вашими духовными отцами, данными вам Богом, через ваших послов высказываете только им послушание! А этих намереваетесь лишить сана, сбросить с митрополии и с епископий! Откуда, по какому поводу присваиваете церковную и королевскую власть? Вы такие же светские люди, как и мы! Никакой духовной силы и власти, без высшего разрешения и одобрения, вы не можете присваивать себе!

Собор — это трибунал для собственно духовных дел, на которые не распространяются светские законы и королевская власть. Мы слышали, как ваш греческий святой Афанасий назвал антихристом императора Константина, который хотел повлиять на решения епископских соборов. Святой Афанасий громил Константина, указывал ему, чтобы тот занимался благоустройством государства, городов и замков. Чтобы он не присваивал себе право выносить приговоры по делам, находящимся в компетенции священников, назначенных Богом. Если

такие слова говорились монарху над всем миром, то что бы он сказал кому-то из ваших милостей!

Его королевская милость дает согласие на назначение церковных иерархов как верховный властитель и защитник. Тот, кто хочет их беспокоить без ведома короля, посягает на власть большую, чем та, которой обладает монарх.

Патриарх Иеремия, когда был здесь и хотел заменить епископов, просил разрешения его милости короля. Вы же, являясь подданными его королевской милости, снимаете епископов, чем ставите себя выше короля. Но вы не имеете никакой духовной власти на это. Помните, куда ведете себя и других вместе с собой!

Возлагаете большие грехи на своих старших — митрополитов и епископов! Они ищут согласия, хотят христианского единения, жаждут взаимопонимания с латинянами, освобождаются от цареградского патриарха! И за это теряют свой сан и должности от вас! Если это грех: несогласных соединять, устанавливать христианское милосердие, крепить покой Христовой церкви и Костела, вести души к спасению, то наградой и благодатью будет — сеять непонимание между братьями, разрывать ризу Христову, разрушать единство его учеников и творить везде зло!

Но что на свете может быть более приятным Богу, полезным государству и людям, чем единство, согласие и общее милосердие! Именно согласие Христос завещал нам своими заповедями. Он приказывал и предупреждал, если не будем иметь его, то не должны называться его учениками! Кто от согласия и единства Христовой церкви убегает, о ней везде, где можно, не заботится, тот не может называться ни христианином, ни учеником Христовым.

Чем же мы, католики, так неприятные вам, что вы сильно негодуете на ваших старших, которые хотят объединения с нами? Словно соединяются с еретиками, к их проклятым заблуждениям пристают! Видимо, их бы вы благодарили...»

Канцлер Лев Сапега резко осудил раскольническую деятельность православных епископов Гедеона Балабана и Зиновия Копыстенского, их неподчинение митрополиту и королю. Особенно он возмущался их альянсом с протестантами: «А вы, два убогие владыки и все попы! Неужели не видите, какое зло творите? Вы объединились с еретиками. Не только заседаете на их совещаниях, направленных против Священного Писания и Божьей воли! Слушаете их советы, незримо служите им. Не хотите слушаться старших и правоверных христиан, а слушаете заблудших! Не принимаете Божьей правды, доверяете лжи! Считаете их за надежных приятелей. А ведь они только в одном Новогрудском воеводстве опустошили 650 церквей и Божиих служб в них! Там насчитывалось свыше 600 шляхетских домов, где исповедали Греческую религию, а осталось едва 16, или и того меньше. Остальные отошли к еретической новохрещенской заразе! Они называют себя вашими сыновьями и послушниками. Но если вы спросите их, как они верят, где исповедуются и принимают таинства, они покажут вам волчьи зубы, разорвут вас и ваших овец на куски! О, слепота ваша! Вы клонитесь к тем, кто уничтожит вас, вашу веру и ваши церкви! А убегаете от тех, которые хотят сохранить вас в целости и защитить!»

По мнению автора «Речи...», уход православных иерархов из-под власти константинопольских патриархов и признание главенства Папы Римского — исторически совершенно оправданный шаг. Константинополь попал во власть турок, а высшие иерархи стали полностью зависимы от «басурманов». Лев Сапега подчеркивал, что в условиях турецкой угрозы и московской экспансии единственный спасительный шаг для Православной церкви ВКЛ — уния с Католическим костелом, переход в подчинение к Папе Римскому, но с соблюдением всех православных обрядов и церемоний.

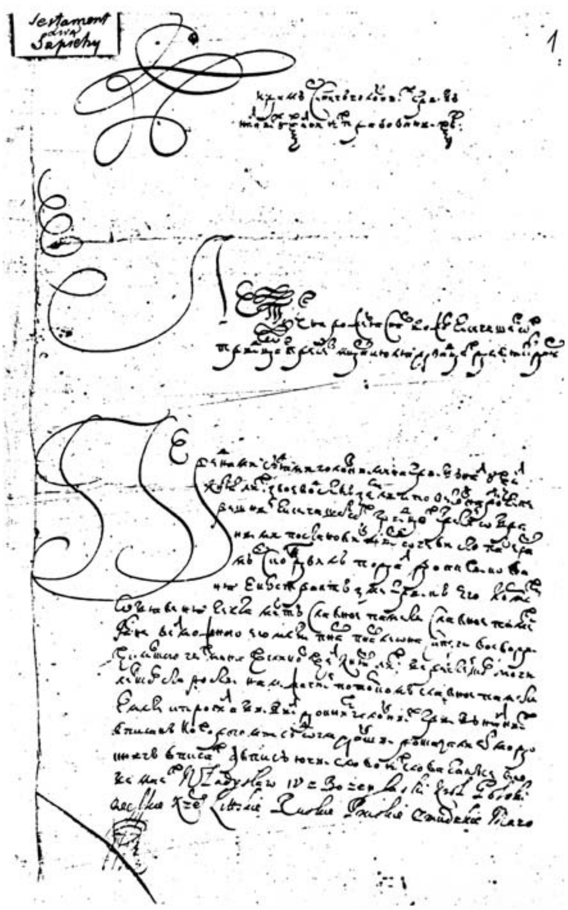
Канцлер утверждал буквально следующее: «Прежде всего, вы спрашивали, почему отступают от цареградских патриархов? Стоило бы нам привести при-

меры из Священного Писания, из произведений святых отцов — восточных и западных, из канонов и правил святых соборов, из ваших русских (православных) писаний о том, что никто не может быть спасен, кто не остается в церковном единстве.

Как известно, Господь Бог поставил пастырем над всеми овцами святого Петра и его преемников. Если же кто не слушает их, тот не является Христовой овцой. От начала святой Церкви, со времен апостолов, Римский епископ, как преемник святого Петра, имел и имеет верховную власть над церквями всего мира. Вы же сами в ваших литургиях и обеднях во время Божией службы всегда просите о соединении веры. А сейчас, когда Господь Бог, благодаря вашим молитвам, посылает то соединение, — вы брезгуете им.

Мы могли бы привести из Священного Писания необходимые доказательства, на которые вы не сможете ничем возразить. Вам сейчас их могут предоставить наши духовные отцы, если вы пожелаете вести с ними беседы и дискуссии на этот счет. Они уже подготовились, и ради этого некоторые из них пришли сюда вместе с нами.

А то, что православные епископы отступают от цареградских патриархов, — правильно делают! Ведь цареградские патриархи отступили от Бога, от правды и от единства Божьей церкви. Они либо не хотят идти к согласию, или из-за турецкого ига — не могут. Для них — погибнуть, а согласия и христианского единства не хотеть, — было бы большим безбожием и глупостью.



Рукописное завещание Льва Сапеги.

Те цареградские патриархи и епископы слишком испорчены, унижены и Господом Богом прокляты. Об этом вам несложно узнать. Как вы точно знаете, ни один из цареградских духовных отцов не может занять должности без подкупа. Каждый из них должен купить у турок это место. Кого турок определит на должность, тот ее и займет. А он не назначает, пока ему хорошо не заплатят. Таким образом, ни один из цареградских патриархов не является действительным и законным духовным пастырем. Ведь согласно Божиих и церковных законов, каждый мздоимец и симониянин теряет деньги и лишается церковной должности, которую он купил.

Цареградские патриархи прокляты Богом, так как они друг друга сбрасывают с должностей, заплатив туркам деньги. А иногда случается, там действуют сразу три или четыре живых патриарха! Так прелюбодейка имеет трех мужей, прелюбодейка живет с прелюбодеями! Духовные лица — патриархи, монахи и игумены, там непрестанно турчат и басурманят, они таскаются по другим странам, находят там

христиан и заражают их. Они доходят даже до русских краев, подделывая печати патриархов. Ведь живы еще те золотари, которые помогали им фальсифицировать печати!

Найдется и еще множество грехов, за которые их прокляли римские папы, ведь им святой Петр передал силу церковных ключей. Большой грех цареградских патриархов и епископов — упорство и отщепенство. Им полезнее было бы не убегать от римских пастырей, а идти следом за ними. А они, наоборот, проявляют подчеркнутую небрежность о собственном спасении.

Ваши старшие заботятся о себе и о вас, не к злому показывают вам путь, а к вечному спасению, которого не может быть без согласия и церковного единства. Об этом ваши духовные отцы вас могут научить шире. Мы же на вас жалуемся Богу за то, что вы присваиваете власть и суды, принадлежащие вашим старшим. Их, никем не осужденных, вы хотите без суда и права проклинать! Эти две вещи беспочвенны и несправедливы. Они называются тиранством и бунтом.

Если вас послушать, так вы все якобы правы, все важные, защищаете людей разных религий. Но только не оберегаете греческого богослужения. Разрушаете православные храмы, оставляете их пустыми! Не боитесь бегать к новохрещенству (арианству) и другим ересям. Почему же вы не позволяете вашим старшим наказать вас за заблуждения?

Вы защищаете конфедерацию, которая декларирует, чтобы никто не был казнен за веру, а сами стремитесь наказать других. Хотите сбросить с духовных должностей тех, которые идут не к какой-то ереси, а к основательной истине и чистому источнику Христовой науки. Разве не против своей собственной конфедерации выступаете?

Вас не тревожит то, что отступаете от Греческой религии. А те духовные отцы укрепляют ее. Достигая единства, они ничего не отменяют: ни веры святых греческих старых отцов, ни церемоний и служб церковных, ни обычаев богослужения в Восточной церкви.

Почему же вы их за это наказать хотите, а сами за свое отступничество никакого наказания не хотите иметь? Они — ваши старшие и как раз могли бы наказать вас за вашу вредную науку и злые ереси. Ведь им дано такое право и власть. Они — пастыри, а вы — овцы! Они — господа, а вы — подданные. Господь повелел вам брать науку из их уст, во всем слушаться их.

Поэтому просим вас: вернитесь к осмотрительности и разуму, не мешайте проведению собора, откажитесь от противозаконных собраний и идите все к церкви, где собрались епископы и духовные отцы — настоящие Божьи слуги! Слушайте, как наши старшие будут совещаться о нашем же избавлении!

На них возложена ответственность перед Господом Богом, а мы не ошибемся, если послушаем их науку, так как они имеют при себе наставника, обещанного Христом, магистра правды — Святого Духа!

Они имеют святого отца, пастыря над всем миром, благословение святого Петра и его власть!

Они имеют святых и ученых епископов! Имеют древних учителей Греческой веры и все выводы правды!

Не считайте, что духовные отцы съехались сюда, чтобы установить новую веру. Уния ничего нового не создает!

Никаких изменений в Греческую церковь и Католический костел не вносим!

Согласия хотим, милосердия жаждем!»

Лев Сапега, таким образом, настоятельно призвал противников унии прислушаться к голосу митрополита и высших иерархов, проявить осмотрительность и благоразумие, не чинить анархии и бунтов, а наоборот, — помочь духовным лицам достичь согласия и «христианского милосердия».

Канцлер отдельно обратился к солдатам и рыцарству, чтобы они не препятствовали проведению собора, не возводили барьеров на пути к согласию между

Православной церковью и Католическим костелом: «На вас, благословенных рыцарей, жалуемся. Ведь совершаете большой грех против Бога и его помазанника. Обнаруживаете непослушание перед Господом Богом, сеете вражду между братьями, выступаете как неприятели согласия и милосердия, не хотите знать о правде и спасительных путях, пренебрегаете вашими духовными отцами, разрываете соборы, не смотрите на короля и его мандаты. Как это все может быть прощено вам? Наверное, Господь возложит на вас наказание. Хотя бы не такое, где и мы окажемся вовлеченными в ваши грехи.

Свидетельствуем пред Богом нашим, что не хотим вашей крови и гибели. Но мы, выполняя поручение короля, братскими уговорами и разумными доводами призываем вас к милосердию и согласию ради Божьей церкви, в которой вы найдете вечное спасение. Вы сделаете добро и сохраните единство Речи Посполитой (государства), которая наиболее держится согласием и милосердием граждан. Вы окажете ей большую услугу, а при ней — сохраните себя, ваши дома и ваших деток через Божье благословение. Смотрите, чтобы ваши разрушительные действия не навредили сеймикам, не принесли вреда защите от турецкой агрессии, которая над нами висит. Чтобы из-за вас все мы не попали в турецкую неволю, вместе с греками-отщепенцами и другими еретиками».

Как отчетливо видно, «Речь на Брестском церковном соборе 1596 года» Льва Сапеги отразила тогдашнюю идейную борьбу, логику поведения и аргументы враждующих сторон.

Положительным результатом Брестского собора 1596 года стало подписание межконфессионального соглашения, в результате которого произошел переход значительной части православных иерархов под власть Папы Римского. Фактически в Беларуси образовалась новая христианская общность — Униатская церковь.

Не обращая внимания на призывы и просьбы канцлера Льва Сапеги, значительная часть православных провела в Бресте альтернативный собор. Они осудили Унию и отмежевались от нового церковно-религиозного течения.

Лев Сапега не смог предотвратить нарастания вражды между конфессиями. Во всех спорных вопросах, которые возникали между православными и униатами после 1596 года, канцлер, как правило, поддерживал последних. В 1597 году он оказывал давление на Брестское и Виленское православные братства, а также на монахов Киево-Печерского монастыря, не принявших унии и оказывавших сопротивление расширению Униатства.

Канцлер жестоко расправился с виленскими православными мещанами — Григорием Ждановичем, Королем Лазаровичем и Иваном Порошкой, которые наладили тайные сношения с Московской православной церковью.

VIII

В конце XVI — начале XVII века Великое Княжество Литовское и Польское королевство начали длительную войну со Швецией. Король Сигизмунд III Ваза силой добивался наследственной короны после смерти его отца — шведского короля Иоанна III.

Чтобы лишить шведов поддержки со стороны Московского княжества и избежать одновременно войны с двумя государствами, власти ВКЛ и Польши приняли решение направить в Москву к Борису Годунову посольство с целью подписать «вечный мир». Ответственную миссию снова пришлось возглавить Льву Сапеге, за плечами которого был значительный дипломатический опыт.

27 сентября 1600 года посольство выехало из Вильно. В состав делегации кроме Льва Сапеги входили: Гальяш Пельгримовский — секретарь Княжества, Андрей Воропай — оршанский земский судья, Ян Сапега — витебский воево-

дич, Станислав Варшицкий — варшавский каштелян, а также паны — Николай Францкевич, Петр Дунин, Ян Боруцкий, Ян Пасек.

Путь к Москве и на этот раз был не легче, чем в 1584 году, так как московская сторона нарушала все статьи тогдашнего международного этикета, который предусматривал уважительное отношение к дипломатическим делегациям зарубежных стран. Послам даже не предоставляли должного ночлега и не выдавали необходимого количества продуктов. Но эти оскорбления и унижения в дороге были мелочью по сравнению с отказом царя Бориса Годунова принять Льва Сапегу вскоре после его прибытия в Москву 16 октября 1600 года.

Ссылаясь на болезнь ног, Борис Годунов намеренно затягивал начало переговоров. И только пожар в Москве 16 ноября, от которого чуть не пострадали послы, заставил московских бояр и царя согласиться на встречу.

Официальный прием у царя состоялся 26 ноября 1600 года, а непосредственные переговоры о статьях примирения начались неделей позже.

На второй сессии, которая открылась 4 декабря 1600 года, Лев Сапега объявил свои условия «вечного мира», которые включали 24 статьи. Все они детально перечислены в «Дневнике» Гальяша Пельгримовского.

Канцлер предлагал московской стороне следующее: короли польские и великие князья литовские — с одной стороны, и князья московские, вместе со всеми боярами — с другой стороны, впредь всегда должны жить в согласии. Если враг нападет на одну из союзных держав, то другая обязана помогать ей. Заключать мир или объявлять войну третьим странам надлежит только после предварительного взаимного согласования. Приобретенные во время совместных войн земли делить поровну. Позволить людям союзных государств свободно передвигаться по территории стран. Предоставить право жителям государств добровольно выбирать собственную веру. Воров, беглецов и других преступников возвращать без задержки их хозяевам. Держать на юге общую армию для защиты от татар и турок.

Именно вокруг статей «вечного мира» и начались острые дискуссии Льва Сапеги с тогдашними дипломатами: Иваном Татищевым, Стефаном и Иваном Годуновыми, Михаилом Оболенским и Василием Плащеевым. Переговоры с московскими боярами проходили чрезвычайно трудно. В наиболее сложной ситуации канцлер оказался 18 февраля 1601 года, когда в Москву прибыли шведские послы — Клаусон и Гендерсон, которых нарочно провезли с почетным эскортом мимо дома, где остановилась делегация Великого Княжества Литовского.

Несмотря на многочисленные сложности, Лев Сапега достиг желаемой цели. Предложенные им 24 статьи «вечного мира», после споров и согласований, были, наконец, приняты. 22-летний мир, чрезвычайно необходимый Великому Княжеству Литовскому, был подписан.

Как и требовал тогдашний международный этикет, в начале 1602 года к Сигизмунду III Вазе от московского князя приехал посол Михаил Салтыков-Морозов. Монарх ВКЛ и Польши со своей стороны закрепил результаты договоренностей.

Мирное соглашение с Москвой действительно развязало Сигизмунду III Вазе руки для полномасштабной войны за шведскую корону. Однако жителям Беларуси эта очередная бойня не принесла ничего, кроме новых потерь, дополнительных налогов и невыносимых страданий от польских солдат, которые, не получив обещанной платы за службу, начали грабить шляхетские имения, а также белорусские города и поселения.

Лев Сапега обратился к монарху, чтобы тот приказал прекратить анархию и опустошение территории Великого Княжества. Депутаты Слонимского сейма 1603 года также ультимативно потребовали от монарха наказать преступников и выплатить компенсации тем, кто пострадал от грабежей польских солдат.

Остановить дикую жестокость поляков Лев Сапега смог только с помощью хоругвей Великого Княжества Литовского, которые выступили на защиту мирных жителей.

IX

Подписанный Львом Сапегой мир с Московским княжеством, к сожалению, был недолгим.

Летом 1604-го его нарушил Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев). Заручившись поддержкой воеводы Юрия Мнишека, он объявил себя «истинным царевичем» и с отрядами великокняжеских и польских воинов двинулся на Москву, чтобы обрести Кремль и «царскую корону».

Лев Сапега на Сейме 1605 года осудил авантюру Лжедмитрия I. Он написал письмо к Юрию Мнишеку, в котором передал недовольство Панов-Рады ВКЛ его строптивыми действиями. Он потребовал от воеводы вернуться назад и покаяться перед монархом. Но его голос не был услышан. 20 июня 1605 года Лжедмитрий I вошел с триумфом в Москву, был вскоре коронован и начал там устанавливать свои порядки. Правда, уже 17 мая 1606 года он был убит дворянскими наемниками. На московский престол взошел Василий Шуйский (1606—1610).

В 1607 году в Беларуси, а именно в Пропойске, объявился очередной самозванец — Лжедмитрий II (Андрей Нагой), который позже в Московском княжестве получил оскорбительное прозвище — Тушинский вор.

В мае 1607 года Лжедмитрий II, при поддержке хоругвей Иосифа Будилы из Мозыря и корпуса Яна Сапеги, двинулся на земли Московского княжества и в июне 1607 года занял Тушино. В течение лета 1607-го и всего 1608 года между «тушинцами» и войсками Василия Шуйского велись непрерывные ожесточенные бои.

Лев Сапега решил воспользоваться благоприятной политической ситуацией, возмущением и беспорядками в Московском княжестве, значительным ослаблением власти в Кремле.

По предложению канцлера Льва Сапеги летом 1609 началась широкая военная кампания Великого Княжества Литовского и Польши против Московского государства. В соответствии с особым замыслом Льва Сапеги вначале официально провозглашалось, что армия якобы идет на Лжедмитрия II, чтобы наказать «Тушинского вора» и его сообщников за своеволие.

Хитрый политический ход Льва Сапеги в Москве разгадали только тогда, когда 19 сентября 1609 канцлер с армией уже стоял под Смоленском. Через два дня туда подтянулся и второй армейский корпус под непосредственным командованием Владислава, сына короля и великого князя.

Началась длительная осада Смоленска. Через какое-то время под Смоленск начали приезжать московские бояре, которые прежде служили у «Тушинского вора». Теперь они хотели «целовать крест» монарху Великого Княжества Литовского и Польши, выражая желание видеть его сына Владислава на московском троне.

Лев Сапега немедленно приступил к подготовке коронации Владислава на Московское царство. Канцлер подготовил условия коронации, которые личной подписью скрепил Сигизмунд III Ваза. 14 февраля 1610 года документ, в котором оговаривались условия коронации, был передан московским боярам.

Как и рассчитывал Лев Сапега, условия избрания на царский престол Владислава, что почти не меняли московских порядков, поддержала значительная часть боярства.

Московские купцы и бояре, зная о политическом влиянии Льва Сапеги, выслуживались перед ним, возводя нередко клевету друг на друга. Например, купец Федор Андронов советовал канцлеру после восхождения Владислава на трон выгнать из «приказов» (государственных учреждений) всех прислужников Василия Шуйского, а также всегда держать под Москвой армейский корпус на случай восстания в городе.

Вскоре в Москве начались волнения. 19 июля 1610 года враги Василия Шуйского сбросили его с царства и насильно постригли в монахи.

В ночь с 20 на 21 сентября 1610 года войска Великого Княжества Литовского и Польши вошли в Москву.

Исходя из интересов Великого Княжества, Лев Сапега предлагал Сигизмунду III Вазе дождаться окончательной капитуляции Смоленска, чтобы сначала включить его в состав ВКЛ. Только после этого он предлагал монарху направить Владислава в Москву для восхождения на царство.

7 октября 1610 года Лев Сапега под Смоленском принимал московское посольство во главе с митрополитом Филаретом и князем Василием Голицыным. Они со своей стороны просили, чтобы Владислав немедленно приехал в Москву. Лев Сапега оставался неумолим. Он требовал, чтобы впредь был сдан Смоленск. «Мы хотим, — говорил канцлер послам, — чтобы Смоленск целовал королю крест только ради чести, в знак уважения к нему».

Когда хитрость не помогла, Лев Сапега подкупил членов московского посольства — боярина Томилу Луговского и боярина Василия Сукина. Он отправил их в окруженный Смоленск, чтобы они уговорили защитников города открыть ворота и сдать, наконец, Смоленск. Но все было впустую. Воевода Шеин не хотел сдавать город без согласия на то патриарха Гермогена.

Только 3 июня 1611 года истощенный Смоленск был захвачен штурмом. Воевода Шеин вместе с его семьей попали в плен. Филарета и Василия Голицына тоже вскоре арестовали и отправили в замок Мариенбург, откуда позже перевезли в тюрьму одного из дворцов Льва Сапеги.

Однако временные военные успехи мало радовали Льва Сапегу. Средств, чтобы содержать огромную армию на московских землях, катастрофически не хватало.

В это время активизировались шведы. 10-тысячный корпус шведов под командованием Якова Делогарди выступил против Великого Княжества Литовского.

18 октября 1611 года умерла вторая жена канцлера — Гальшка Радзивилловна, с которой Лев Сапега имел трех сыновей: Николая, Христофора и Казимира. Канцлер был вынужден вернуться домой, чтобы заняться похоронами, а также решением неотложных внутригосударственных проблем.

В Москве остались незначительные силы Великого Княжества Литовского и Польши — хоругви Яна Сапеги и Яна Короля Ходкевича. Но из-за недостатка средств они через год покинули столицу Московского княжества.

Известно, что в 1617 году Лев Сапега выступил в качестве мецената виленского печатника Леона Мамонича, который подготовил к печати православный «Служебник» (Вильно, 1617). Леон Мамонич разместил в издании собственные панегирические стихи на герб мецената и прозаическую «Благодарность канцлеру Льву Сапеге».

Леон Мамонич выражал почтение Льву Сапеге, желал ему долгих лет жизни, здоровья, мужества, славы и приумножения богатств. Он буквально писал: «Так нехай будет за то заплата вашей милости вечная в небе у Бога и тут, на земли, у людей слава несмертельная, што, ваша милость, собе еднаеш яко иншими добрыми делы своими, так и тым святобливым делом, помогаючы Хрестіянству нашему Церкви Восточное, яко бы в обрадках своих, по уставу святых и богоносных отец, хвалу Божую порядне отправовало.

Бог вседеръжитель нехай умножит лета вашей милости, даст доброе здоровье и силу мужественную в тых подвигах и трудах вашей милости, которые для хвалы Божое и добра речи посполитое подыймовати рачиш.

Чого вси, милующі хвалу Божую и добро речи посполитое, зычать вашей милости, межы иншими и я, хотя ж найменшій, але упрійме зычливый слуга вашей милости, моего милостивого пана, зычу и Пана Бога прошу».

X

Лев Сапега не отказался от планов расширить собственные владения и территории ВКЛ за счет территорий на Востоке. В 1617 году он вновь актуализировал проект возведения на московский престол королевича Владислава.

Белорусские и польские хоругви первыми начали военные действия против Московского княжества. К ним присоединился 20-тысячный казацкий корпус гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Осенью 1618 года войска ВКЛ и Польши штурмовали Москву. Над окруженным городом во второй половине сентября 1618 года появилась комета. Напуганные небесным знамением жители Москвы ждали страшных событий. Лев Сапега действовал напористо, требуя мирной сдачи города. 24 ноября 1618 года он писал защитникам Москвы, чтобы они прекратили бессмысленное сопротивление и сдали город: «Нет ни терпения, ни желания дальше возиться с вами... Завтра отдадим приказ армии начать наступление, а сами уедем на Сейм».

И действительно, городу был нанесен большой ущерб. Но судьба смилостивилась над Москвой. В армии ВКЛ и Польши росло недовольство, солдаты не получали обещанных наград по тысяче золотых на каждого.

Лев Сапега отъехал на Варшавский вальный сейм, чтобы получить государственные средства на продолжение кампании. Но тщетно, казна была пуста. Канцлер вернулся под Москву только с новыми обещаниями. Запорожские казаки согласились подождать и продолжить осаду Москвы до полного триумфа. Но часть белорусских и польских хоругвей отказались воевать без денег. В скором времени они подались домой.

Почувствовав, что овладеть Москвой не хватит сил, канцлер, после совета с Владиславом, решил начать переговоры о заключении мира с Московским княжеством. Состоялось несколько предварительных встреч и подготовительных переговоров с московскими представителями.

Наконец, 1 декабря 1618 года в деревне Деулино, что расположена недалеко от Троице-Сергиевой лавры, встретились две уполномоченные делегации. Лев Сапега лично возглавлял миссию. Именно он и поставил собственную подпись под Грамотой о примирении между Великим Княжеством Литовским и Московским княжеством на 14 с половиной лет.

Согласно условиям Деулинского мира под власть Великого Княжества возвращались значительные территории на Востоке с городами: Смоленск, Дорогобуж, Стародуб, Чернигов, Невель, Себеж, Красен, Новгород-Северский, а также Велижская волость и Монастырское городище.

Со своей стороны канцлер поклялся вернуть пленных — князя Василия Голицына и митрополита Филарета — родного отца нового московского монарха Михаила Федоровича.

Через некоторое время Лев Сапега, в качестве очередного «царевича» на московский престол, готовил при своем дворе шляхтича-сироту Яна Лубу. Об этом в 20-е годы XVII века сообщал Афанасий Филиппович, который лично учил его русскому, польскому и латинскому языкам. Из государственной казны на содержание «царевича» выделялась значительная сумма — шесть тысяч золотых в год.

После восстановления Православной митрополии в 1620 году и обострения религиозного противостояния Лев Сапега выступил с призывом к враждующим сторонам о примирении. В письмах к Иосифу Вельямину-Руцкому и Иосафату Кунцевичу канцлер требовал от них отложить в сторону взаимные имущественные претензии и прекратить разжигание вражды.

Правда, после убийства Иосафата Кунцевича православными жителями Витебска Лев Сапега, который возглавлял комиссарский суд, приказал жестоко наказать преступников. Двум бурмистрам и 18 мещанам отрубили головы. Имущество убийц изъяли. Город Витебск был лишен всех привилегий.

В 1621 году Лев Сапега занял должность *виленского воеводы*, которая являлась главной в государственной иерархии ВКЛ. В 1623 году он сложил с себя обязанности канцлера в пользу Альбрехта Станислава Радзивилла.

На плечи престарелого Льва Сапеги легла вся тяжесть войны со Швецией, которая сплотила вокруг себя коалицию протестантских стран ради завоевания католического мира.

25 июля 1625 года Лев Сапега получил булаву *великого гетмана* — главного военачальника Княжества. Чтобы защитить Родину от врага, он пожертвовал почти всем приобретенным за жизнь имуществом и сокровищами, заплатив за содержание армии около 40 тысяч флоринов. Только благодаря самоотверженности и усилиям Льва Сапеги в сентябре 1629 года в Альтмарке был подписан мир со Швецией.

* * *

Занимая в течение жизни важные государственные должности — секретаря, высшего писаря, подканцлера, канцлера, виленского воеводы и великого гетмана, — Лев Сапега сыграл ключевую роль в политической жизни Великого Княжества Литовского. Его дипломатический талант и ответственная государственная деятельность способствовали стремительному росту международного авторитета страны, укрепляли ее безопасность и суверенитет.

НАТАЛЬЯ ПРУШИНСКАЯ

Андрей Мрый на Севере в ссылке

В канун юбилея отца я осмысливаю лежащие передо мною документы, связанные с его жизнью и творчеством, вспоминаю все, что знаю о нем от мамы (Зыковой Софьи Андреевны), от сестры (Оксаны Андреевны Рюхиной) и других родственников. В своем рассказе сосредоточусь на 9-летнем периоде северной ссылки и лагерного заключения.

Начну с событий марта 1934 года, когда отец был приговорен к пяти годам заключения в Карагандинский концлагерь. На тот момент в семье было трое детей; меня еще не было. При последнем свидании с женой отец передал ей свое Заявление в Прокуратуру на имя Председателя Верховного Суда СССР. Проводив мужа в лагерь, мама отвезла младших детей на время к своим престарелым родителям в г. Пропойск (ныне Славгород) Могилевской области, а со старшим сыном Юрием (5 лет) поехала в Москву и лично передала Заявление заместителю Председателя.

Дело было пересмотрено, и через 9 месяцев, в ноябре 1934 года, отец был освобожден из концлагеря. Его отправили на вольное поселение в город Вельск (Вологодской обл.) на два года; там он работал бухгалтером леспромхоза Мосгортопа, ревностно и аккуратно выполняя свои обязанности; его считали хорошим работником. В то же время он оставался писателем с 10-летним литературным стажем (его первый рассказ, «Пятрок», вышел в 1924 году); Андрей Мрый не мог расстаться с мыслью о литературе. Позднее в письме «Другу трудящихся» (1941) он сознавался, что за время с 1934 года им было написано большое количество произведений. А. Мрыю было за сорок, за плечами — немалый жизненный опыт. Едва ли не треть его жизни была наполнена мучительными страданиями, пережитыми в двух войнах (1916—1921) и в Карагандинском концлагере. То была горькая треть, которая не могла не требовать выхода, не вызывать жажду творчества — «литературный зуд», как он сам юмористически определял свою потребность писать.

Отвезя Заявление отца в Москву, мама оставила Юру у его старшей сестры Антонины Антоновны Стратонович и уехала в Ленинград. После ареста мужа она осталась без средств к существованию и искала работу, так как специальность педагога, полученная ею в 1924 году в Ленинградском психоневрологическом институте (сейчас имени В. М. Бехтерева), в 1920—1930-е годы ставилась под сомнение, а в 1936 году была официально запрещена Постановлением ЦК ВКП(б). В Ленинграде друзья по институту помогли маме получить работу в Сестрорецке Ленинградской обл., и через год она взяла к себе Юру. В Сестрорецке она работала с 1934 по 1938 годы сначала воспитательницей детского санатория, затем учительницей в школе. Ей пришлось поменять квалификацию и закончить Вечерний Учительский институт при ЛГИ им. А. И. Герцена (1936—1939).

Выручая семью, родственники заботились о детях. А. А. Стратонович, принявшая Юру в 1934 году, и прежде помогала отцу — средствами на учебу; ее дочь — И. Л. Николаева — оставила Объединению литературных музеев Минска воспоминания об отце.

В памяти младших детей сохранились картины Пропойска. Артур помнит, как у дедушки и бабушки его катали вместе с Оксаной в детской колясочке, Оксана — как ее кормили яичком и киселем. За мальчиком приехал брат матери И. А. Зыков, за девочкой — младшая сестра отца К. А. Шашалевич. Погодки навсегда остались у приемных родителей.

Срок высылки в Вельск заканчивался в начале 1937 года; 27 января отец получил советский паспорт, ему предложили восстановиться в правах командира запаса. Но перспектив трудоустройства не было — даже имея самые хорошие отзывы от профсоюзных и партийных органов. Некоторое время удавалось оставаться на прежнем месте в леспромхозе, летом отец съездил повидаться с семьей в Ленинград и в Петрозаводск, а с конца 1937 года начались поиски работы, мытарства.

Вести от родных доставляли тяжелые переживания. Осенью 1937 года на 10 лет лагерей был осужден брат отца, белорусский поэт и драматург Василий Антонович Шашалевич. Был осужден тогда же «без права переписки» и приютивший Оксану Н. В. Хрисанфов — муж Ксении Антоновны, который тепло принял отца летом 1937 года у себя в Петрозаводске. Оставив Оксану у родственников мужа, Ксения Антоновна, биолог по профессии, нашла работу учительницы немецкого языка в 60 км от города. Но добираться туда (Север есть Север!) женщине с пятилетним ребенком пришлось целый день зимой по льду Онежского озера на лошади. Временами бежали за санями, чтобы согреться; светило солнце, но все равно запомнился пронизывающий холод.

Когда отца без всякой мотивировки сняли с работы в Вельском леспромхозе, он приехал к маме и Юре в Сестрорецк в январе 1938 года, но не смог получить ни прописки, ни работы и через две недели уехал. Два месяца непрерывных исканий самой простой работы, готовность ехать в неприступные, необжитые места в конце концов были вознаграждены: на Мурманском побережье в поселке Териберка ему дали работу бухгалтера рыбного кооператива. Это произошло в марте или апреле 1938 года. На профучет он был принят позже — 1 ноября. Осенью того же года мама с Юрой переехали в Мурманскую область, она получила работу учительницы в Кольской средней школе. Отцу тоже предложили работать в этой школе сначала бухгалтером, затем преподавателем русского языка и литературы; 25 мая 1939 года он был принят на местный профучет.

Все как будто налаживалось. Мама всю жизнь хранила сильно побледневший и пожелтевший любительский снимок Кольского периода; каким-то чудом он уцелел и во время пожара, когда сгорела вся наша деревня Павличи в оккупированной Брянской области. На фотографии отец снят обнаженным по пояс на фоне саамского чума. Снимок мог быть сделан летом 1938-го, 1939-го или 1940 года... Мама говорила, что отец любил готовить сам, особенно яичницу, тщательно прожаривал ее, обязательно переворачивал. С тех пор как переболел тифом на Деникинском фронте под Новохоперском, он был очень осторожен. Окопная жизнь тоже напоминала о себе сильными ревматическими болями, не дававшими уснуть по ночам. И все же чувство возвращения к нормальной жизни торжествовало.

Перед Новым 1940 годом, вспоминает Оксана, в Сенную Губу, где она жила теперь с Ксенией Антоновной (Оксана звала ее мамой, а нашу маму — тетей Соней), пришла посылка из Колы: «Тетя Соня и Андрей (мой отец) сообщили, что у них родилась девочка, которую собираются назвать русским именем — Наталья или Татьяна. Я была почему-то за Татьяну, но в следующем письме было написано, что назвали Наташей. (...). В посылке были серые толстые валенки, полные шоколадок, и демисезонное пальто «на вырост» для меня. Валенки, очень теплые, я носила несколько лет, вплоть до 6 класса или дольше».

Было еще и Юрино предложение — назвать меня Наиной — дома тогда как раз читали «Руслана и Людмилу» А. С. Пушкина. Юре объяснили, что нельзя давать имя ведьмы. Но не ведьма, конечно, а само имя, красивое и мелодичное,

нравилось, наверно, мальчишке: романтический образ почти не воспринимался как злой. Слово на самом деле вовсе не злое, в переводе с финского *nainen* означает «женщина»; в пушкинские времена было мало врачей, и петербургские семьи нередко приглашали к себе знахарок, мудрых ведуний из окрестного финского населения завоеванных Петром земель.

Старшим детям имена давал отец. Артура он назвал по имени героя романа Э. Л. Войнич «Овод», желая сыну мужества и стойкости. В имени дочери выразилось его восхищение образом смеющейся красавицы Оксаны из рассказа Н. В. Гоголя. Но на этот раз регистрировать ребенка пошла мама, и она задумала: двоих старших пришлось отдать, пусть же младшая останется своя, родная... *Natalis* на латыни означает «родная». Отец же называл меня (не без грусти, наверно) Наталкой Заполяркой, по аналогии с именем героини оперы М. Лысенко «Наталка-Полтавка». Потом уже много раз в жизни я слышала от мамы некоторые песни из этой оперы на украинском языке: «Солнце низенько, вечер близенько, иду до тебе, спешу до тебе, мое серденько... Як приду до тебе, тебе не застану, сгорну рученьки, сгорну биленьки, тай не жив я стану...»

Согласно страничке об уплате членских взносов в отцовском профсоюзном билете, в феврале—марте 1940 года он брал больничный лист и, как видно, нянчился со мной, так как у мамы послеродовый декретный отпуск — два месяца — приходился на декабрь—январь. Двух-трехмесячные младенцы большую часть суток спят; мама рассказывала, что я, завернутая в пеленки, лежала перед отцом на столе, а он писал, писал... О чем? — спрашивала я лет через 12—13 в Неговке (Буда-Кошелевский р-н Гомельской обл.), когда мама решилась, наконец, рассказать мне о нем немного больше, чем прежде. О том, что видел, что пережил в лагере и на фронтах, отвечала она, — тяжелый, горький опыт: голод, болезни, цинга, тиф, всякие аномалии... Встречая в то время в книгах незнакомые слова, я спрашивала об их значении у мамы. Однажды встретилось слово «гомосексуализм», и я спросила о нем. Как раз у нас уже был приобретен толковый словарь, мама отослала меня к нему и пояснила, что эта тема тоже затрагивалась отцом в его произведениях. Многое в его творчестве шло от Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, например, жанровая форма «записок», в которую он облек свой первый роман. Кажется, и второй роман, «Живой дом», был построен в форме «записок», но главное в нем — полемика с Ф. М. Достоевским. Лагерь не «мертвый дом», живой — такова идея.

С мая 1940 года отец выходит на работу. Мама говорила, что у меня была няня — наверно, ее приняли в это время. Нам оставалось три месяца свободной, мирной жизни...

Дети росли и познавали мир. Каждое лето Ксения Антоновна с маленькой Оксаной отправлялись в путешествие. В 1940 году они совершили даже два. В начале лета переселились из Сенной Губы обратно в Петрозаводск, к родственникам мужа, и Ксения Антоновна стала работать учительницей немецкого языка. А в конце лета они побывали в Коле. Цель поездки Ксения Антоновна не раскрывала ребенку, лишь что-то рассказала о карликовых полярных березках, о полярной ночи; в те годы прославились папанинцы и челюскинцы, Заполярье вошло в моду. К разочарованию девочки. Кола оказалась обыкновенным поселком с глубокой речкой, с большими, а не карликовыми деревьями. По приезде в разговоре взрослых присутствовал Андрей, но самого его не было. На день-два мама и Ксения Антоновна отлучились в Мурманск. Юра и Оксана оставались одни, меня с ними не было — взрослые либо взяли с собой, либо оставили у няни. Дети читали книжку А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля», которая была у Юры. Смеялись, особенно когда Юра начал петь стишки из этой книжки: «Сидела птичка на лугу, подкралась к ней корова, ухватила за ногу: птичка, будь здорова!» Голос у него был звонкий, мотив сам придумал залихватский. Навсегда запомнился Оксане эпизод у корабля «Победа», капитаном которого был Врунгель. «По» стерлось, и жители какой-то страны, увидев корабль,

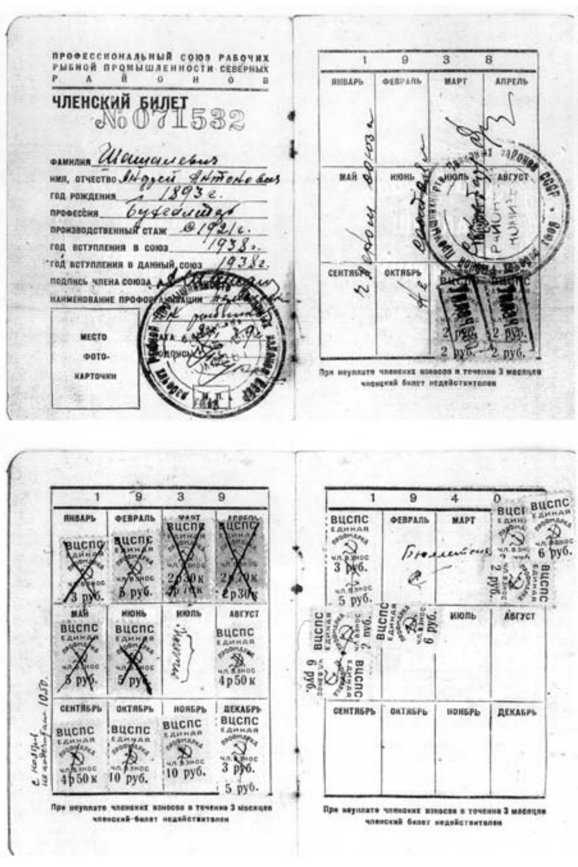
закричали: «Да здравствует “Беда”!» Дети от души хохотали, не зная ничего о той страшной беде, которая опять произошла в нашей семье в начале июня: отец снова был арестован и осужден на 5 лет лагерей.

Среди моих воспоминаний есть одно самое раннее, я затрудняюсь отнести его к какому-то определенному месту и времени. Помню себя в детской кроватке, кругом полумрак, тишина, никого нет, пусто... Кричу ли, плачу ли, молчу? — в сознании не осталось; лишь долгое ощущение пустоты, настороженности. Случилось ли это в Коле в дни горя и ареста? Бывать там в сознательном возрасте мне не приходилось.

Проследим по имеющимся документам этапный путь заключенного А. А. Шашалевича — лагерный номер 1142. Согласно Заявлению нашей матери о реабилитации (1957), в июле—августе 1940 года он попал в лагерь Вичка Медвежьегорского р-на, эвакуирован с лагерем в Архангельскую обл., затем в Железнодорожный р-н Коми. По справке УВД Коми, последним местом заключения был Усть-Вымлаг, сюда отец прибыл 12.10.1942 из Березлага и якобы «освобожден» 25.09.1943. Составим итоговую схему пути: Вичка Медвежьегорского р-на, 1940—1941 — Березлаг (Архангельской обл.?), 1941— 1942 — Усть-Вымлаг (Железнодорожного р-на?) Коми, 1942—1943.

Во время второго ареста было задержано большое количество отцовских новелл, повестей и роман из лагерной жизни «Живой дом». Что стало с рукописями? Если они не были уничтожены сразу после вынесения приговора, то с началом войны едва ли уцелели, хотя бывают чудеса. Поиск рукописей по моему запросу в архивах Мурманского, Минского и Коми МВД не дал никаких результатов.

В октябре 1940 года мы с мамой и Юрой были высланы из Мурманской области как родственники «врага народа», имея 24 часа на сборы. Остановились на день в Петрозаводске, Юра был сильно расстроен, и я беспокойна. Отсюда мы поехали в Брянскую область, так как въезд в Беларусь нам, видимо, был запрещен. В соседней Могилевской области жила семья брата матери, усыновившая Артура, в селе Павличи мама нашла работу учительницы. Но началась война, мы не смогли эвакуироваться и попали в оккупацию в очень бедственном положении.


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОЧИХ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ
ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ №071532
ФАМИЛИЯ Шашалевич
ИМЯ, ОТЧЕСТВО Андрей Антонович
ГОД РОЖДЕНИЯ 1893 г.
ПРОФЕССИЯ бухгалтер
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТАЖ 1921 г.
ГОД ВСТУПЛЕНИЯ В СОЮЗ 1938 г.
ГОД ВСТУПЛЕНИЯ В ДАННЫЙ СОЮЗ 1938 г.
ПОДПИСЬ ЧЛЕНА СОЮЗА
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТО ФОТО-КАРТОЧКИ
1938: ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ
При неуплате членских взносов в течение 3 месяцев членский билет недействителен
1939: ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
При неуплате членских взносов в течение 3 месяцев членский билет недействителен
1940: ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
При неуплате членских взносов в течение 3 месяцев членский билет недействителен

Между тем в Петрозаводске осень и зима 1940 года прошли в школьных заботах (Оксана пошла в первый класс), а весной 1941 года Ксения Антоновна съездила в Медвежью Гору на свидание с братом. Вернувшись, она взволнованно читала близким письмо отца к Сталину. Оксане, присутствовавшей при этом, запомнились ее слова: «Андрей держится бодро, но у него выбиты все зубы (якобы бревном). Он сказал, что пытают там, что не дают спать и все

время, круглые сутки, светят в глаза...» Эти пытки он выдержал, судя по протоколам допросов, которые много лет спустя мы вместе с Оксаной читали в его следственном деле. На вопрос следователя о знакомых, сослуживцах, друзьях он отвечал: «В Мурманской области никого не имею».

Разразившаяся война, трудности эвакуации помешали Ксении Антоновне доставить письмо «Другу трудящихся» адресату. Но сколько могла, она поддерживала обоих братьев Шашалевичей, попавших в лагеря, перепиской и посылками. От Василия Антоновича перестали приходить письма в 1942 году... О трагической гибели нашего дяди рассказал много лет спустя его друг — белорусский поэт и писатель С. И. Граховский, без вины отсидевший 10 лет в лагерях во время сталинских репрессий. Через этапников он дознался: неведомо кто внезапно подпилил березу на лесоповале и спустил ее прямо на Василия Антоновича, комиссованного по здоровью и работавшего учетчиком...

Переписка же с отцом длилась до октября 1943 года. Он писал, что здоровье его слабо; ему дали I группу инвалидности и собираются освободить. Решили, что он приедет в Кинешму Ивановской обл., где находись Ксения Антоновна и Оксана. В октябре письмо, посланное Ксенией Антоновной в лагерь, вернулось с пометой: «Выбыл на освобождение в Кинешму». Много раз понапрасну ходили родные на пристань встречать отца.

Весть об этом после освобождения Брянской области пришла к нам от Ксении Антоновны зимой 1943—1944 года. Как и вся деревня, после пожара мы жили в землянке; письмо мама читала при свете воткнутой в стену лучины. Юра горько плакал, но тогда ко многим приходили «похоронки». Мы решили, что отец жив и только пропал без вести. Отчаянный подросток убегал на товарняках, «зайцем», — искать его в Магадане...

...Лагерное начальство нам солгало. Не в Кинешму был отправлен наш отец после «освобождения». В 2000 году мы с сестрой, ознакомившись со следственным делом, запросили УВД Коми о месте смерти и захоронения посмертно реабилитированного в 1956 году А. А. Шашалевича. Глаза мои долго отказывались принять содержание ответа. Наконец, решаюсь привести его: «Сообщаем, что Ваш отец Шашалевич Андрей Антонович, 1893 г. р., действительно отбывал наказание в Усть-Вымлаге Коми с 12.10.42., прибыл из Березлага. Он был освобожден 25.09.43 и следовал к месту жительства — Фрунзенская обл. Кагановичский рн, ст. Новотроицкий. В пути следования 8 октября 1943 г. в поезде был обнаружен труп Шашалевича Андрея Антоновича, о чем составлен акт — начальник эшелона, медсестра, уполномоченный милиции. Место захоронения не известно. Извещение о смерти направлялось в ГОМ УВД Мурманской обл. 24.05.57 г. за № 1/1032. Основание, арх. л/д.». Снова неведомо кто исполнил злую волю...

Во время ознакомления со следственным делом нам отдали вместе с профсоюзным билетом лагерную фотографию отца. На обороте никаких записей или пометок; в углу негатива — какие-то цифры и знаки. Усталое, небритое лицо, шинель… Не любительский снимок, но и не стандартный «зэковский» — стандартных в деле два: анфас, профиль. Снимок сделан, скорее всего, незадолго до «освобождения», без ведома снимаемого: взгляд его направлен не в объектив, а куда-то в сторону, наверное, к выходу. В глазах — смешанные чувства, и доминирует надежда. На жизнь, возвращение, встречу…

ВАСИЛЬ МАКАРЕВИЧ

От серпа и молота

*(Штрихи к творческому портрету
Бронислава Спринчана)*

Когда-то на одной из дружеских встреч я спросил у Бронислава Спринчана, как он попал в горячий цех поэзии. Поэт смущенно и скупо улыбнулся и рассказал о том, как после окончания машиностроительного техникума в Кировограде он по распределению был направлен на Гомсельмаш. Ему пришлось работать в кузнечном цехе, где грохотали многотонные молоты, сверкали молнии от раскаленных болванок-заготовок, и уже оттуда он перешел в горячий цех поэзии, написав о своей работе немало стихов. Кузнечный цех заронил в его душу творческую искорку, которая мало-помалу разгорелась, и вскоре в глазах юноши преобразился весь мир. И то, что происходило и в цехе, и в жизни, он увидел в удивительном, сказочном свете. Обычные вагранки и плавильные печи, краны и огнестойкие лотки, по которым плыла расплавленная сталь, внезапно изменились, как будто приняли новый вид, очертания и окраску. Молодому специалисту хотелось рассказать обо всем этом в стихах, передать на бумаге колоритными, запоминающимися образами, так убедительно и выразительно, чтобы даже люди, далекие от заводской жизни и работы, не только восторгались волшебством кузнечного цеха, но и захотели прийти сюда и, закатав рукава, потрудиться рядом с поэтом. Таким образом, кузнечный цех стал своеобразной «повивальной бабкой» его музы. Именно завод, как принято было говорить, дал пареньку путевку в большую поэзию, помогал «закалять» стихи, чтобы они выдержали любую поэтическую проверку, любой перепад температуры. Нелишне будет сказать, что там, в горячем цеху, строгие мастера кузнечного дела «брали на зуб» его строки и приходили к выводу, что многие из них не только добротно сделаны, но и симпатичны им своим оптимизмом и жизнеутверждающим началом. Они чувствовали, что поэт близок им как по кузнечному делу, так и по душе. А он, подхватив мотивы лучших представителей русской поэзии Я. Смелякова, Б. Корнилова и других, шел своей поэтической дорогой, обретая собственный голос, стиль письма, вырабатывая отношение ко всему окружающему. А это было немало для простого паренька, недавнего сельского жителя и выпускника техникума. Не каждый автор мог похвастаться таким вот многообещающим началом.

И тем не менее, хочется заметить, что начинал Б. Спринчан свой литературный путь в не очень благоприятное для поэзии время. Это было начало пятидесятых, когда приветствовалась творческая бесконфликтность и нужно было чуть ли не в каждой строке восславлять «светлое будущее», которое наш народ приближал, штурмуя и покоряя новые и новые трудовые вершины. Власть интересовали и волновали не поэтические находки и открытия, не душевные переживания лирического героя или героини, а в первую очередь — идеологическая надежность каждой строки и ее соответствие партийным установкам. Любая чрезмерная образность и метафоричность, новизна поэтической формы могла быть поставлена под сомнение. А как же иначе! Ведь за всеми этими, как считалось, ухищрениями можно было легко скрыть чуждые стране намерения и далеко

Бронислав Спринчан, 1952 г.

идущие цели. Поэты должны были придерживаться проверенной традиционной формы и стиля. Никто не обращал внимания на то, что все это вместе взятое приводило к тому, что стихи чаще всего получались банальные, образы заштампованные и затасканные. Но, к счастью, Б. Спринчану каким-то образом удавалось избежать этих недостатков. И происходило это, наверное, по той причине, что его, как говорится, коньком была рабочая тематика и он ее свято придерживался, знал ее не понаслышке.

Обращаясь к рабочей теме, можно было использовать смелый и рискованный образ или метафору, безусловно, делая это в рамках дозволенного. Выручало еще и то, что в стихах Б. Спринчана присутствовал не только металл, заводские «аксессуары и механизмы», но и чувствовалась душевная теплота, юношеская взволнованность и доброе отношение ко всему, что попадалось на глаза поэту и к чему прикасалось его перо. Какой бы черствой ни была душа самого заскорузлого идеологического надзирателя, но разве он мог не расчувствоваться, прочитав вот эту строфу:

Благословенна вечная страда:
Кую железо и чеканю стих.
Я всей душой поэзию труда
У молота кузнечного постиг.

Что и говорить, строфа получилась безукоризненная во всех отношениях. Она по-мастерски отточена и отшлифована. Хотя поэт, видимо, много и упорно работал над ней, но, слава богу, не видно того «пота», который оставляют неопытные авторы. Строфа достойна всяческой похвалы. Но как бы мы ни восхищались ей, найдется дотошный критик, который в своем глазу бревна не видит, а в чужом и соринку заметит, возопит, что если посмотреть через призму времени, то можно найти и недостатки. Да ведь и на солнце имеются пятна. Какие же изъяны можно обнаружить в этой отточеной строфе? А то, что она слишком «правильная». В ней присутствует та «правильность», которая требовалась и которая отошла в небытие. В наше время жизнь и стихи, похожие на дистиллированную воду, никому не нужны. В данной же строфе на виду явная заданность того, о чем говорится. И нет неожиданности и естественности, поэтического открытия, которое как бы нечаянно случается во время вдохновения и душевного озарения. В ней присутствует желание понравиться, угодить и одновременно показать и убедить кого-то в том, что поэт очень хорошо понимает задачи, стоящие перед творческой личностью. Что касается настоящей поэзии — она создается не на потребу дня, а на века. И для того, чтобы «цепляла», брала за живое, должна быть безупречной, кристально чистой, без примеси химических добавок и красителей. Только в таком случае поэтическому слову гарантировано долголетие.

Хотя нужно сразу оговориться, что вышеприведенная строфа и сейчас не может не обратить на себя внимания отточенностью, выразительностью. Если бы

подобные строчки вышли из-под пера профессионального поэта, это посчитали бы рядовым фактом. Но они принадлежали простому рабочему-кузнецу. И он настолько ярко сказал о том, о чем говорилось в то время в передовицах газет, на собраниях и во всех приличествующих местах, что нельзя было не услышать его голос. К тому же в этой строфе, как и во многих других, было высказано нечто вроде кредо не только самого Бронислава Спринчана, но и некоторой части молодежи его поколения. Он как бы негласно становился ее глашатаем. Это во многом и предопределило дальнейшую творческую и жизненную судьбу поэта. Его стихи стали чаще появляться на страницах периодической печати. Они отличались высоким профессиональным уровнем, культурой поэтической строки, ее полифоничностью. В стихах не было проходных, необязательных слов. Каждое из них стояло на своем, как бы заранее для него предназначенном месте. И в то же время прозаическое и возвышенное сливались в одно целое и давали отличный сплав, с присутствием эдакой «рабочей» изюминки, которую можно было взять «на зуб» и почувствовать определенный вкус.

Нужно сказать, что Б. Спринчан и в самом деле видел поэзию в своей заводской работе, в работе кузнеца и сталевара. Читая его стихи, складывается впечатление, что он всецело был поглощен и очарован всем тем, что происходило в цеху, и, кажется, ему не надо было напрягаться, ломать голову над строчками, чтобы поэтически сказать, например, о ковке серьги для сеялки. Останавливаясь на стихотворении, где говорилось об этом, нельзя не обратить внимания на удачно найденную деталь: слово «серьга» уже само по себе обладает каким-то волшебным свойством. Стихотворение построено таким образом, что вначале читателю кажется, что мастер дает задание своему ученику отковать серьгу для девичьего украшения. И поэтому возникает невольное удивление, мол, с какой это стати в цехе механической ковки берутся за такую работу. Не разочаровывается читатель, когда узнает, что вещь эта прозаическая, является деталью сеялки, без которой нельзя обойтись на посевной. Между прочим, подчеркивает это и поэт: «Взяв чертеж, я подумал: «Пустяк… Не для модниц, — для сеялок серьги». Строки — одновременно и образец поэзии того времени, когда общественное ставилось выше личного, считавшегося признаком мещанства. И, тем не менее, под пером серьги, о которых идет разговор, одинаковые по названию и различные по назначению с другими серьгами, женским украшением, становятся словно «сестрами». Изящность и красота женских сережек в какой-то мере передаются и тем, которые используются в технике. Это «раздвоение» и одновременно «единение» понятий вызывают у читателей какую-то душевную теплоту и добродушную улыбку. Нельзя не заметить и того, что стихотворение оканчивается довольно неожиданно. Что, конечно, тоже ему на пользу:

> Мастер сам осмотрел мою пробу,
> Руку мне положил на плечо:
> — Не годится…
> Берись за учебу,
> Куй железо, пока горячо!

У этой строфы немало достоинств. Во-первых, ее оживляет и делает более полновесной в художественном отношении прямая речь. Во-вторых, рассказ идет не от третьего лица — рассказывает сам рабочий. И это усиливает впечатление достоверности факта, имевшего место в кузнечном цехе. И, в-третьих, присказка, которую использовал поэт, безусловно, делает стихотворение эмоционально окрашенным, более живым, а лирического героя — «своим парнем», к которому можно обращаться запанибрата. Это стихотворение не могло не обратить на себя внимание в то время, да и сегодня оно вполне интересно. Правда, сегодня мы глядим на него как бы глазами того времени и мысленно отмечаем, что тогда оно было своеобразным открытием на материке русскоязычной белорусской поэзии.

Это говорило о том, что в поэзию пришел и успешно разрабатывает рабочую тему человек, которому эта тема близка, потому что связана с его судьбой, и что от него можно ожидать очень много, и в первую очередь — произведений о рабочем классе, чего тогда так не хватало.

Конечно, Бронислав Спринчан не мог подвести своих литературных наставников и почитателей, возлагавших на него большие надежды. Поэт продолжал работать в том самом поэтическом ключе, выдавая «на-гора» новые произведения, в которых обязательно присутствовали если не полноценные золотые самородки, то хотя бы их малые крупицы, радующие душу и сердце и подтверждающие, что поэт идет в правильном направлении, и кто знает, какие открытия он еще сделает. Нельзя не отметить, что время от времени Б. Спринчан как бы отклонялся от своей генеральной линии — тематики Гомсельмаша — и обращался к природе Полесья, к городам, флагманам индустрии республики: Гродненскому азотно-туковому комбинату и другим крупным предприятиям. Поэт и здесь смог показать себя с лучшей стороны: он открыл немало нового и интересного как для себя, так и для читателей. Посетив Гродненский азотно-туковый комбинат и проникнув в самую сердцевину производственных процессов и сложных механизмов, поэт пишет:

…В аппарате солнцем диск лучится,
В самом центре огненной игры
С треском распадаются частицы,
Возникают новые миры,
Возникают и меняют форму…
Парень над приборами, как маг…
В зернах гранул по законам формул
Зреет животворный аммиак.

Нельзя не удивиться, с какой завидной выдумкой и фантазией говорит поэт о том непростом процессе, вследствие которого получают аммиак. Читая строки, создается впечатление, что Б. Спринчан стоит где-то непосредственно у пылающей печи и, наблюдая, что в ней происходит, ведет своеобразный репортаж в поэтической форме. При этом, рассказывая о прозаических, заурядных вещах, старается говорить возвышенным стилем и слогом. Поэт восклицает: «С треском распадаются частицы, возникают новые миры». И нам кажется, что он находится не на азотно-туковом комбинате, а где-то на атомной станции, и следит за распадом урана или же говорит о космических явлениях. Настолько выпукло и масштабно встает перед нами производственная картина. Правда, в ней отсутствует человек. Но в первые мгновенья читатели не замечают этого. Настолько мощная и колоритная живопись, настолько уверенно звучит голос поэта, полностью овладевшего нашим вниманием. И только немного погодя, когда мы буквально спотыкаемся о прозаическую строку: «Зреет животворный аммиак», невольно спохватываемся. И, к своему удивлению, замечаем, что стихотворению производственного характера, которое так заинтересовало нас, вроде бы чего-то недостает. И после некоторого раздумья начинаем понимать, что за калейдоскопическим мельканием красочных образов и метафор, обрушившихся на нас, мы не видим человека, который должен стоять за всем этим грандиозным действом, происходящим у нас на глазах. Правда, он как бы номинально присутствует. Это «парень над приборами, как маг…». И больше о нем ни слова. Видимо, поэт, почувствовал это досадное упущение и, стараясь компенсировать его, обращается к возвышенному и божественному, уточняя, где все это происходит: «Там, где росписи святых идиллий ангелами устремлялись ввысь». Тем самым отдает дань церквам и костелам древнего Гродно. Живописные декорации, выполненные уверенной рукой мастера, на фоне которых, однако, должен был во весь рост встать современник с его проницательным взглядом в грядущее, являющего мощный интеллект мыслителя

и созидателя, отвечающего не только за прорыв в новые технологии, но и за духовные богатства и сокровища, без которых невозможно двигаться в будущее. К сожалению, сам современник терялся за техническими нагромождениями. Чего греха таить, в то время поэты, оглушенные техническими успехами, первым делом стремились показывать эти успехи, а потом удивлялись, почему «физики в почете, а лирики в загоне». Не избежал этого и Б. Спринчан. Как сказал Есенин, хотя и по другому поводу, «их мало, с опытной душой, кто крепким в качке оставался». Каким-то оправданием может послужить и то, что тогдашние поэты ездили на новостройки и на ходу сочиняли стихи о внешней их стороне, не всегда отдавая должное строителям и их внутреннему миру. Так, вероятно, случилось и с Б. Спринчаном после того, как он посетил Гродненский азотно-туковый комбинат.

Но, как говорят, в гостях хорошо, а дома лучше. Возвратившись в кузнечный цех родного завода, поэт не без удивления замечает, что не все еще открыл, не все сказал о нем — поэтические находки ожидали его на каждом шагу. Оставалось только увидеть их, облечь в художественную форму и положить на бумагу. Посмотрите, как ритмически упруго, эмоционально, поэтически сказано о том, что происходит в цехе:

Электросварка
Пылает ярко —
Кругом светло.
И, как живое,
Дрожит другое
Огня крыло.

Читая эти отшлифованные строчки, невольно попадаешь под магию их звучания, стараешься уловить что-то загадочное и таинственное, что кроется где-то в глубине. Казалось бы, что удивительного в том, как брызгает огнем электросварка! Сколько раз мы видели, как электросварщик, заслонив лицо и глаза щитком, колдует над железом или чугуном. А под пером Б. Спринчана появились вон какие интересные ассоциации:

В редакции журнала «Нёман».

И, весь в движенье,
От напряженья
Металл поет.
И сварщик
пламя,
Как мира знамя,
В руке несет.

Если бы под строчками и не стояла дата их создания, помеченная 51-м годом, все равно можно догадаться, что в них говорится об упорной и настойчивой борьбе, которая велась в послевоенное время в нашей стране за мир во всем мире, когда Америка, обладая атомной бомбой, угрожала развязать третью мировую. Поэтому даже пламя электросварки кажется поэту знаменем мира, под которым проходили демонстрации в наших городах и селах. Такую же примету времени мы находим и в другом стихотворении, посвященном сыну, которое является своеобразным наказом перед дорогой, что поведет его в жизнь. Наказ дается на улице, людной и широкой:

И с нее открыты в жизнь пути.
Зазвучит призывно горнов медь,
Будет красный галстук на груди,
Как частица пламени, гореть.

Стоит ли упрекать Б. Спринчана в том, что он говорил то, о чем говорилось везде и всюду. Обращает на себя внимание то, что каждое стихотворение поэта отличается идеальной технической отделкой, ясностью мысли и определенностью гражданской позиции. Ритмика его стихов своей строгой чеканкой напоминает строевой солдатский шаг. Что поделаешь, таковы были реалии того времени, когда люди, по выражению Маяковского, «жили зажатые железной клятвой» и было не до инакомыслия и желания выделиться диссидентством, крамольными высказываниями, несогласием с властями. Все это появится несколько позже, а точнее, во времена хрущевской «оттепели» и в годы перестройки. Умаляет ли это поэтические успехи Б. Спринчана? Вряд ли стоит говорить об этом. Время по-своему обходится с творцами, одних возвышая и осыпая наградами, других не замечая и равнодушно проходя мимо. Что касается Б. Спринчана, творческая судьба его складывалась удачно. Он, как это ни странно, не оставляет кузнечного цеха, по-прежнему работает на том же месте, на той же самой должности. Цех как бы становится для него своеобразной вышкой или сторожевой башней, с которой в далекие времена зорко и внимательно следили за лежащею вокруг местностью: не идут ли чужаки? Не удивительно, что с заводского цеха Б. Спринчану открывались широкие и безбрежные как жизненные, так и поэтические горизонты, и такие, что у него просто захватывало дыхание. Иногда все то, что было знакомо и привычно, вставало перед его глазами в каком-то новом и необычным ракурсе и освещении. И это не могло не отразиться в стихах, похожих на дневниковые записи и наброски, в которые он заносил ежедневные впечатления, западавшие в душу. Что-то необычное произошло, когда поэт бросил взгляд в сторону и замер от удивления.

И вдруг в окне центрального пролета
Увидел луг цветущий за рекой.

Я с детских лет весенний мир приемлю,
От красоты не раз терял покой,
Но лишь из цеха вдруг увидел землю
Торжественной и радужной такой.

Как после этого не воскликнуть: не волшебник ли этот кузнечный цех?! Разве поэт не видел цветущего луга раньше, например, из окна своей квартиры или вагона поезда? Но не обратил внимания на удивительную красоту, которая открылась ему здесь, из окна цеха. Возможно, для других рабочих этот цех оставался обыкновенным помещением, где они были заняты привычным делом. Но поэт чувствовал себя в нем совершенно другим человеком, душа его наполнялась невероятной окрыленностью, любовью и вниманием ко всему земному и небесному. А может быть, находясь в невероятной жаре, грохоте и огненных сполохах, поэт даже маленький клочок земли на заводском дворе, заросшем травой, мог увидеть не только цветущим лугом, но и еще бог знает чем.

Работа с авторами.

Между тем, магическое влияние кузнечный цех оказывал не только на Б. Спринчана и его лирического героя. Чудотворно воздействовал он и на все то, что находилось рядом с ним. Даже на сорную полынь-траву. Мимо внимания поэта не прошло незамеченным то, что после весенней капели «возле цеха высохла панель и у кромки треснула — смотри! — словно гвоздь вбивают изнутри…». Увидеть такую «мелочь» дано не каждому. Для этого нужно иметь острое зрение и отзывчивую душу. Этих качеств у Б. Спринчана было в избытке. Он зорко смотрел на каждую мелочь и видел в ней что-то большое и значительное. Если в капле росы Солоухин увидел целый мир, то Спринчан рассмотрел в трещине панели зеленый росток:

Отряхнув комочки глины ржавой
И пружиня, как стальной клинок,
К солнцу из пробоины шершавой
Потянулся тонкий полынок.

Удивительно, что вот этот тонкий и пока что квелый полынок как-то по-особому трогает душу, наполняет ее необыкновенной теплотой и радостью. А как же иначе, ведь на свет пробилась новая жизнь, пусть это всего-навсего обычная трава. Но это, заметим, происходит не в деревне, а в городе, где глаз радует любое растение. Колоритно, цветасто и густо кладутся художественные мазки, показывая, что происходит с этим полынком дальше: «Утвердился над асфальтом черствым, в лист резной вплетая теплый луч». Своеобразным аккордом звучат заключительные строки: «Восхищаюсь я таким упорством: с ним и хрупкий стебелек могуч!..» Можно отметить, что стихотворение перекликается с замечательным рассказом нашего мастера прозы М. Стрельцова «Сена на асфальце», которое с восторгом в свое время встретили читатели и критики.

Произведения Бронислава Спринчана напоминают своеобразные ажурные опоры линии высокого напряжения, обозначающие его творческий путь, по кото-

Иван Шамякин, Бронислав Спринчан, Андрей Макаенок, Анатолий Гречаников.

рому шел поэт от произведения к произведению, утверждая себя как интересного и вдумчивого автора, и одновременно убеждая, что в нашей жизни нет ничего мелкого и незначительного и даже капля дождя имеет свои тайны и загадки, как и этот полынок, пробившийся и потянувшийся в небо жизни и поэзии. Близко к стихотворению о полынке стоит и другое, в котором говорится о камне. Оно тоже о том, как нечто обыкновенное внезапно становится чудом. В стихотворении поэт рассказывает об упорстве камнетеса, взявшегося шлифовать камень, на котором «как изморозь на комле дуба, сверкают искорки слюды». О своей работе герой Спринчана говорит иносказательно. Камнетес-шлифовальщик не напрягал мускулы, а всего лишь «долго нянчил глыбу камня». Но за этим глаголом «нянчил» мы видим очень многое, и в первую очередь любовь к своему занятию, радость в предчувствии чуда, которое выйдет из каменной глыбы. Упорство и трудолюбие отблагодарили художника-камнетеса:

Была работа не легка мне.
Всю душу в труд вложил, любя.
И вдруг, как в зеркале, себя
Увидел я в ожившем камне.

Стихотворение написано полвека тому назад. В то время художественная деталь, то, что лирический герой увидел себя в отшлифованном камне, была поэтическим открытием. Но эпигоны настолько затаскали этот образ, повторяя его и так и этак в своих поделках, что он как-то незаметно потускнел и утратил первоначальную свежесть. Этот факт говорит о парадоксах, которые случаются в горячем цехе поэзии, и о том, как новый образ могут расхватать рифмачи, не замечая того, что это прямое заимствование, если не плагиат.

Работая в кузнечном цехе, Б. Спринчан одновременно занимался, правда, заочно, в Литературном институте имени М. Горького в Москве. Творческим руководителем и рецензентом его дипломных стихов был известный мастер русской поэзии Илья Сельвинский. Безусловно, представить для оценки свои произведения признанному мэтру для Спринчана было очень волнительно и вместе с тем почетно. Но оказалось, что от стихов младшего коллеги по перу, работавшего на Гомсельмаше, И. Сельвинский был в восторге. Б. Спринчан бережно хранил эту рецензию как дорогую реликвию, напоминающую о далекой юности

и поэте, который встречался и вел литературные дебаты с самим В. Маяковским. Вот что писал И. Сельвинский в рецензии: «…Впервые встретился с настоящей подлинной музой индустрии в стихах Бронислава Спринчана. Он силен там, где его рабочее чувство... возникает само собой, как дыхание… Автор с огромной глубиной и естественностью раскрыл слитность души рабочего с его работой. У Спринчана образы производства настолько органичны для его сознания, настолько присущи всей его эстетике, что об искусственности не может быть и речи. Молодой поэт не был привержен исключительно к производственной тематике. У него немало хороших стихов о деревенской природе, есть стихи о родине, о сыне…»

Согласитесь, от такой высокой оценки могла и голова закружиться.

Но Спринчан остался верен себе, он не задрал, как говорится, нос. Поэт словно предчувствовал, что время и жизнь внесут свои обязательные и неизбежные, бескомпромиссные и справедливые коррективы. В предисловии к книге избранных стихов и переводов «Вечная страда» О. Лойко замечает, что ранние производственные стихи Б. Спринчана вряд ли вызовут такой восторг, такую высокую оценку, какую дал И. Сельвинский, по той причине, что в его произведениях 50-х годов было немало временно́го и преходящего, которое действительно стало вре́менным и преходящим. Имеется в виду искусственная эстетизация, неестественность некоторых словесных украшений, отход ряда образов и картин от действительности, от его личного опыта и судьбы.

Однако лучшее из написанного Б. Спринчаном звучит актуально и сегодня, невзирая на то, в какие годы стихи появились на свет, кому и чему были посвящены. Особенно это относится к тем произведениям, где присутствуют глубокие раздумья о жизни, о назначении художественного слова, размышления об общечеловеческих проблемах, противоречиях, существовавших и существующих в обществе как ранее, так и теперь. Разве не об этом сказал поэт:

И на грани яркого накала
В дни, когда полями шла страда,
Из противоречий возникала
Нужная для жизни острота.

О друзьях-рабочих, кузнечном цехе, а также о металле Б. Спринчан, как и прежде, говорил с такими же любовью и доверием, по-домашнему тепло и прочувствованно, что, казалось, рабочий процесс и сам металл оживали, радовались и негодовали, светились и омрачались вместе с человеком.

Как строги у деталей грани,
Но в голубой полоске среза
Сквозит и нежность светлой рани,
И твердость доброго железа.

Неспроста говорит Б. Спринчан о близком соседстве «нежности светлой рани и твердости доброго железа». Поэт напоминает о том, что он сын двух миров, города и села:

Как на духу откроюсь весь я:
Во мне мой город и село
Смыкаются для равновесья,
Как с левым правое крыло.

Бронислав Спринчан рос и взрослел как поэт, от стиха к стиху, постигая внутреннюю диалектическую противоречивость жизни, проникая в ее глубины, говоря о ней, как сказал Маяковский, «весомо, грубо, зримо», связывал свои открытия и наблюдения с собственной биографией и опытом, вынесенным из кузнечного цеха:

Пусть вещи и не стали проще,
Пусть обнажили суть не вдруг,
Но мир, постигнутый на ощупь,
Вошел в меня, как в землю плуг.

Вдали от кузни и вагранки
Мне сохранить бы до конца
Характер заводской чеканки,
Черты рабочего лица.

В вышеупомянутой рецензии И. Сельвинского говорилось, что есть у поэта и произведения о природе. «Но, — отмечал рецензент, — в них Спринчан ничем не отличается от других хороших поэтов». О каких стихах говорил рецензент, сейчас трудно сказать. И что он хотел отметить этой немного завуалированной фразой, тоже не очень понятно. Разве только то, что стихи были неплохие, но почему-то не вызвали у него особого восхищения. Не для того, чтобы возразить Сельвинскому, однако хочется напомнить стихотворение Б. Спринчана об олене, по мастерству художественного воплощения которое трудно переоценить. В нем говорится об олене, его беге в прямом и переносном смысле, беге, от которого зависела не только жизнь, но и его красота. Чтобы выжить, олень вынужден был убегать от хищников. И этот постоянный бег на протяжении веков не только спасал, но и закалял его физически, делал красивым, грациозным обитателем лесов. Вот как обо всем этом говорит поэт:

След волчий на тропе оленьей.
В охоте понимая толк,
Из поколенья в поколенье
Преследует оленя волк.
....
Так в постоянном напряженье
За перевалом — перевал.
Оленя в яростном движенье
Упругий ветер шлифовал.

Обращался Бронислав Спринчан в своих стихах и к прекрасной природе нашей синеокой республики, ставшей для него второй родиной, которую он полюбил всей душой. Для того, чтобы, воспевая наш озерный край, с предельной глубиной и точностью передать национальный колорит и очарование, поэт иногда употреблял белорусские слова, цитаты, как, например, «жыта красуе», которое и в стихотворении на русском языке не выглядит чем-то чужеродным и лишним. Наоборот, подобные изюминки дополняют общую картину новыми красками и звучанием. Кому не приглянется вот эта строфа:

«Жыта красуе,
ліпа мядуе,
бульба цвіце…»
Вспомнилась строчка,
и лик Беларуси,
Что отражается в тысячах русел,
Вновь предо мною — во всей красоте.

На протяжении всего стихотворения словно слышится гудение пчел, пение птиц, перезвон прозрачной криничной струи, шелест луговых трав. Кажется, что мы чувствуем, как пахнет липовый мед и высушенный на солнце клевер, а возле берега речки нагретый бересклет. Нельзя не заметить, что стихотворение заканчивается на высокой эмоциональной ноте: «Помолодели даже бабули, повеселели глаза матерей».

Б. Спринчан обращался в стихах и к своему родному селу Канеж, которое находится где-то на юге Украины, где он родился и вырос. Автор прослеживает историю села с тех времен, о которых помнят его жители. Говорит он об участии своих родственников как в Первой мировой войне, где его «отец, страх осилив, под загражденьем «языка» тащил», так и во Второй мировой. Вторая дошла до Канежа и оставила кровавый след. Поэт гордится своими земляками:

Их свято чтят и в праздники, и в будни,
Они навеки — в памяти сельчан.
В большой могиле братской спят и люди
С фамилией, как у меня, — Спринчан.

Этим самым поэт подтверждает свою причастность к общей судьбе земляков-канежцев.

Если говорить о жизненном и творческом пути Б. Спринчана в целом, то его можно условно поделить на две половины, на два периода. К первому относится его работа в кузнечном цехе на Гомсельмаше и учеба в Литературном институте имени М. Горького в Москве. Второй период начался тогда, когда его пригласили работать в редакцию журнала «Нёман» в отдел поэзии. В нем поэт трудился до ухода на заслуженный отдых. Но и потом поддерживал тесные и плодотворные связи как с журналом, так и с его сотрудниками, печатая на страницах издания лучшие свои произведения.

Надо отметить, что, будучи в редакции журнала «Нёман» заведующим отделом поэзии, Б. Спринчан не только готовил к печати стихи известных русскоязычных поэтов, он искал и успешно открывал новые имена и таланты, а также пристально следил за творчеством белорусских авторов, делал все для того, чтобы лучшие произведения были переведены на русский язык и напечатаны на страницах «Нёмана». Как правило, переводами занимались опытные русскоязычные поэты. Переводил Б. Спринчан и сам. Его переводы отличались бережным отношением к оригиналу, желанием, чтобы перевод был близок к нему не словесной идентичностью, а глубиной смысла и тех нюансов, которые были характерны произведению.

Находясь в преклонном возрасте, когда за его плечами было, по выражению А. Кулешова, где-то около восьми десятков «спакаваных зім», Б. Спринчан выглядел удивительно молодо, был жизнелюбив и трудолюбив, обладал завидным оптимизмом и жаждой новых поэтических открытий и свершений. Об этом красноречиво говорится в строфе из предпоследних его стихов, в котором речь идет о вереске:

Цветет и будит мысли,
Цветет — горит в огне,
И эта жажда жизни
Передается мне.

Сколько бы еще вышло из-под пера Бронислава Спринчана удивительных лирически-прочувствованных строк, если бы не случайная и нелепая трагедия. В вечерних сумерках он переходил улицу, и на него налетела легковая машина. Остались его стихи, в которых живет его душа, в которых чувствуется его дыхание.

Золотится вечером во мгле
Колос, что ты вынянчил для жатвы.
Пусть твои земные сроки сжаты, —
Ты оставил след свой на земле.

Перевод с белорусского автора.

АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ

Историк Николай Сташкевич и его время

Трудно смириться с мыслью, что Николая Стефановича Сташкевича уже почти два года нет с нами. Настолько органично он вошел в культурную среду суверенной Беларуси, а его научные работы, монографии, учебники, статьи, лекции и выступления, сам факт жизни и деятельности существенно повлияли и, я думаю, еще долго будут влиять на понимание многих актуальных проблем отечественной истории. 23 августа 2013 года ему исполнилось бы 75 лет.

Николай Сташкевич никогда не играл роль ученого — он им был, никогда не изображал себя лучшим, чем был на самом деле. Таким он и останется в нашей памяти — крупным ученым и гражданином, человеком естественным, и в чем-то особенным и неповторимым. А его действительно высокий авторитет ученого был рожден и поддерживался на протяжении всей жизни напряженным каждодневным трудом, безусловной природной одаренностью и лидерской харизмой. Ученый-энциклопедист, он был человеком и гражданином поистине общенационального масштаба.

Вспоминаю сегодня Николая Стефановича, и перед глазами сразу встает живой образ классического хрестоматийного академического ученого или вузовского профессора из далекой послевоенной поры. Такой же — немножко неуклюжий, полноватый, в толстых очках, непременно с потрепанным портфелем в руках, до предела набитым книгами, по-юношески увлеченный наукой. А еще — его удивительная манера общения, желание объясниться ясно и доступно, внимательно выслушать собеседника, а уже затем продемонстрировать быструю и очень точную реакцию — искрометную, пламенную, емкую. При этом он мог быть порывист и крут, мог «завестись», как говорится, с пол-оборота, и тогда уж держись. Зла, как правило, не помнил, никому по жизни не завидовал, на коллег не обижался. В нем постоянно жило неукротимое желание — найти новые факты и обязательно докопаться до истины.

Как это ни парадоксально звучит, но каждое время рождает свою версию истории. Николай Сташкевич был искренним приверженцем советской цивилизации. Это время было насыщено великими открытиями и свершениями, событиями радостными и трагическими, которые, без всяких преувеличений, во многом определили нынешнее состояние мира и его далекую перспективу. Уже более двадцати лет назад этот мир прекратил свое существование. И чем дальше ухо-

дит его время, тем более значимыми представляются итоги более чем 70-летнего советского эксперимента. Хотя для истории — это всего лишь мгновение, вспышка чрезвычайно яркого озарения. И вполне закономерно, что интерес Сташкевича как ученого был сконцентрирован на самых сложных этапах советской и постсоветской истории, не до конца проясненных ее моментах.

Николая Стефановича всегда интересовали истоки и сам процесс системных изменений, переходных состояний, когда общественная система переживала революции, проявляла качества нового состояния. Его пытливый ум исследователя был направлен на постижение движущих сил перемен и роли личности в историческом процессе. Сложный, а подчас и трагический выбор нового пути развития, укоренение государственности в бывших республиках, а после распада Советского Союза самостоятельных странах, стали предметом его неустанного научного поиска. До сих пор вспоминаю его положительную реакцию на свои монографии «Переходное общество: проблемы системной трансформации» (1997) и «Власть и общество: поиск новой гармонии» (1998), в которых с позиций социологической науки рассматривались близкие по тематике проблемы. Кстати, чтобы о чем-то судить, он всегда должен был прочитать текст и в оценках не кривил душой — говорил всегда то, что думал, в том числе и нелицеприятное. Но когда что-то ему нравилось, не скупился на похвалу. Сам был ученым самодостаточным.

Историк Николай Стефанович Сташкевич всегда жил интересами страны, был государственником. Хорошее знание исторического прошлого давало ему возможность смотреть далеко вперед. Его прогнозы развития политических процессов на постсоветском пространстве чаще всего сбывались, хотя и не всегда радовали. В нем жило постоянное стремление к философскому, социологическому и методологическому осмыслению происходящего. Подобная литература занимала практически третью часть его огромной домашней библиотеки. В лучших своих работах и выступлениях он сумел подняться над множеством фактов и создать свои или развить уже существующие и укоренившиеся в исторической науке концепции. И сегодня, когда широким фронтом развернулись междисциплинарные исследования белорусской государственности, а ученые стремятся прояснить историю возникновения этноса белорусов, изучить их культуру, национальные особенности, традиции, быт, понять истоки духовности и жизненной силы белорусского народа, они вновь и вновь обращаются к работам Николая Сташкевича.

Сташкевич — ученый-борец. Взгляды, которые сформировались у него под влиянием учителей и выкристаллизовались в процессе многолетней исследовательской работы, он защищал яростно. Здесь для него авторитетов не было. «Перевертышей», пришедших в историческую науку с перестройкой, он категорически не принимал. Особенно был нетерпим к фальсификации истории Великой Отечественной войны, реабилитации коллаборационистов, которые добровольно пошли на службу к фашистским оккупантам. Каждую новую информацию или факт искажения исторической правды, как лавина обрушивающуюся на сознание людей, не мог принять спокойно и всегда аргументированно и строго научно давал свой исчерпывающий комментарий. Эти качества сполна раскрылись в период работы профессора Сташкевича над редактированием 18-томной Белорусской Энциклопедии.

Сегодня, видимо, еще рано давать окончательные оценки фундаментальному вкладу известного белорусского ученого-историка Николая Сташкевича в развитие социально-гуманитарной науки и теории государственного строительства суверенной Беларуси. Слишком мало времени прошло после его кончины. Однако уже сейчас можно вполне уверенно утверждать, что с уходом Николая Стефановича в белорусской исторической науке образовался своеобразный вакуум. Масштаб личности ученого, его авторитет и энциклопедические знания, независимость в оценках были столь впечатляющими, что еще при жизни он получил признание неформального лидера среди белорусских историков.

Ему действительно было многое дано. Несмотря на жизненные трудности и невзгоды, он — выходец из простой крестьянской семьи, — как говорится, выбился в люди. Проработав в свое время шахтером и слесарем, волею судьбы он в конце концов пришел на исторический факультет Белорусского государственного университета. Здесь же окончательно обрел свое призвание, с неимоверной настойчивостью и завидным упорством засел за книги. Книга на всю оставшуюся жизнь стала его самой большой страстью и привязанностью. Более чем за сорок лет своей научной и педагогической деятельности Николай Сташкевич собрал уникальную домашнюю библиотеку. До последних дней своей жизни он не отказывал себе в удовольствии насладиться чтением новой книги. Был энциклопедически образованным человеком, знатоком архивных материалов, обладал феноменальной памятью.

Николай Стефанович никогда не стремился к должностям и званиям. Может быть, поэтому никогда и не занимал должностей, достойных масштаба его личности и авторитета среди научной общественности. Начав свое восхождение в науке с должности младшего научного сотрудника Института истории партии при ЦК КПБ, он под руководством академика Иллариона Мефодьевича Игнатенко нашел свою научную нишу на недостаточно освоенном еще материке, каким в то время представлялась история Беларуси. Увлекся сложным и малоизученным периодом белорусской истории начала XX века, на который пришлись революции, гражданская война, восстановление народного хозяйства. Именно в этот период формировались и исчезали политические партии и движения, получил развитие сложный процесс становления белорусской советской государственности. Вполне закономерно, что молодой историк издает одну за другой серьезные научные статьи, монографии, которые до сих пор не потеряли своей актуальности и научной значимости. Как ученый, Николай Сташкевич работал основательно и ответственно, и вполне закономерно, что он постепенно продвигался по служебной лестнице. Со временем возглавил сектор истории Великой Отечественной войны Института истории партии при ЦК КПБ, а позднее — отдел истории политических партий социалистической ориентации Института историко-политических исследований. Затем Николай Стефанович возглавил кафедру истории и белорусоведения Республиканского института высшей школы Белорусского государственного университета. С 1999 года доктор исторических наук, профессор Николай Стефанович Сташкевич исполнял обязанности директора Института истории Национальной академии наук. Последние годы работал профессором кафедры экономической истории Белорусского государственного экономического университета.

Николай Сташкевич не боялся конкуренции со стороны коллег. Именно поэтому в его управленческой этике доминировала научная компонента, он стремился найти понимание и общий язык со своими оппонентами, не прибегая к крайним административным мерам. Было это его слабостью или силой — покажет время, но он всячески стремился сохранять и наращивать реальный потенциал исторической науки. Многие из современных историков могут назвать его своим учителем или крестным отцом. Дело в том, что долгое время он был ведущим экспертом Высшей аттестационной комиссии по историческим наукам. После защиты докторской диссертации в 1990 году и утверждения работы в Высшей аттестационной комиссии он постоянно работал в диссертационных советах. В 1998 году Николай Стефанович возглавил экспертный совет Государственного высшего аттестационного комитета Республики Беларусь по историческим наукам. В 2003 году Указом Президента Республики Беларусь он был включен в состав Президиума Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, где работал два полных срока, включая 2009 год. При этом профессор Сташкевич никогда не отрывался от повседневной университетской и академической жизни — постоянно преподавал, выполнял научные проекты Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, руководил дипломниками, магистрантами и аспирантами. Официально под его непосредственным руководством

защищено не так уж и много диссертаций — где-то около десятка кандидатских, у пяти соискателей он был научным консультантом по докторским диссертациям. Зато многим из сегодняшних успешных ученых и преподавателей он дал путевку в жизнь своими советами и рекомендациями. Его творческая щедрость зачастую не знала границ. Если он находил что-то интересное, ранее ему неизвестное, он просто светился от счастья и непременно должен был поделиться этим со своими коллегами, учениками, всеми, кто был рядом в эту минуту.

Николай Сташкевич был интересен молодежи. И это тоже феномен, который следует выделить особо, так как это дается далеко не всем. И дело здесь не только в его глубоких познаниях — он как бы притягивал словом, логикой, интонацией, покоряя смелостью оценок, остротой в постановке проблемы, доверительностью в разговоре, где он не учил, а на равных вел беседу. И тогда собеседник как бы сам приходил к выводам, о которых еще минуту назад даже не задумывался, признавая приоритет за профессором. А может, еще и потому, что Николай Стефанович никогда не приукрашивал действительность, не использовал ложь как аргумент, оставался со своим собеседником на равных и в его житейской правде искал, находил, а найдя зерно истины, мог принять его безоговорочно. Извлекать знания из событий истории, пожалуй, самое главное умение ученого-историка, и Николай Стефанович владел им сполна.

Через учебник истории молодежь смотрит на мир и формирует свое миропонимание на примерах исторических событий и поступков героев, которые впервые предстают с его страниц. В период распада некогда единой советской страны, в состав которой входила и наша республика, возникла острая потребность в собственных учебниках истории. Была создана государственная комиссия, где знания и талант Николая Стефановича были востребованы сполна. Фактически все учебники истории для средней школы, а затем и вузов суверенной Беларуси, прошли через его руки, а точнее, через его сердце. И то, что сегодня в стране выросло целое поколение людей, знающее и любящее историю родной Беларуси, интересующееся своим прошлым, ищущее свои национальные корни, — немалая заслуга историка и активного исследователя Земли белорусской Николая Стефановича Сташкевича.

Сташкевич был ярким и очень интересным лектором. Мог самые сложные вопросы и проблемные ситуации «разложить по полочкам» и донести до слушателей в понятной и доступной всем форме. Никогда не уходил от острых вопросов, даже самых каверзных. Дискуссия была его стихией: он не успокаивался до тех пор, пока не видел, что его позиция слушателями понята правильно, а сам он сказал все, что считал нужным высказать по данному вопросу. Иногда бывал осторожным, даже мог пойти на компромисс с оппонентами. Правда, только в том случае, когда на кону стоял не принципиальный, с его точки зрения, вопрос и компромисс с его стороны не имел далеко идущих последствий для понимания доказанной и апробированной в научной литературе исторической правды. Всячески боролся с фальсификацией истории, предпринимавшейся в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, и здесь он был просто категорически непреклонен.

Всегда с любовью, образно и интересно рассказывал о своей студенческой жизни, учебе в аспирантуре, при этом с трепетом относился к своим учителям и всегда добрым словом вспоминал о них. Он стремился передать своим слушателям атмосферу и среду, в которой жил, работал и формировался как ученый. Перед завороженными слушателями представали увлекательные и очень искренние рассказы об атмосфере, которая царила на историческом факультете Белорусского государственного университета, об отношениях со студентами и преподавателями, о науке и ее приоритетах, о свободном времени. Понятно, что ученый и педагог Николай Сташкевич, как представитель своего времени, вобрал в себя лучшие черты своих учителей И. М. Игнатенко, Л. С. Абецедарского, В. А. Круталевича, И. Н. Лущицкого, В. М. Сикорского, Г. М. Лившица, Г. М. Трухнова, Л. М. Шнеерсона и др. Даже в какой-то степени символично, что последнюю ста-

тью, подготовленную им для «Беларускай думкі», Николай Стефанович посвятил реабилитации своего учителя — профессора Л. С. Абецедарского.

Николай Сташкевич вышел из народа и был всегда верен своим крестьянским истокам. Его политические взгляды, духовные и нравственные начала внушали всем, кто его знал, общался, имел счастье слушать, — уверенность, надежду, веру в торжество правды и справедливости. В этом большом человеке крепко сидел яростный бунтарь и осторожный мудрец одновременно, его крестьянский менталитет не смогли вытравить ни городская цивилизация, ни высокое образование или иная культурная среда. Он всегда оставался сыном своего народа, который тонко улавливал малейшие перемены в настроении широких масс, включая и рафинированную элиту, и простых людей.

Николай Стефанович был очень интересен в общении. Мне часто приходилось быть тому свидетелем. Конечно, притягивала энциклопедичность и глубина его знаний, но и какая-то естественность в общении и доверительность, с первых минут покоряющая его собеседников или слушателей. Говорил он всегда горячо, и если чувствовал, что его не понимают, мог в азарте дискуссии сказать остро и, может быть, даже что-то обидное для собеседника. Но это говорилось без всякой злости, по дружбе, не меняло его товарищеского отношения к этому человеку и не мешало их общению в дальнейшем. В общении Сташкевич был прост и доступен, а в ситуациях, связанных с поиском нужной ему книги, он мог быть по-детски наивным и непосредственным. Вся суета и неловкости, нередко возникавшие вокруг этого «книголюбия», нисколько не смущали его, а наоборот, еще больше подчеркивали в нем увлеченность и искренность.

Николай Сташкевич неоднократно участвовал в Днях белорусской письменности с коллегами из Национальной академии наук Беларуси, где всегда демонстрировал глубокие знания, проявлял истинно народный характер, понимание жизни простых людей, отличался умением рассказать интересно и доступно о самых сложных научных проблемах. В редкие минуты отдыха любил посидеть в компании друзей и учеников. При этом разговор часто переходил на какую-то историческую тему, и Николай Стефанович полностью овладевал вниманием «компании», оставляя собравшимся возможность лишь восхищаться и внимать его глубоким познаниям.

Как-то во время отпуска мне довелось быть с Николаем Стефановичем на экскурсии в Витебской ратуше. Уже в первом зале возник серьезный спор в истолковании древних письменных источников, дошедших до нашего времени. У Николая Стефановича в этот день болели ноги. С любезного согласия экскурсовода он устроился у входа на стуле и, казалось, безучастно слушал отработанную и многократно повторенную речь нашего гида. Но не тут-то было, через мгновение он уже молодцевато вскочил со стула и горячо спорил с коллегами, осыпая присутствующих многочисленными цитатами из самых редких источников. Иногда казалось, что он просто нашпигован информацией и нет такой проблемы в истории нашего Отечества, о которой он ничего не слышал и не имел бы о ней своего мнения. Тем более впечатляло, что это были не бытовые досужие разговоры, а фундаментальные знания. Надо отдать ему должное, он всегда внимательно прислушивался к мнению профессионалов и не любил «всезнаек».

Конечно, разговор о Николае Стефановиче Сташкевиче, по-настоящему великом человеке, ученом и гражданине Беларуси, еще впереди, слишком многогранна эта личность и весом его вклад в историческую науку. Талант его раскрылся во всю богатырскую мощь в трудное для науки и всей нашей страны время — время смуты и перемен, но оно не заставило его изменить себе, своим принципам, своему пониманию жизни. Выстояло большинство белорусских ученых, не бросившихся переписывать историю в угоду новой конъюнктуре, и первым по праву среди них был Николай Сташкевич. Именно такие ученые, как Николай Стефанович Сташкевич, жили правдой, были подлинными радетелями Земли белорусской. Память о нем будет долгой и светлой.

ЭМАНУИЛ ИОФФЕ

Их убивали, но они боролись

Неизвестные и малоизвестные страницы истории Минского гетто

Минское гетто было одним из самых крупных в Восточной Европе, а на оккупированной территории СССР оно занимало второе место по количеству узников после Львовского, которое насчитывало 136 тысяч человек. В Минском гетто находилось вначале 55 тысяч узников, затем — 80 тысяч, а после прибытия иностранных евреев — более 100 тысяч узников.

Об истории Минского гетто уже опубликовано более 130 работ на русском, белорусском, немецком, английском, польском языках, а также на иврите и идиш. Среди них следует отметить две книги Г. Смоляра — «Мстители гетто» (М., 1947) и «Минское гетто» (на английском языке, Нью-Йорк, 1989; переведена на белорусский язык); книгу «Judenfrei! Свободно от евреев!» История Минского гетто в документах», автором-составителем которой является Р. А. Черноглазова (Мн., 1999); два издания книги А. Рубенчика «Правда о Минском гетто» (Тель-Авив, 1999, и Израиль, 2007) и документальные свидетельства бывшей узницы Минского гетто, подпольщицы и партизанки Анны Мачиз под названием «Анна Мачиз: свидетельства трагедии и борьбы в Минском гетто 1941—1943 гг.» (сост. Л. А. Цыринский; Мн., 2011).

О Минском гетто написаны диссертации, создано несколько документальных фильмов.

Кажется, мы знаем о Минском гетто все. Но это только кажется.

К сожалению, и сегодня — спустя 70 лет после его гибели — в истории этого гетто существует немало «белых пятен». В данном материале мне хотелось бы акцентировать внимание читателей на неизвестных и малоизвестных страницах истории Минского гетто. В этом мне помогут результаты многолетних поисков в фондах архивов и музеев Республики Беларусь, Российской Федерации, Государства Израиль, Соединенных Штатов Америки, некоторые материалы из архивов и музеев Федеративной Республики Германии, интервью с более чем 100 узниками Минского гетто, а также тщательное изучение других многочисленных и разнообразных источников.

Кроме этого, в 1990-х годах автор этих строк был руководителем научного проекта «Нацистская политика геноцида в отношении еврейского населения Белоруссии в 1941—1944 годах», в результате которого в 2003 году в Минске была издана его монография «Белорусские евреи: трагедия и героизм: 1941—1945».

* * *

Решение о создании этого гетто было принято 19 июля 1941 года — через три недели после захвата Минска немецкими войсками. В этот день в Минске состоялось совещание командующего тылом группы армий «Центр» генерала Макса Шенкендорфа и высшего начальника СС и полиции генерального округа

«Белоруссия» бригаденфюрера СС Карла Ценнера, на котором рассматривались вопросы взаимодействия и уничтожения евреев. Именно 19 июля 1941 года комендант 812-й полевой комендатуры полевой полиции Минска (фельдкомендант) Карл Шлегель подписал распоряжение полевой комендатуры о создании гетто в Минске, которое было обнародовано на следующий день. Оно было расклеено на видных местах города на немецком, русском и белорусском языках.

До сих пор в различных источниках и даже в энциклопедических изданиях приводятся противоречивые сведения о количестве узников Минского гетто в 1941—1943 годах. Называются такие цифры: 50 тысяч, 55 тысяч, 75 тысяч, 80 тысяч, 85 тысяч, около 100 тысяч, 100 тысяч, более 100 тысяч человек.

По мнению большинства ученых-историков, к началу Великой Отечественной войны в Минске начитывалось около 85 тысяч евреев, а уже к 25 июня 1941 года вместе с евреями-беженцами из городов Западной Белоруссии и Минской области в Минске находилось около 100 тысяч евреев. Около 45 тысяч евреев были мобилизованы военкоматами города и успели эвакуироваться до того, как в Минск вступили немецкие войска.

Таким образом, есть основания предполагать, что 28 июня 1941 года около 55 тысяч евреев Минска оказались в немецкой оккупации.

После регистрации этого количества евреев в Минск начали возвращаться евреи, не сумевшие эвакуироваться и пытавшиеся переселиться в деревни Минского и других окрестных районов. Кроме этого, оккупационные власти периодически переселяли в Минское гетто евреев из прилегающих к Минску городов и местечек — таких как Слуцк, Узда, Червень, Койданово (Дзержинск), Смиловичи. Итак, можно предположить, что уже в июле 1941 года в Минске насчитывалось около 80 тысяч евреев, в том числе 55 тысяч минчан.

С ноября 1941 года в результате насильственной депортации в Минск тысяч евреев из Германии, Австрии, Чехословакии и других стран Европы еврейское население города постепенно увеличивалось, несмотря на облавы и погромы. Многие исследователи считают, что вместе с иностранными евреями через Минское гетто прошло 100—105 тысяч евреев, в том числе около 85 тысяч узников гетто.

До сих пор в ряде работ приводятся противоречивые мнения о периодах истории Минского гетто. По мнению автора этих строк, данную историю можно условно разделить на четыре периода:

Рабочая колонна. Минское гетто.

1. С начала июля 1941 года до первого крупного погрома 7 ноября 1941 года.

2. С первого крупного погрома 7—8 ноября 1941 года до четырехдневного погрома 28—31 июля 1942 года.

3. С августа 1942 года до последнего погрома 21—23 октября 1943 года.

4. С 23 октября 1943 года до 30 июня 1944-го — функционирование филиалов «большого» гетто на заводе им. Молотова (теперь холдинг «Горизонт») и кожгалантерейной фабрике им. Куйбышева (теперь компания «Галантэя»).

Анна Мачиз.

Еще и сегодня мы не можем со стопроцентной точностью ответить на вопрос, сколько облав и погромов было в Минском гетто.

Только в августе 1941 года было проведено шесть облав: 7, 14, 16, 24, 26 и 31 августа. Во время беседы в партизанском отряде в феврале 1944 года бывшая узница Минского гетто Хана Израилевна Рубинчик показала:

«Примерно через неделю после того, как население переселилось в гетто, начались облавы. Первая облава была 7—8 августа (1941 года), тогда было взято человек 800 мужчин. Их взяли якобы на какие-то работы, но больше эти люди не вернулись. Врывались в дома, забирали подростков, стариков, мужчин. По улице идет человек, его забирали, не разбираясь... Предварительно оцеплялся район гетто пулеметами со всех сторон, чтобы не было никакого выхода и входа, и людей вылавливали таким же методом, как собак»[1]. По свидетельству бывшей узницы Минского гетто Е. П. Майзлес, до 26 августа 1941 года немцы выловили около 15 тысяч мужчин и увезли их. Мужчин моложе 14—15 лет и старше 45 лет немцы не брали. Анна Мачиз и «Черная книга» оценивают число жертв — узников Минского гетто в августе 1941 года в 5 тысяч человек. Скорее всего, эта цифра ближе к истине.

Одной из самых главных, первостепенных и коварных целей нацистов было истребление молодых мужчин-евреев, в основном призывного возраста, то есть тех, кто мог бы оказать им яростное сопротивление в дальнейшем.

В августе 1941 года Якову Абрамовичу Негневицкому было только 16 лет. В 1992 году в беседе с автором этих строк Негневицкий вспоминал: «26 августа 1941 года я попался немцам. Это была большая облава. Немецкие крытые фургоны набивали мужчинами и вывозили из гетто в неизвестном направлении. Слухи шли разные. Но обратно никто не вернулся, скорее всего, этих узников гетто расстреляли. Я чудом избежал этой страшной участи. 31 августа 1941 года картина повторилась. Но уже было ясно, что надо прятаться. Мы с соседом убежали на чердак и прятались там. У меня нет сомнения в том, что немцы решили убрать из гетто молодых и здоровых мужчин, способных к сопротивлению».

В Национальном архиве Республики Беларусь удалось обнаружить ценный документ о действиях немецких полицейских формирований в конце августа —

[1] Центральный архив КГБ Республики Беларусь (далее ЦА КГБ РБ). Ф. 40. Оп. 2. Гр. 3. Л. 216.

начале сентября 1941 года. Речь идет о дневнике боевых действий 322-го полицейского батальона с 10 июня по 29 октября 1941 года. Там есть такие строки:

«31 августа 1941 г.

...7-я и 9-я роты проводят еврейскую акцию в Минске, во время которой арестовано примерно 700 евреев, в том числе 64 женщины. Все арестованные доставлены в тюрьму Минска...

1 сентября 1941 г.

9-я рота совместно с СД и НСКК (Национал-социалистическим моторизованным корпусом. — *Э. И.*) вне Минска проводила расстрелы 914 евреев, в том числе 64 евреек. Среди этих лиц находились около 700 чел. евреев и евреек, захваченных вчера 7-й и 9-й ротами Минска и доставленных в тюрьму. Расстрелы прошли без особых происшествий. Попыток к побегам, благодаря удобно выбранной местности для расстрела, осмотрительности руководства и уже приобретенному опыту, со стороны мужчин евреев не было. Благодаря решительным и надежным действиям 9-й роты, вся работа закончена в кратчайший срок. 64 еврейки расстреляны за то, что во время акции оказались без еврейских нашивок...»[1]

Большинство историков считает, что в истории Минского гетто было пять наиболее массовых погромов: 7—8 и 20 ноября 1941 года, 2 марта и 28—31 июля 1942 года, 21—23 октября 1943 года.

В имеющихся исследованиях почти не упоминается крупный погром в Минском гетто, который начался 23 мая 1942 года и продолжался четыре дня. В ходе этого погрома вместе с узниками «большого гетто» погибло большинство узников зондергетто, которые были депортированы в Минск из Германии, Австрии и Чехословакии.

Еще до погромов в ноябре 1941 года и в период между погромами практиковались ночные бандитские налеты. Эти налеты вошли в систему — буквально еженощно уничтожались одна-две семьи. В них принимали участие немцы вместе с полицейскими. Как правило, они всегда были пьяными.

Хана Рубинчик свидетельствовала: «Я могу рассказать о двух подобных бандитских налетах. Одного из них я была очевидцем, так как семья, которую уничтожили, проживала напротив нас. С наступлением темноты стучались в дверь. Если мы не открывали дверь, они взрывали дверь гранатой, входили в квартиру. Конечно, выйти из квартиры никто не мог. Мне известны факты истребления в ночных налетах родителей Мушкина (первого председателя юденрата. — *Э. И.*), его отца, матери, сестры, семьи Коварских, которые проживали на Фруктовой улице.

Уничтожение семьи Коварских произошло следующим образом. Постучали в дверь ночью пьяные бандиты. Сын Коварских открыл им дверь. Они тут же на пороге его убили и вошли в комнату. На кровати лежали двое малых детей — девочки 5 и 9 лет. Их обеих пристрелили. Отцу вырвали бороду, кололи штыком, потом застрелили. Девушку лет 19 заставили раздеться догола. Издевались над ней, заставили танцевать на столе, штыком кололи ей ноздри, а затем уничтожили. Откуда все эти подробности известны? Под кроватью спрятался один из сыновей Коварского, которому удалось уцелеть.

Еще один случай. Одна наша соседка (Берман Аня), которая с нами жила. Ушла куда-то обменивать вещи. Она была похожа на русскую. Долго Аня не возвращалась, мы уже стали беспокоиться. Явилась она в 8 часов вечера и рассказала нам следующее. Когда она шла домой, то проходила мимо одного дома. Оттуда выскакивает полицейский и спрашивает — жидовка или русская? — Нет,

[1] Национальный архив Республики Беларусь (далее — НА РБ). Ф. 1440. Оп. 3. Д. 936. Л. 17—20, 23—26, 31—34.

русская. — Чего шляешься? — Я иду домой. Мне нужно пройти через гетто. Полицейский ее и еще одного русского парня втолкнул в дом. Завязал им обоим глаза, посадил в отдельную комнату и сказал: «Все, что вы услышите или увидите, под страхом смерти никому не говорите». И начал истязать семью, проживающую в этом доме. Потом, когда полицейский ушел и женщина вышла, она увидела на полу лужи крови, лежали истерзанные трупы с распоротыми животами, с выколотыми глазами, с отрезанными ушами. Трудно себе представить, что там творилось. Перед тем как уйти, полицейские забрали все вещи...

Когда в гетто произошел случай с семьей Коварских, еврейский комитет в лице Мушкина заявил немецким властям, что ночью в гетто происходят бесчинства. Приходил офицер, который извлек пулю из убитого человека, посмотрел и говорит: «Эта пуля не немецкого происхождения, поэтому немецкие власти не отвечают, и в дальнейшем к нам с такими заявлениями не обращайтесь»[1].

Еще и сегодня, спустя более 70 лет, точно не известно, кто были эти изверги и негодяи — немцы, полицейские, выпущенные немцами из тюрем уголовники или пьяные мародеры.

В конце марта 1942 года началась волна ночных погромов.

Наиболее известные ночные погромы произошли 31 марта, 3, 15 и 23 апреля 1942 года.

Особенно жестоким был внезапный и краткий погром 23 апреля. Убийцы окружили дома по улицам Обувная, Сухая, Шорная и Коллекторная. Погром начался в 17 часов и закончился в 23 часа. В результате погибло 500 узников Минского гетто.

По свидетельствам многих узников, ночных погромов в Минском гетто было значительно больше — они происходили почти каждую ночь.

* * *

Кроме белорусских и польских евреев с ноября 1941 года в Минское гетто и Тростенецкий лагерь смерти стали прибывать эшелоны с евреями Германии, Австрии, Чехословакии и других стран Европы.

Депортация в Минск глубокой осенью 1941 года проходила в рамках «второй фазы депортаций». В частности, предусматривалось, что в период с 10 ноября по 16 декабря 1941 года в Минск каждые два дня будет прибывать один транспорт с депортируемыми. Всего в 1941 году должно было прибыть 17 транспортов плюс еще 7 с 10 по 20 января 1942 года. Однако фактически прибыло только 7 транспортов. Общее число депортированных составило около 6 959 человек, причем шесть эшелонов прибыли до 18 ноября более или менее в соответствии с расписанием движения, а последний, из Вены, — с опозданием.

Оккупационные власти строго следили за тем, чтобы эшелоны с депортированными прибывали до праздников или выходных дней. Для этого по согласованию с представителями имперской железной дороги прибытие поездов задерживалось до необходимого времени. Это также требовало согласованности — после прибытия их должны были ожидать грузовые автомобили. Поэтому не стоит удивляться, что поезд из Вены с пожилыми людьми, выехавший в Минск 28 ноября 1941 года, прибыл только через 10 дней.

Причиной преждевременного внезапного прекращения депортаций в Минск стала катастрофическая ситуация на железных дорогах на территории группы армий «Центр» в период, когда предпринимались усилия для предотвращения угрозы поражения в Московской битве, чего не наблюдалось при депортациях в Ригу, находившейся в зоне группы армий «Север».

---

[1] ЦА КГБ РБ. Ф. 40. Оп. 2. Гр. 3. Л. 221—223.

7 ноября 1941 года руководитель нацистского отдела по делам евреев Клаус Геттше, гестапо и главный полицейский штаб Гамбурга передал в главную дирекцию финансов в Гамбурге список с именами 1000 евреев, которых необходимо «эвакуировать» в Минск 8 ноября 1941 года, а также список 420 гамбургских евреев, которые должны быть отправлены в Минск 18 ноября 1941 года.

Итак, около 1 000 евреям было необходимо зарегистрироваться в Гамбурге: 20 покончили жизнь самоубийством и 20 другим было позволено занять их место...

8 ноября 1941 года первый эшелон с евреями из Гамбурга тронулся в путь. В большинстве источников отмечается, что он прибыл в Минск 11 ноября 1941 года с 990 пассажирами. Чудом оставшийся в живых пассажир этого поезда Хайнц Розенберг вспоминает: «Поезд ехал через Берлин и Польшу к русской границе и оттуда в Минск, куда мы прибыли вечером 11 ноября. Три дня и три ночи мы были в пути. Так как было уже поздно, эсэсовцы решили не разгружать поезд до утра. И мы должны были еще одну ночь провести в холодном поезде»[1].

Большинство приехавших было размещено в Минском гетто, но значительное их количество направлено на расстрел в Благовщину.

12 ноября 1941 года оберштурмфюрер СС Мюллер отдал приказ навести порядок в красном и белом домах Минского гетто. «Гамбургский лагерь» — будущее зондергетто № 1 требовалось обнести колючей проволокой.

Пассажиров этого транспорта поселили в районе улиц Обувной, Республиканской, Сухой, в той части Минского гетто, в которой несколько дней назад — 7 ноября 1941 года — прошел первый страшный дневной погром. Во время этого погрома погибло от 7 до 10 тысяч евреев. В домах, выделенных для проживания гамбургских евреев, царил ужасный беспорядок, комнаты были залиты кровью. Как и приказал Мюллер, район с немецкими евреями был обнесен колючей проволокой. Так было создано зондергетто (особое гетто) № 1.

Так как первый транспорт иностранных евреев прибыл из Гамбурга, всех иностранных евреев, проживавших в зондергетто, как узники Минского гетто, так и жители Минска и его окрестностей, называли «гамбургскими» евреями, хотя они прибывали из разных стран Западной, Центральной и Восточной Европы.

Таким образом, в ноябре 1941 года в Минск депортировались евреи из Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта-на-Майне, Берлина, Брно, Бремена и Вены. Если из таких крупных городов с многочисленным еврейским населением отправлялись эшелоны только с жителями этих городов, то полицейские управления других городов, на которые возлагалась организация «эвакуации», должны были решать и задачу обеспечения депортации евреев со всей окружающей территории, то есть и из соседних городов и сельской местности.

Более действенным был протест против депортации евреев военного командования, которое потребовало от руководства полиции безопасности и СД не забивать железные дороги поездами с депортируемыми евреями, мешающими военным перевозкам. Командующий немецкими войсками в Прибалтике генерал-лейтенант Бремер 20 ноября 1941 года телеграфировал рейхскомиссару «Остланда»: «Я считаю депортацию евреев из рейха совершенно невозможной». При этом он ссылался на распоряжение командования группы армий «Центр» прекратить все депортации евреев.

Этот протест привел к тому, что депортации иностранных евреев в Минск были приостановлены в конце ноября 1941 года и возобновились только в мае 1942 года.

[1] Массер Ф. Депортация и уничтожение евреев из Гамбурга: хронология событий // Лагер смерці Трасцянец 1941—1944 гг.: памяці ахвяр нацызма ў Беларусі. Мінск, 2005.

По мнению большинства историков, в 1942 году из Третьего рейха в Минск и Тростенецкий лагерь смерти было направлено 22 транспорта общим количеством 19 494 человека, в том числе 8 эшелонов из Германии (7 893 чел.), 11 транспортов из Австрии (9 568 чел.) и 7 транспортов из Чехии (8 992 чел.). Всего в 1941—1942 годах исследователи насчитывают 29 эшелонов с общим количеством депортируемых в 26 453 человека. В действительности их было не менее 30.

Большинство депортируемых из Германии, Австрии и Чехии до последнего момента не знали, куда их повезут и что их ждет на новом месте. Анализ воспоминаний тех, кто остался в живых, показывает, что депортируемые, несмотря на всю неопределенность положения, не верили в худшее. Они отправлялись в путь на чужбину с верой и надеждой.

В июле 1942 года в Минск прибыл эшелон узников из концлагеря Дахау. Вот что свидетельствовал чудом уцелевший узник Дахау и Тростенца Э. Шлейзингер: «С весны 1942 года дважды в неделю, как правило, по вторникам и пятницам, в Тростенец привозят для уничтожения граждан иностранных государств — Австрии, Польши, Чехословакии, Франции, Германии. Иногда эшелоны прибывали на ст. Минск, но гораздо чаще по специальной ветке обреченных подвозили совсем близко к Тростенцу. Обычно это бывало в 4—5 утра. Прибывших выгружали на площадку, забирали вещи и выдавали квитанцию, чтобы предотвратить у людей тревогу за свою судьбу. Надо сказать, квитанции убеждали приговоренных к смерти в том, что их переселяют на новое место...»[1]

В отчете генерального комиссара Белоруссии В. Кубе рейхскомиссару Остланда Г. Лозе об уничтожении евреев Минского гетто и борьбе против партизан от 31 июля 1942 года есть такие строки:

«...В связи с этим понятно негодование оберштумбанфюрера СС д-ра Штрауха, который доложил мне этой ночью, что после окончания акции в Минске неожиданно, без указаний Рейхсфюрера и без уведомления генерал-комиссара, прибыл в распоряжение местного командования военно-воздушных сил транспорт с 1 000 евреев из Варшавы»[2].

А ведь этого транспорта нет в графике депортаций евреев из стран Европы, который фигурировал на судебном процессе Г. Хойзера.

Таким образом, 31 июля 1942 года в Минск были перевезены 1 000 варшавских евреев, которые были предназначены для выполнения работ в интересах Люфтваффе (ВВС) в районе Минска. В. Кубе грозил уничтожить их и все последующие несогласованные с ним перевозки. Произошло ли это на самом деле, сказать трудно.

В беседе с автором этих строк один из оставшихся в живых из депортированных в Минск немецких евреев Гюнтер Катценштайн отметил, что в пассажирских вагонах было по 50—60 человек, а в товарных вагонах для скота от Волковыска в Минск и Тростенецкий лагерь смерти набивалось до 100 человек.

Если в каждом вагоне находилось от 50 до 100 человек (только в одно купе набивали 10 человек), то количество иностранных евреев, депортированных в район Минска в 1942 году, в среднем составит около 75 тысяч человек.

Если прибавить к этой цифре 6 959 иностранных евреев, депортированных в Минское гетто и Тростенецкий лагерь смерти в 1941 году, то общее их количество составит около 82 тысяч человек, а не свыше 26,5 тысяч человек, как считает подавляющее большинство исследователей.

Кроме того, есть определенные основания считать, что депортация иностранных евреев на железнодорожную станцию Минск продолжалась в январе—

---

[1] Ванькевич А. Экскурсия в Тростенец. Минск, 1986.

[2] Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944). Иерусалим, 1992.

феврале 1943 года. Об этом свидетельствует телеграмма немецкой генеральной железнодорожной дирекции «Ост» дирекциям железных дорог Третьего рейха и оккупированных территорий о спецпоездах для транспортировки евреев, посланная из Берлина 16 января 1943 года:

«Имперским железнодорожным дирекциям Берлина, Бреслау, Дрездена, Эрфурта, Франкфурта, Галле (Заале), Карлсруэ, Кенигсберга (Пруссия), Линца, Майнца, Оппельна, Франкфурта-на-Одере, Познани, Вены, генеральной дирекции восточной дороги в Кракове, имперскому протектору, группе железных дорог в Праге, генеральной дирекции путей сообщения в Варшаве, дирекции государственных путей сообщения Минска.

Дополнительно главному эксплуатационному Управлению Мюнхена (юг) и Эссена (запад) по 3 экз.

Пересылаем утвержденный 15.01.43 в Берлине список спецпоездов для переселенцев на период с 20.01 по 28.02.43 и расписание движения этих поездов (к сожалению, это расписание до сих пор не найдено. — *Э. И.*). Состав поезда указывается при каждом маршруте. После полного оборота вагоны следует прочистить, в необходимых случаях продезинфицировать и после завершения программы пустить в дальнейший оборот.

Количество и вид вагонов устанавливать после отправления последнего поезда, сообщать нам по телеграфу и подтверждать служебной открыткой.

Подписал доктор Якоби

Заверил: (подпись неразборчива)»[1].

По мнению белорусского историка К. И. Козака, анализируя данные депортации евреев Германии, Австрии и Чехии в Минск, можно их представить в рамках 2 периодов — 1941 и 1942 годов, которые делятся на 4 этапа. Первый, с 8 по 28 ноября 1941 года, характеризуется определением мест (Германия, Чехия, Австрия), из которых будет осуществляться полная депортация. Второй — с 6 мая по 9 июня 1942 года — австрийский этап, третий — с 13 июня по 14 июля 1942 года — чешский, и последний, четвертый, завершающий этап, самый продолжительный по времени и самый большой по количеству депортированных с 20 июля по 5 октября 1942 года, как и первый, включает три государства.

Чаще всего в Волковыске депортируемые должны были перейти в крытые товарные вагоны. Для поддержания порядка при пересадке оккупационными властями привлекалась железнодорожная и местная полиция. Что касается переселенцев, то им поручалось чистить вагоны. В то же время запрещалось брать другие вагоны, так как прибывшие предназначались для многократного применения.

Весь путь передвижения евреев Рейха и Протектората в Белоруссию тщательно контролировался оккупационными властями. Тщательно готовилась сама организация подбора вагонов, охрана, перемещение к месту дислокации. Не допускалось никакой утечки информации.

Гамбургские евреи были первыми, кто ступил на территорию зондергетто № 1 Минского гетто. Они были маркированы нашивками с шестиконечной звездой желтого цвета на правой стороне груди. Была проведена регистрация трудоспособного населения. Для управления зондергетто был создан совет немецких евреев во главе с доктором Эдгаром Франком из Гамбурга, позже Эриком Харфом из Бремена, а также служба общественного порядка.

Когда в Минск из Берлина 18 ноября 1941 года прибыл эшелон, его руководителем и начальником лагеря был Фройденталь. Определенные охранные функции в этом эшелоне исполнял один из оставшихся в живых немецких евреев

---

[1] НА РБ. Ф. 4683. Оп. 3. Д. 960. Л. 80—81.

доктор Карл Левенштайн. В связи с нередкими случаями насилия и несправедливых решений в отношении узников зондергетто он поставил перед собой задачу — сформировать оперативную охрану, которая бы следила за порядком. Поэтому Левенштайн подобрал добровольцев из бывших участников Первой мировой войны от рядового до капитана, имевших уже некоторый опыт наведения порядка. Эти люди должны были защитить обитателей зондергетто от мародеров, грабителей и насильников. С этой целью были созданы посты, в которые входило не менее 3 человек. Несмотря на то, что ночью было довольно опасно, «постовые» продолжали добровольно нести службу. В интересах собственной безопасности члены охраны ввели пароли и вооружились палками. Чтобы содержать пешеходные дорожки в хорошем состоянии в снежные бури, «постовые» выходили на «вахту» с лопатами. В то же время некоторые узники зондергетто считали подобные мероприятия забавой.

В январе 1942 года узникам этого гетто было приказано собрать теплые вещи для вермахта. Из отчета немецких служб видно, что собрали 329 пальто, 159 пиджаков, 100 меховых шапок, 440 меховых боа.

Немецких евреев, прибывших следующими транспортами после погрома 20 ноября 1941 года, расселили в другой части Минского «русского гетто», получившей название зондергетто № 2. Оно располагалось в районе между улицами Замковой и Димитрова. В некоторых источниках и справочной литературе немецкие части гетто называются также «гамбургским гетто» или «немецким гетто».

Оба зондергетто состояли из четырех лагерей — гамбургского, где содержались евреи из Гамбурга и Франкфурта, берлинского — для евреев из Берлина и Брно, рейнского — для евреев из Дюссельдорфа и Бремена, и венского.

После погрома 28—31 июля 1942 года чудом оставшиеся в живых узники зондергетто № 2 были переведены в зондергетто № 1.

Хотя число бежавших евреев из первого и второго зондергетто несопоставимо с числом бежавших «русских евреев» из Минского гетто, источники говорят и о побегах депортированных иностранных евреев.

Так, немецкий исследователь К. Хеккер сообщает о пяти случаях побегов, из которых только два закончились успешно. Анализируя эти два побега, она отмечает побег депортированного из Брно чешского еврея, который бежал с помощью подпольщиков Минского гетто и присоединился к партизанам, а также побег молодой еврейки из Франкфурта-на-Майне Ильзы Штайн со своим любимым, немецким капитаном Вилли Шульцем. Вместе с группой молодых евреев они летом 1942 года попали в партизанский отряд.

К сожалению, К. Хеккер ошибается. В действительности это побег произошел 30 марта 1943 года. Кроме Ильзы Штайн в группе бежавших на грузовой машине 12 женщин и 13 мужчин из Минского гетто находились две ее сестры 19 и 8 лет.

* * *

Требует дальнейшего изучения вопрос о составе и деятельности юденрата Минского гетто.

К сожалению, до сих пор мы не можем точно назвать третьего председателя юденрата Минского гетто. Так, израильский исследователь Д. Романовский констатирует: «Первым председателем юденрата стал Илья Мушкин. До войны Мушкин был заместителем председателя горпромторга и беспартийным <...> Вторым председателем юденрата стал Моисей Йоффе (правильно — Иоффе. — *Э. И.*). Йоффе — юрист, в прошлом представитель вильнюсского завода «Электрит» в Варшаве <...> Йоффе погиб в акции 28.7.1942. (По данным А. Мачиз, это произошло 29 июля 1942 года. — *Э. И.*). Третий председатель юденрата Заменштейн

(в других свидетельства — Замштейнман) был также выходец из Польши, быв. владелец магазина музыкальных инструментов в Варшаве»[1].

В то же время большой знаток источников, белорусский историк, кандидат исторических наук, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Г. Д. Кнатько отмечает: «...С августа 1942 года обязанности председателя юденрата (речь идет о Минском гетто. — *Э. И.*) исполнял Н. Эпштейн (погиб в 1943 году)»[2].

Ну, а как быть с Заменштейном?

В марте 1999 года во время пребывания в Израиле автор этих строк встретился с бывшей узницей Минского гетто Серафимой Водзинской. В беседе со мной она вспомнила, что последним председателем юденрата Минского гетто был Заменштейн.

А вот что пишет бывший узник Минского гетто Б. М. Млынский:

«Первым председателем лагерного самоуправления (речь идет о юденрате. — *Э. И.*) был Иоффе. (Здесь допущена ошибка, так как первым председателем юденрата Минского гетто с июля 1941 до своей гибели в феврале 1942 года был И. Мушкин, и только после его гибели вторым председателем юденрата стал М. Иоффе. — *Э. И.*)

Последним председателем «юденрат» (правильно — юденрата. — *Э. И.*) стал наш сосед Замштейнман и зам. начальника Розенблат, а его заместителем Вайнштэйн»[3].

Честно говоря, возникает довольно критическое отношение к таким мемуарам, когда их автор путает всем известный факт о первом председателе юденрата Минского гетто И. Мушкине и, возможно, искажает фамилию его последнего председателя.

* * *

Одним из «белых пятен» в истории Минского гетто является роль коллаборационистов в истреблении его узников.

Сложился стереотип, который, к сожалению, часто поддерживают сами бывшие узники: Минское гетто уничтожали немцы, а точнее, гестаповцы, хотя на территории Белоруссии в 1941—1944 годах действовали различные нацистские службы, кроме гестапо. Не оправдывая страшные преступления нацистских палачей, заметим, что значительную роль в геноциде евреев Минска сыграли украинские, литовские, белорусские и русские коллаборационисты. А в охране гетто принимали участие испанские военнослужащие из «Голубой дивизии».

Главной «ударной силой» многих погромов в Минском гетто были украинские и литовские коллаборационисты. Именно украинские полицаи вошли на территорию Минского гетто в 5 часов вечера 6 ноября 1941 года. Рано утром 7 ноября немцы и украинские полицаи оцепили часть гетто, заключенную между улицами Островского и Республиканской, Немигой и Хлебной.

Вот свидетельство Раи Абрамовны Чертовой, пережившей этот погром: «7 ноября 1941 года немцы учинили в гетто еврейский погром. Утром гетто было оцеплено усиленным нарядом полицейских и гитлеровцев, полицейских солдат украинской добровольческой армии. Погромщики хватали первых встречных. Независимо от возраста и пола. В том числе стариков и детей. Тех, кто не мог двигаться, убивали на месте. Других погружали в машины и увозили неизвестно

[1] Холокост на территории СССР: Энциклопедия. М., 2009.
[2] Кнатько Г. Д. Гибель минского гетто. Мн., 1999. С. 7.
[3] Млынский Б. М. Границы жизни времен Катастрофы. 1998.

куда. Самых маленьких детей разрывали на части, взяв этих крошек за ножки. Я спряталась на чердак и так избежала смерти»[1].

Как запомнила узница Минского гетто Хана Израилевна Рубинчик, в погроме 7 ноября 1941 года кроме немцев и украинских полицейских приняли участие и литовские полицейские.

Каунасская команда СД появилась в Минске вскоре после захвата города гитлеровцами. А с осени 1941 года присутствие литовских полицейских в Минске стало постоянным. Так, первым из Каунаса в Минск прибыл 2-й Литовский охранный батальон (с 6 ноября 1941 года — 12-й) под командованием майора А. Импулявичюса в составе 23 офицеров, 464 унтер-офицеров и рядовых. Его действия усиливал сформированный в Каунасе 11-й литовский батальон.

В погроме 7—8 ноября участвовали и белорусские полицейские.

Вот что вспоминал Яков Гринштейн: «Страшную резню пережили евреи 7 ноября 1941 года, в 24-ю годовщину Октябрьской революции. Двое суток подряд бесчинствовали в гетто немцы и украинцы, а также белорусская городская полиция. Они стреляли и убивали. Тысячи евреев были вывезены за пределы города и расстреляны...»

В этих же воспоминаниях Я. Гринштейн отмечал, что 2 марта 1942 года погромщиками стали эсэсовцы и украинцы.

Самым страшным погромом в Минском гетто был погром 28—31 июля 1942 года, жертвами которого стали от 10 тысяч до 12 тысяч узников гетто. Анализ многочисленных источников свидетельствует, что его проводили, главным образом, белорусские и литовские полицейские.

По воспоминаниям одного из руководителей антифашистского подполья в Минском гетто Гирша Смоляра, следом за черными грузовиками с эсэсовцами и немецкой полицией шли подразделения местной полиции и литовских фашистов.

Последним погромом в Минском гетто, который привел к его полной ликвидации, был погром 21—23 октября 1943 года. В этом финальном истреблении узников Минского гетто самое активное участие приняли белорусские и русские полицейские: командир взвода 3-й роты 11-го полицейского батальона старший лейтенант Емельянов, командир отделения этого батальона Н. Ломакин, рядовые 3-й роты 13-го полицейского батальона П. М. Конон, М. М. Гончаров, рядовые 3-й роты 11-го полицейского батальона В. Ф. Ваховский, М. В. Царик, В. С. Безбородов, А. В. Кулаковский, Сядура, Титов, Чистяков, Шлык.

Приведем фрагменты из протокола допроса Михаила Гончарова, уроженца города Орши Витебской области, от 21 марта 1949 года.

«Припоминаю, что осенью 1943 года я принимал участие в ликвидации еврейского гетто в городе Минске и массовом уничтожении советских граждан еврейской национальности.

Вопрос: В чем заключалось ваше участие в совершении этого злодеяния?

Ответ: Как-то ночью личный состав подразделения Краузе (Краузе — командир 11-го полицейского батальона. — *Э. И.*), в том числе и я, был поднят по тревоге из Пушкинских казарм, в которых мы размещались, направлен в центр города Минска, где на территории нескольких кварталов находилось еврейское гетто. По прибытии на место лейтенант Емельянов приказал мне и другим солдатам оцепить гетто со стороны кладбища и никого не впускать и не выпускать из гетто, а в случае попыток евреев бежать из гетто стрелять в них. Примерно в течение суток я стоял на посту в оцеплении. За это время я и другие солдаты неоднократно открывали стрельбу из карабинов по окнам домов, в которых жили евреи, целясь при этом в пустую посуду на окнах и бутылки. На рассвете началась операция по вылавливанию и отправке на автомашинах к месту казни

[1] ЦА КГБ РБ. Гр. 3. Оп. 2. Л. 1.

мужчин и женщин, стариков и детей, проживавших в гетто... Однако после нашего возвращения кто-то, видимо, Крылов (один из солдат 11-го полицейского батальона. — *Э. И.*), сказал капралу Мишукову Евгению, что в подвале за стеной есть люди, которые не хотят показываться. И он пошел к подвалу с гранатой. После взрыва гранаты, брошенной Мишуковым, из подвала вылезли девять человек евреев. Мишуков обыскал их и отвел в центр гетто, где их погрузили на автомашину и оттуда увезли на расстрел.

...К вечеру меня и других солдат сняли с оцепления и направили на место расстрела, примерно за 10—15 километров от города Минска (речь идет о Тростенецком лагере смерти. — *Э. И.*). Расстрел евреев производили специальные палачи, а я и мои сослуживцы из подразделения Краузе стояли в оцеплении места расстрела. Это продолжалось несколько суток... Всего там было расстреляно, видимо, около пяти тысяч человек...»[1].

Капрал 3-й роты 11-го полицейского батальона Е. В. Мишуков на допросе в 1974 году показал: «...В то время (речь идет об октябре 1943 года. — *Э. И.*), когда в Тростенце производился массовый расстрел граждан еврейской национальности, то в Тростенце из нашей 3-й роты было примерно 50—60 полицейских. Там же были и каратели из других подразделений, но из каких именно, я не знаю»[2].

Среди активных участников ликвидации Минского гетто в октябре 1943 года были полицейские 26-го полка, которые служили в то время в Белостоке, но вызвались уничтожать узников Минского гетто добровольно, без всякого приказа и принуждения. В Национальном архиве Республики Беларусь хранятся протоколы допросов военнопленного Освальда Линда, которые относятся к апрелю 1945-го — октябрю 1949 года.

В протоколе допроса Освальда Линда об уничтожении узников Минского гетто от 13 апреля 1945 года есть такие строки:

«Вопрос: Какую задачу выполнял 26-й полицейский полк на Восточном фронте?

Ответ: 26-й полицейский полк вел борьбу против красных партизан. Мы действовали в разных местах... В августе 1943 года наш полк действовал в районе окрестностей и в самом городе Белостоке по ликвидации гетто. В октябре 1943 года группа из 15 человек из нашего полка изъявила желание добровольно действовать по ликвидации еврейского гетто в г. Минске. Участником этой группы был и я. Мы были прикомандированы к батальону белорусов-добровольцев, задача которого состояла в оцеплении еврейского гетто. В Минске мы находились 6 недель под руководством командования СД. После нас обратно отправили в 26-й полицейский полк. Находясь в Минске, мы были размещены в казармах вместе с белорусами, но у нас были отдельные комнаты, где находились одни немцы, русский язык я не знаю. А потому фамилии белорусов мне неизвестны.

Вопрос: Чем вы были вооружены, когда находились в батальоне белорусов-добровольцев по оцеплению гетто?

Ответ: Я был вооружен винтовкой, и вся наша группа 15 человек немцев также винтовками, а белорусы-добровольцы имели пулеметы — и ручные, и станковые...»[3].

Как говорится, в семье не без урода. Находились пособники нацистов и среди евреев — узников Минского гетто, среди членов юденрата Минского гетто, среди служащих еврейской службы порядка и «еврейской полиции» и даже среди,

---

[1] ЦА КГБ РБ. Д. 5539. Т. 3. Л. 183—186.

[2] ЦА КГБ РБ. Д. 26571. Т. 2. Л. 78—86.

[3] НА РБ. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 1527. Л. 8.

как говорится, рядовых узников гетто были завербованные СД активные пособники нацистов.

Немцы не доверяли юденрату и назначили туда двух действительно преданных им людей, выходцев из Польши, которые не были связаны с минскими евреями. Наум Эпштейн, назначенный в разное время на посты руководителя биржи труда, начальника еврейской полиции, исполняющего обязанности главы юденрата, и Вайнштейн, возглавивший одно время биржу труда, были садистами и обращались с узниками гетто так же жестоко, как и немцы. Не отставал от них бывший уголовник Хаим Розенблат.

Эпштейн и Вайнштейн были беженцами из Лодзи, а Розенблат — беженцем 1939 года из Варшавы.

Первой горькую правду о еврейских коллаборационистах в декабре 1943 года обнародовала Анна Мачиз. В декабре 1943 года в Налибокской пуще в своих воспоминаниях она писала: «Беря людей к себе на службу, Рыббе (правильно — Адольф Рюбе, комендант Минского гетто. — *Э. И.*) никем не брезговал: начальником еврейской милиции был назначен известный варшавский вор, пьяница и развратник Ефим Розенблат, верой и правдой служивший немецкому фашизму. На его совести было немало кровавых дел. Как собака, шпионил он за евреями, прислушиваясь к каждому шепоту и каждому движению. Он вместе с Рыббе занимался «искоренением большевистской заразы», выдавал коммунистов, людей, связанных с подпольной партийной организацией, с партизанским движением.

Рыббе был недоволен Розенблатом, он решил убрать его с дороги, заменить другим, более способным шпионом. Слишком много знал Розенблат, оттого был лишним свидетелем. Рыббе сделал замечание Розенблату за недостаточное количество выловленных им партизан. На это Розенблат в присутствии работников юденрата ответил: «Есть, господин гауптфюрер. Я буду лучше работать, но у меня есть большие заслуги в деле борьбы с партизанами. О них знает г. Гаттенбах, спросите его». Но ему ничто не помогло. В феврале (1943 года. — *Э. И.*) Розенблат был арестован Рыббе прямо на улице, отправлен в тюрьму и там расстрелян. Розенблат продался фашистам и пал от их рук.

Начальником еврейской милиции был назначен по совместительству заведующий еврейской биржей труда Наум Эпштейн. По этому поводу Рыббе сказал: «Ему гестапо доверяет больше, чем другим». Гестапо знало, кому доверяло. Оно знало, что Эпштейн давно продался немцам за бутылку вина, за масло и сало, за хорошую жизнь, за то, чтобы иметь возможность бесконтрольно грабить своих же братьев. Этот негодяй оптом и в розницу продавал свой народ. Он заставлял своих милиционеров шпионить за людьми, доносить ему о малейших нарушениях. В свою очередь, об этом он докладывал Миллеру, и после таких докладов исчезали лучшие люди гетто, преданные делу партии большевиков...

Оказанным доверием Эпштейн гордился. Выбор гестапо был верен. Зверь в этот вечер продал еще 140 человек. В этот же страшный вечер 19 февраля 1943 года Эпштейн не ложился спать. Он ждал «новостей». В 23 часа в гетто въехала грузовая машина с работниками гестапо. Захватив с собой Эпштейна, она направилась к дому № 48 по улице Обувной. Не успели люди выглянуть из окон, как дом был окружен со всех сторон. Людей выводили на улицу и строили по одному в ряд; крики детей заглушили пулемет. 140 человек были убиты. Спокойно взирал Эпштейн на груду трупов. Свои же милиционеры оттащили трупы на кладбище. Долго видны были лужи человеческой крови на улице Обувной»[1].

---

[1] ЦА КГБ РБ. Ф. 40. Оп. 2. Гр. 3.

Гирш Смоляр отмечал: «...Гестапо создало свой «Еврейский комитет» — так называемую оперативную группу. Формально она входила в структуру еврейской полиции, но в действительности взяла под контроль юденрат, биржу труда и другие геттовские учреждения. Во главе «Оперативной группы» немцы поставили несколько очень презрительных типов. Совсем неизвестных в Минске, где они оказались вместе с беженцами из Польши. Геттовцы изо всех сил старались не попадаться на глаза главному информатору «оперативнику» Розенблату. Мы вскоре узнали, что он был известным в уголовных кругах Варшавы вором и сутенером. По существу тем же самым он стал заниматься в Минском гетто: шантаж, грабежи, ежедневные угрозы донести на людей в гестапо (в случае, если те начнут жаловаться, скажем, юденрату) — другого от Розенблата не ждали»[1].

Именно эти пособники выдали СД ряд подпольщиков, в том числе Эмму Родову (ее поймал и передал немцам Розенблат. — *Э. И.*) и Нонку Маркевича. Руководители подполья гетто Михаил Гебелев, Гирш Смоляр, командир партизанского отряда имени Буденного Семен Ганзенко дали указание уничтожать предателей, которых Смоляр называл «оперативниками».

Приказ партизанского командира Семена Ганзенко был выполнен. Подпольщикам удалось заманить в лес группу «оперативников» — кровавого пса «Элинку» Гинзбурга, Мулю Кагана, Мирру Маркман. Приговор народа был справедлив. Предатели были казнены.

Еще одна группа «оперативников» (Мейер Сегалович, его сын, Рубин и другие) также была подготовлена к отправке в лес. Один из них, Берковский, донес в СД. Сотрудники СД окружили двор, где они находились, и открыли стрельбу. Один из подпольщиков успел выстрелить в Берковского. В результате все, кроме Сегаловича, были убиты. Сегалович был казнен позднее по приговору партизанского суда.

* * *

Нацисты хотели поставить узников Минского гетто на колени. Но несмотря на жесточайший террор и проведение политики поголовного геноцида еврейского населения, узники этого гетто с первых недель его создания и вплоть до ликвидации вели тяжелую, неравную и героическую борьбу с врагом.

Первыми подпольщиками стали Яков Киркаешто, Натан Вайнгауз, Гирш Смоляр, Мейер Фельдман, Борис Хаймович, Исай (Евсей) Шнитман.

Первая подпольная организация сопротивления узников Минского гетто возникла через две недели после фактического создания этого гетто — в середине августа 1941 года. На ее первом или учредительном собрании 17 августа на квартире по улице Островского присутствовали бывшие участники коммунистического подполья в Польше и Румынии Яков Киркаешто, Гирш Смоляр, Мейер Фельдман и партийные активисты КП(б)Б из Минска — Борис Хаймович, Натан Вайнгауз, Исай Шнитман. Эта организация поставила перед собой такие задачи: вывод боеспособной части населения гетто в леса для вступления в партизанские группы и отряды, налаживание связи с городским антифашистским подпольем, распространение сведений о положении на фронтах.

Вторая подпольная организация узников Минского гетто была создана во второй половине августа 1941 года пятнадцатью минскими коммунистами, собравшимися по улице Республиканской, 46, хорошо знавшими друг друга, но не имевшими опыта подпольной деятельности. Во главе этой группы или организации стоял минчанин Наум Фельдман. Ее участники приняли два решения: создать типографию и выпускать пропагандистские листовки, а также собирать

---

[1] Смоляр Г. Менскае гета. Мінск, 2002.

Семья активного подпольщика Минского гетто В. Лосика.

оружие, одежду и медикаменты для выхода в лес и при первой возможности вступить в ряды партизан.

Соединение двух подпольных групп в единую подпольную антифашистскую организацию Минского гетто произошло только в конце октября 1941 года. А в ноябре 1941 года эта организация стала составной частью Минского городского подполья.

Во главе с секретарем Тельмановского подпольного райкома КП(б) г. Минска Михаилом Гебелевым активную работу в партийном и комсомольском подполье вели Матвей Пруслин, Мейер Фельдман, Наум Фельдман, Зяма Окунь, Эмма Родова, Надя Шуссер, Елена Майзлес, Роза Липская, Вульф Лосик, Григорий Рубин, Нина Лисс.

С подпольем гетто держал тесную связь секретарь (по другим данным — член) Минского подпольного горкома партии Исай Казинец, удостоенный посмертно высокого звания Герой Советского Союза.

Сегодня это удивительно, что, спасаясь от СД, многие руководители городского подполья Минска скрывались — где бы вы думали? — в гетто. Так, Михаил Гебелев привез 10 коммунистов из «русского» района и прятал их в «малинах» гетто по еврейским паспортам.

Давно настала пора развеять миф о том, что узники Минского, как и других гетто Белоруссии, шли на смерть, будто покорные овцы. Нет, они сражались, не жалея жизни в борьбе со своими палачами. Несмотря на жестокий террор и ежедневные убийства, узники Минского гетто вступили в неравную схватку с врагом, прекрасно понимая, что смерть ждет их на каждом шагу. Они ясно осознавали, что конец гетто может наступить в любую минуту.

Белорусский ученый-историк Анна Купреева еще в 1993 году, накануне 50-летия со дня гибели Минского гетто отмечала:

«...До настоящего времени замалчивается правда о Минском еврейском гетто: там именно разгорались первые искры подпольной борьбы. В Минском гетто находилось 50 % жителей Минска.

Организация подполья в условиях гетто являлась трудной задачей: в концентрационном лагере было много провокаторов, ограниченная свобода передвижения, постоянные облавы, погромы.

Несмотря на все сложности, с момента создания гетто на его территории начало действовать подполье...

Минское гетто просуществовало около 800 дней. Почти столько же в этом лагере смерти за колючей проволокой патриоты вели мужественную борьбу с оккупантами»[1].

К настоящему времени в периодической печати, в энциклопедических изданиях, в официальной исторической литературе помещены сотни публикаций об истории Минского антифашистского подполья. К сожалению, никто из авторов этих работ не акцентирует внимание читателей на том, что бороться с нацистами и их пособниками подпольщикам Минского гетто было несравненно труднее, чем в условиях городского подполья, или как говорилось тогда — подполья в «русском» районе.

Объясняется это тем, что оккупанты ввели круговую поруку. В апреле—мае 1942 года дома были заново пронумерованы. Узники гетто обязывались получить в юденрате белую нашивку с номером дома, а на домах указывалось количество жильцов. Кроме постоянных опознавательных знаков (желтой латки с шестиконечной звездой) каждому жителю дома, квартиры были присвоены индивидуальные номера, которые надлежало носить ниже желтой латки. Немцы устраивали рейды: если в каком-либо доме не хватало одного жильца или оказывался обладатель другого номера — расстреливали всех. Таким образом, если кто-нибудь исчезал, то уничтожались все жители дома или квартиры. По воскресеньям на Юбилейной площади стали устраиваться переклички (аппели). Это накладывало особую ответственность за каждый шаг, за каждое действие подпольщиков.

Позже, когда подпольная организация гетто начала отправлять узников в партизанские отряды, СД установило круговую поруку: если из рабочей колонны исчезал человек, ночью уничтожали всех членов его семьи и соседей. Пришлось искать выход. Врачи подготавливали справки, в которых указывалось, отчего умер больной, и передавали их заведующему жилищным отделом юденрата Дольскому, связанному с подпольем. В жилотделе вписывали в эти справки фамилии людей, уходящих в партизанские отряды или перешедших на нелегальное положение, и вычеркивали их из книги учета. А иногда просто уничтожались регистрационные карточки тех, кто уходил в лес.

По подсчетам автора этих строк, которые следует считать неполными, в Минском гетто за весь период его существования действовало более 400 подпольщиков.

В 1941—1943 годах в Минском гетто существовали 22 подпольные группы, точнее, 12 «десяток» и 10 подпольных групп, действовала подпольная типография во главе с М. Б. Чипчиным, издавался подпольный листок «Вестник Родины». Кроме того, Борис Пупко и Броня Гофман приняли активное участие в выпуске подпольной газеты «Звязда».

* * *

К сожалению, до сих пор, несмотря на множество публикаций о подполье Минского гетто, крайне недостаточно изложены важнейшие биографические данные двух самых ярких и известных руководителей патриотического, анти-

---

[1] Купрэева Г. Мінскае гета: схаваная праўда // Беларуская мінуўшчына. 1993. № 2. С. 46—51; № 3—4. С. 62—67.

фашистского подполья в этом гетто — Гирша Смоляра и Михаила Гебелева, не говоря уже об их научной биографии.

В 1992 году вышла в свет книга белорусского историка, кандидата исторических наук (в годы Великой Отечественной войны заместителя командира Борисовско-Бегомльского партизанского соединения) Константина Доморада «Партийное подполье и партизанское движение в Минской области. 1941—1944». В этой книге есть следующие строки:

«Не был Г. Смоляр и «героем подполья», каким обрисовал себя в некоторых своих публикациях и каким запечатлен в так называемых «протоколах «доппарткома», где он упоминается (под псевдонимами) четыре раза. Г. Смоляр оказался в гетто, по-видимому, не столько для организации борьбы против оккупантов и спасения населения, сколько для личного обогащения, вымогательства у своих сородичей с помощью членов юденрата драгоценностей (золота, американских долларов и т. п.) под благовидным предлогом оказания им помощи в освобождении из гетто»[1].

Еще в начале 1995 года видный белорусский ученый-историк, бывший директор Института истории партии при ЦК КПБ, доктор исторических наук, профессор Ростислав Петрович Платонов писал о Смоляре:

«...Став затем гражданином ПНР, выехал в период гомулковской «охоты на ведьм» 1968 года в командировку в Париж и назад в Польшу не возвратился, поселившись в Израиле. Оставаясь польским гражданином, принял израильское гражданство. С этого времени к нему приклеился ярлык «сиониста», посыпались обвинения в предательстве идеалам, были даже намеки на то, что и в геттовском подполье он появился с «нечистыми целями». Интересно отметить следующее. Несмотря на то, что имя Смоляра как участника подпольной борьбы в Минске упоминается в публикациях конца 50—90-х годов, даже в исторической справке Институтов истории партии при ЦК КПБ и истории АН БССР «О партийном подполье в Минске в годы Великой Отечественной войны», утвержденной ЦК КПБ; в многосерийном фильме «Руины стреляют в упор» он показан как видный руководитель подполья в гетто, фамилию этого человека вы не найдете в официальных списках минских подпольщиков»[2].

Через 68 лет после Великой Отечественной войны пора внести ясность в описание жизни и деятельности профессионального революционера, еврейского общественного деятеля и публициста, одного из первых подпольщиков Минска, одного из первых организаторов Минского антифашистского подполья, комиссара партизанского отряда им. С. Лазо, автора всемирно известной книги «Мстители гетто», прообраза литературных героев документальной повести Ивана Новикова «Руины стреляют в упор» и романа Владимира Карпова «Немиги кровавые берега» Гирша Смоляра.

Гирш (в некоторых вариантах своей автобиографии он называет себя Гершем. — *Э. И.*) Давидович Смоляр родился в городе Замброве Ломжинской губернии (ныне Республика Польша) 4 августа 1905 года, хотя на его могиле в Израиле выгравирована дата рождения — 15 апреля 1905 года. — *Э. И.*). Отец Гирша — Давид Смоляр был однокурсником великого еврейского поэта Хаима Нахмана Бялика по Воложинской иешиве. Родной брат Гирша — Натан, погибший в 1943 году в Варшавском гетто, был видным деятелем просвещения на идиш и активистом партии Поалей Цион.

В 1924 году Гирш Смоляр переезжает в Москву и изучает политические науки и литературу в Коммунистическом университете национальных

---

[1] Доморад К. И. Партийное подполье и партизанское движение в Минской области. 1941—1944. Мн., 1992.

[2] Полымя. 1995. № 6. С. 208.

Гирш Смоляр.

меньшинств Запада. С 1925 года ректором этого университета была уроженка Минска, государственный деятель БССР и СССР Мария Яковлевна Фрумкина (партийный псевдоним Эстер) (1880—1943). Встречи и общение с ней оказали благотворное влияние на формирование мировоззрения Гирша Смоляра.

Знакомство с документами личного дела Г. Д. Смоляра, хранящегося в Национальном архиве Республики Беларусь, наглядно свидетельствуют, что в 1928 году после окончания Коммунистического университета национальных меньшинств Запада 23-летний Гирш по заданию Коммунистического Интернационала нелегально вернулся в Польшу для подпольной работы. Он жил Варшаве, Белостоке, Лодзи, Вильно, выполняя ответственные партийные задания. Смоляр был несколько раз арестован, шесть лет находился в польской тюрьме, причем три года в одиночной камере.

Активист и функционер комсомольских организаций, член КП(б)Б с 1925 года, член КПЗБ, секретарь окружкомов партии в Слониме и Белостоке, член Центральной редакции КПЗБ Смоляр был авторитетным деятелем партийного подполья Западной Беларуси.

Руководство Компартии Западной Беларуси доверило ему редактирование нелегального журнала на идиш «Ди ройте фон», который издавался в Белостоке и Вильно. В 1935—1936 годах Смоляр был сотрудником газеты «Вильнер тог», а затем редактором подпольного тюремного журнала «Кратес», который выходил на четырех языках — идиш, польском, белорусском и литовском.

Деятельность Смоляра в Западной Беларуси высоко оценивали многие видные подпольщики, в том числе такие писатели, как Максим Танк и Пилип Пестрак, о нем очень тепло пишет в своих воспоминаниях народный писатель Беларуси Янка Брыль.

В беседе с автором этих строк Максим Танк, который был активным участником партийного подполья в Западной Беларуси, отметил: «Смоляр был талантливым журналистом и редактором, одним из лучших публицистов Компартии Западной Беларуси. Это был опытный и авторитетный партийный работник. В некотором смысле, особенно по части конспирации, я могу считать Григория Давидовича своим учителем».

После того, как в сентябре 1939 года город Белосток оказался в составе территории БССР, Гирш Смоляр становится ответственным секретарем Белостокского отделения Союза советских писателей БССР.

Самым тяжелым и вместе с тем самым ярким периодом жизни Смоляра стал период 1941—1942 годов, когда он стоял у самых истоков возникновения антифашистского подполья в Минске.

В апреле 2005 года в Минске вышла в свет 4-я книга историко-документальной хроники Минска «Памяць. Мінск», которая рассказывает о жизни города в годы Великой Отечественной войны и насчитывает 912 страниц. Раздел «Антифашистское подполье» насчитывает 133 страницы. Но вы напрасно будете искать в нем, как и во всей книге, фамилию Смоляр. Она отсутствует…

Но ведь не вызывающие сомнения в их подлинности документы из фондов Национального архива Республики Беларусь убедительно свидетельствуют, что антифашистское подполье создается сразу же после создания гетто в Минске в августе 1941 года и в том же месяце в Минском гетто был создан организационный центр партийного антифашистского подполья, одним из фактических руководителей которого стал Смоляр.

В знаменитой «Черной книге», которая готовилась к изданию в 1944—1946 годах, но вышла значительно позже, есть такие строки: «Уполномоченным ЦК партии по гетто был секретарь партгруппы гетто Смоляр, живший в гетто под фамилией Смоляревич (на самом деле Ефим Столяревич. — *Э. И.*), парткличка Скромный. Штаб-квартирой была кочегарка еврейской больницы, где работал Смоляр. Сюда приходили коммунисты, обсуждали и решали самые важные вопросы»[1].

В действительности такой должности или поста не существовало. Подполье в Минском гетто было создано по личной инициативе группы патриотов еще до создания Минского подпольного горкома партии в силу сложившихся обстоятельств.

Вступительная статья, подготовка к печати и комментарии к материалам об истории Минского гетто в журнале «Полымя» принадлежали перу профессора Р. П. Платонова и автора этих строк. Именно мы впервые опубликовали рукопись очерка-отчета Смоляра, написанного, скорее всего, зимой 1945 года, еще до выхода в свет книги «Мстители гетто». Материал этот был передан автором в ЦК КП(б) Б, предположительно, заведующему оргинструкторским отделом В. И. Закурдаеву, который затем направил его в партийный архив. Этот текст хранится теперь в Национальном архиве Республики Беларусь.

Вспоминая события августа 1941 года, Гирш Смоляр пишет:

«...В поисках друзей-товарищей я встретился со знакомыми коммунистами: Я. Киркаешто — бывшим заведующим отделом пропаганды Белостокского горкома КП(б) Б; Н. Вайнгаузом — работником управления по делам искусств при СНК БССР; М. Фельдманом — начальником отдела кадров 2-го Белостокского текстильного комбината; Х. Александровичем — директором кожевенного завода в Гродно; писателем Г. Добиным; Евсеем Шнитманом и Хаймовичем — директорами текстильных фабрик в Белостоке. В беседах с этими товарищами мы пришли к выводу, что нам как коммунистам необходимо начинать организацию противодействия мероприятиям оккупантов.

Как это сделать? Чтобы решить этот вопрос, мы в конце июля 1941 года (архивные документы свидетельствуют, что это произошло в начале августа. — *Э. И.*) собрались на квартире бывшей сотрудницы военного учреждения, жительницы Ленинграда Сони Певцовой-Рывкиной на улице Раковской, № 51. На совещании из вышеназванных товарищей отсутствовали тт. Вайнгауз, который прятался, потому что в минском гетто его все знали, Добин, который в то время работал сапожником в какой-то немецкой мастерской, и Александрович.

На совещании докладывал я, по договоренности с т. Киркаешто, о моем опыте подпольной работы и о ближайших задачах. Основными задачами были поставлены:

1) начать широкую агитмассовую работу по освещению действительного положения на фронте в противовес немецкой лжи;

2) создать оргцентр для сплочения всех преданных делу партии, для ведения борьбы против немецкой оккупации»[2].

Гирш Смоляр отмечает, что оргцентр состоял из Я. Киркаешто, Н. Вайнгауза и Г. Смоляра. Функции между членами оргцентра были распределены таким

---

[1] Черная книга. Ч. I. Сост. В. Гроссман, И. Эренбург. Запорожье, 1991.

[2] Полымя. 1995. № 6. С. 212—213.

образом: Смоляр был секретарем оргцентра, Вайнгауз — ответственный за агитмассовую работу; Киркаешто налаживает нелегальный партийный аппарат. Кроме того, Столер (Столяревич) организует подпольные группы и устанавливает связь с «русским районом». Он также поддерживал связь с руководителем комсомольско-молодежного подполья Эммой Родовой, которая выполняла его указания.

Именно опытный подпольщик Смоляр поддержал идею строить подполье в Минском гетто на основе отдельных групп из десяти человек — «десяток». Он сам возглавил первую «десятку».

Гирш Давидович был инициатором установления связи антифашистского подполья с партизанскими отрядами, которые начали формироваться на Минщине. Он вспоминал: «В это же время, в конце июля (архивные документы свидетельствуют, что происходило в начале августа 1941 года. — *Э. И.*), мы начали прилагать усилия по налаживанию связи с первыми партизанскими отрядами...»[1]

Юденрат Минского гетто с первых же дней своего существования был тесно связан с антифашистским подпольем в гетто, и в первую очередь с его руководителями Гебелевым и Смоляром. Глава юденрата Илья Мушкин часто встречался с Гиршем Смоляром. Тот сумел убедить членов юденрата в необходимости выполнения решений подпольного штаба гетто.

В начале мая 1942 года в Минске были созданы пять подпольных райкомов партии. Один из них — Тельмановский (или райком гетто), который охватывал район гетто, возглавил Михаил Гебелев. В его состав входили Г. Смоляр (май—июль 1942 года), Г. Рубин (май—июль 1942 года), А. Налибоцкий — июнь 1942 года, С. Каждан — июль 1942 года.

Гебелев и Смоляр были не только организаторами ухода многих узников гетто в партизанские отряды, но и способствовали организации ряда партизанских отрядов на базе узников Минского гетто.

В книге Давида Гая «Десятый круг. Жизнь, борьба и гибель Минского гетто» есть строки о человеческих качествах одного из руководителей геттовского подполья: «Григорий Смоляр. Журналист, умница, проницательный, всему знающий цену. И как мало заботился о себе... Иногда товарищи чуть ли не силой засовывали ему в карман кусок хлеба — ведь он тоже голодал. А Гирш отдавал первому встретившемуся ребенку. Редко какую ночь он проводил в одном месте. В котельной больницы была его явочная квартира. Относительно безопасная: немцы панически боялись заразы и туда нос не совали».

В августе 1942 года Гирш Смоляр получил разрешение руководства антифашистского подполья города покинуть Минск.

Вначале он был партизаном отряда им. М. Фрунзе, затем — отряда им. Ф. Дзержинского 18-й партизанской бригады им. М. Фрунзе.

В заявлении от 1 августа 1944 года о восстановлении его в правах члена ВКП(б) Смоляр писал:

«Очутившись во вражеском тылу, я приступил, вместе с группой членов партии, знавших меня в прошлом, к созданию подпольной парторганизации в Минском гетто. Нашим делом была отправка людей в партизанские отряды, обеспечение их оружием и боеприпасами, создание новых партизанских отрядов. Действовал я подпольно до августа 1942 г. под кличкой «Столяревич», «Скромный».

В октябре 1942 г., когда преследование гестапо не дало мне возможности больше оставаться в городе, я отправился вместе с группой товарищей в лес, создали отряд им. Дзержинского (в Дзержинском районе), который вошел в состав брига-

---

[1] Полымя. 1995. № 6. С. 213.

ды им. Фрунзе. В качестве командира отделения и политработника я участвовал в боях и подрывах около Нивеличи, Старинки, Волмянского хутора, Перстяток и др., будучи неоднократно отмечен в приказах командования.

В районе деревень Плоское—Александрово (Узденские леса), когда вся бригада очутилась в кольце наступающих немцев, мое отделение, бывшее в засаде, первое приняло на себя огонь противника, дав этим всей бригаде достаточно срока для перехода на более удобные позиции...

В 1943 г. я участвовал в боях в Заславском и Ивенецком районах и с августа 1943 г. был переведен на работу в подпольной печати (сначала в Ивенецком межрайцентре, а с ноября 1943 г. до соединения с Красной Армией — в Столбцовском межрайцентре...

За время Отечественной войны я награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени и представлен к награждению орденом Красной Звезды[1].

С декабря 1942 года Смоляр являлся комиссаром партизанского отряда им. С. Лазо, который был рассеян во время вражеской блокады в феврале 1943 года.

В его деле имеется справка от 25 июля 1944 года, подписанная начальником отдела кадров Белорусского штаба партизанского движения Борисовым, в которой говорится, что Смоляр Г. Д. действительно состоял в партизанском отряде Столбцовского межрайцентра с 17 октября 1943 года до 25 июля 1944 года в должности редактора районной газеты.

Немногочисленных клеветников биографии Смоляра хочется познакомить со справкой, подписанной помощником Уполномоченного ЦК КП(б)Б и Белорусского штаба партизанского движения по Барановичской области, Героем Советского Союза В. Царюком в 1944 году. Приведем фрагменты этого документа:

«Тов. Смоляр Григорий Давидович был в октябре 1943 года командирован Барановичским областным центром партизанского движения в распоряжение Столбцовского Межрайцентра для организации подпольных печатных изданий Межрайцентра. На этой работе до дня соединения с Красной Армией тов. Смоляр Г. Д. проявил себя как преданный и энергичный организатор, принципиально выдержанный, стремящийся к тому, чтобы большевистское слово в условиях подполья дошло до широких масс народа и мобилизовало их на борьбу с немецкими захватчиками.

Кроме редактирования и регулярного издания газеты «Голас селяніна» и ряда листовок, воззваний и т. п. тов. Смоляр непосредственно участвовал в организации и редактировании газет: «Сцяг свабоды» — орган Мирского РК КП(б)Б, «Перамога» — орган Новомышского РК КП(б)Б, «Чырвоны партызан» — Кореличского РК КП(б)Б, «Партызан Беларусі» — орган Городищенского РК КП(б)Б и «Партызанскае жыгала» — сатирическое межрайонное издание. Своим знанием газетного дела и политическим развитием тов. Смоляр помог в деле выращивания кадров подпольной партийной печати...»[2].

Как представители Столбцовского межрайонного партизанского центра Ефим Столяревич (Гирш Смоляр) и молодой партизан, будущий народный писатель Беларуси Янка Брыль участвовали в партизанском Параде Победы, который состоялся в Минске на ипподроме почти через две недели после освобождения города — 16 июля 1944 года. Об этом и плодотворной деятельности Г. Смоляра в подпольной партизанской печати рассказал автору этих строк Янка Брыль.

За активное участие в деятельности антифашистского подполья и в партизанском движении Смоляр был награжден орденом Красной Звезды, медалью

---

[1] НА РБ. Ф. 74. Оп. 54/5. Д. 145. Л. 7—8.
[2] НА РБ. Ф. 74. Оп. 54/5. Д. 145. Л. 5.

«Партизану Отечественной войны». Кроме этого, он был удостоен польского ордена «Крест Грюнвальда».

На мой взгляд, из книг, изданных Гиршем Давидовичем в израильский период его жизни, наибольшую ценность имеет книга «Минское гетто: Борьба советских евреев-партизан против нацистов», изданная на английском языке в Нью-Йорке в 1989 году — за четыре года до его смерти. Она была переведена на белорусский язык и вышла в Минске в 2002 году под названием «Менскае гета».

Г. Д. Смоляра не стало 16 марта 1993 года — на 88-м году жизни.

Тщательное изучение автором этих строк фондов Национального архива Республики Беларусь (в первую очередь личного дела Г. Д. Смоляра), Центрального архива Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного архива Минской области, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, интервью автора с рядом активных участников Минского антифашистского подполья, с узниками Минского гетто, с людьми, близко знавшими Гирша Давидовича, и анализ широкого круга источников, изданных в России, ФРГ, Израиле, Польше, США и других странах, показывает, что обвинения К. И. Доморада в адрес Г. Д. Смоляра не соответствуют действительности и искажают историю Минского антифашистского подполья.

Я надеюсь, что его деятельность будет оценена по заслугам, и честное, доброе имя Гирша Давидовича Смоляра заслуженно войдет в энциклопедии и энциклопедические справочники, в школьные и вузовские учебники по истории Беларуси периода Великой Отечественной войны как имя мужественного борца против нацизма.

* * *

В 5-м томе 18-томной Беларускай Энцыклапедыі (Мн., 1997) указано, что Михаил Гебелев был участником Минского патриотического подполья в Великую Отечественную войну. Это неполно и неточно. В действительности он был одним из организаторов и руководителей Минского патриотического подполья в самые тяжелые 1941—1942 годы.

Михаил (Михель) Лейбович Гебелев родился — 15 октября 1905 года в местечке Узляны теперешнего Пуховичского района. С 15-летнего возраста он работает столяром. В 1927—1928 годах Гебелев становится курсантом, а затем командиром отделения 10-го стрелкового полка 4-й дивизии имени Германского пролетариата, которая размещалась в Бобруйске. В 1929—1931 годах он продолжал работать в Московской Краснопресненской стройконторе, на минском заводе «Деревообделочник» и Минской мебельной фабрике.

В 1929 году Михаил Гебелев вступил в Коммунистическую партию. В 1932 году он окончил один курс вечернего комвуза в Минске, а в 1933 году его направили учиться в Республиканскую школу пропагандистов при ЦК Компартии Белоруссии. После окончания этой школы Михаил Львович работал пропагандистом, а затем инструктором Сталинского райкома партии города Минска. Именно на этой работе и застала его Великая Отечественная война.

В первые дни войны Михаил Гебелев был призван на сборный воинский пункт в Уручье. Как вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Д. В. Бельник, который в то время вместе с Гебелевым находился в Уручье, Михаил взял с собой все необходимое: краюху хлеба и книги.

Ночью в Уручье проникли вражеские десантники в красноармейской форме. Когда утром положение определилось, был дан приказ идти на Борисов. И тогда Гебелев сказал Бельнику: «Я возвращаюсь в Минск. Партия дала мне задание остаться в Минске».

Михаил Гебелев.

Гирш Давидович Смоляр и Михаил Львович Гебелев впервые встретились после гибели Я. Киркаешто в сентябре 1941 года на его похоронах. Смоляр предложил Гебелеву не только вступить в подпольную организацию Минского гетто, но и стать одним из ее руководителей. Таким образом, с октября 1941 года в руководящий Оргцентр подпольной партийной организации Минского гетто входили Н. Г. Вайнгауз, М. Л. Гебелев и Г. Д. Смоляр.

Когда 20 ноября 1941 года Нотке Вайнгауз погиб во время погрома, вместо него в Оргцентр ввели бывшего заведующего отделом пропаганды сталинского райкома партии М. М. Пруслина. Итак, с конца ноября 1941 года по март 1942 года руководящий Оргцентр подпольной организации Минского гетто состоял из Гебелева, Смоляра и Пруслина.

Подпольными кличками Михаила Гебелева стали Русинов, Фадеев, Бесстрашный Герман, Летучий голландец.

В ноябре 1941 года Михаил Львович принял участие в организации собрания городского подполья в Минске и фактически стал уполномоченным Минского подпольного горкома партии по гетто.

Анализ многочисленных источников свидетельствует, что в городском подполье Гебелев получал задания непосредственно от секретаря подпольного горкома (по другим данным — члена подпольного горкома, одного из руководителей Минского патриотического подполья. — *Э. И.*) Исая Казинца (Славки), с которым он встречался дважды в месяц.

Именно под руководством Гебелева и Смоляра в гетто были созданы 22 подпольные «десятки» и подпольные группы. Михаил Львович организовывал переброску попавших в плен красноармейцев и командиров Красной Армии к партизанам, создал редакцию подпольной газеты, типографию, организовал прием сводок Совинформбюро.

Через 47 лет после гибели Гебелева его боевой соратник Гирш Смоляр в книге о борьбе советских евреев партизан против нацистов акцентировал внимание читателей на деятельности Михаила Львовича в подполье Минского гетто и всего Минска:

«Насамрэч Міша рабіў надта шмат вылазак. Мы нават часам сварыліся на яго за гэта, досыць сурова каралі і папярэджвалі. Ён цярпліва нас выслухоўваў, апусціўшы долу вочы, зрэдзьчас незадаволена пыхкаў і адмоўчваўся. А потым зноў браўся за старое.

Ягоная сувязная ў «рускай зоне» Клара Жалязняк называла яго Бясстрашным Германам. Аня, другая Мішава сувязная (я не ведаў ейнага прозвішча) ахрысціла яго Лятучым галандцам. Між тым сам ён ніколі не паводзіў сябе так, быццам рабіў штосьці незвычайнае».

После казни детей в детском доме гетто Гебелев организовал переправку еврейских детей в детские дома «русского района». Через городских подпольщиков Василия Сайчика и Захара Гало он добывал паспорта, добывал оружие и медикаменты, руководил отправкой военнопленных и узников гетто в партизанские отряды.

После ареста в конце марта 1942 года руководителей Минского городского патриотического подполья Михаил Гебелев стал одним из главных организаторов и руководителей подпольной работы в Минске.

В начале мая 1942 года на конспиративной квартире Н. П. Дрозда по улице Торговой состоялось совещание 14 подпольщиков города, на котором было решено создать пять подпольных райкомов партии Минска: Ворошиловский, Железнодорожный, Сталинский, Кагановичский и подпольный райком гетто (в ряде документов он проходит под названием «Тельмановский»). Секретарем этого райкома стал Михаил Гебелев, который, таким образом, стал официальным руководителем патриотического, антифашистского подполья Минского гетто. Кроме Гебелева в его состав вошли Г. Смоляр, Г. Рубин, А. Налибоцкий, С. Каждан.

В июле 1942 года во время подготовки к отправлению в партизанский отряд очередной группы военнопленных Михаил Гебелев был арестован.

В Национальном архиве Республики Беларусь хранятся воспоминанания одной из самых активных участниц Минского подполья, руководителя подпольной группы Минского гетто по связи с «русским районом» города Хаси Менделевны Пруслиной (подпольные клички Федюк Пелагея Петровна, Полина Петровна). Приведем фрагмент из этого документа:

«...Летом 1942 года подпольной организации гетто был нанесен еще один тяжелый удар. При нелегальном переходе через «границу» (гетто. — *Э. И.*) был схвачен Михаил Гебелев. Как вели окровавленного, с закрученными назад руками Мишу Гебелева, видела Татьяна Герасименко. Миша Гебелев был главным организатором подполья в гетто и активнейшим работником всего минского подполья. Гебелев был неутомим и бесстрашен. Городской подпольный комитет пытался через Сталинский райком спасти Гебелева. Помню, что были добыты ценности, чтобы вырвать его из тюрьмы и организовать побег, когда его поведут на работу. Паспорт у Гебелева был русский на имя Русинова. Николай Герасименко держал с ним систематическую связь через свою жену Татьяну Герасименко, Марию Маерову и Ольгу Ивановскую и др., которые носили ему передачи. В зеленом луке, в лепешках, в хлебе пересылались ему письма. Гебелев писал ответы, пряча их в кантах молочной крынки. Но помочь Гебелеву товарищи не сумели. Вскоре они сами попали в лапы гестапо»[1].

Х. М. Пруслина и редакция энциклопедии «Холокост на территории СССР» (М., 2009), отметившая, что Гебелева «неожиданно перевели из тюрьмы в гестапо», ошибаются. В действительности Гебелева перевели в СД, так как гестапо действовало только на территории Германии.

Долгое время в официальных изданиях не указывался день смерти Михаила Львовича. В таком авторитетном издании, как «Мінскае антыфашысцкае падполле» (Мн., 1995), указано, что Гебелев повешен в минской тюрьме в сентябре 1942 года. Сентябрем 1942 года датируется его смерть в краткой биографической справке Ф. Л. Липского, помещенной в 5-м томе Беларускай Энцыклапедыі (Мн., 1997).

Согласно многолетним исследованиям дочери героя Светланы Михайловны Гебелевой, ее отец погиб после зверских пыток 15 августа 1942 года.

Родина не забыла своего отважного сына. Накануне 20-летия Великой Победы над германским нацизмом — в мае 1965 года Михаил Гебелев был посмертно награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Этот орден и фотография героя экспонируются сегодня на одном из стендов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В 2004 году Михаил Львович был посмертно удостоен медали, посвященной 60-летию освобождения Беларуси от немецких оккупантов.

---

[1] НА РБ. Ф. 4384. Оп. 2. Д. 85.

16 июня 2005 года по инициативе Президента Республики Беларусь исполком Минского горсовета принял решение о переименовании Мебельного переулка в улицу имени Михаила Гебелева.

15 октября 2005 года в торжественной обстановке на доме № 1 улицы имени одного из руководителей антифашистского подполья в Минске в годы Великой Отечественной войны, руководителя подполья в Минском гетто Михаила Львовича Гебелева был установлен мемориальный знак в его честь.

Он отлит из бронзы в круглом барельефе, который по форме напоминает «лату» — опознавательный знак узника Минского гетто. Под барельефом надпись: «Улица названа в честь одного из организаторов Минского антифашистского подполья, секретаря районной подпольной организации на территории Минского гетто в годы Великой Отечественной войны Михаила Львовича Гебелева. Погиб в 1942 году».

Несмотря на то, что история антифашистского подполья в Минском гетто давно уже стала предметом рассмотрения, информация об особенностях подполья остается «белым пятном», в том числе и по сравнению с подпольем в других гетто Белоруссии и оккупированных нацистами других регионов СССР, а также других странах Европы.

Во-первых, антифашистское подполье в Минске было создано очень оперативно — фактически через две недели после создания гетто и действовало по октябрь 1943 года, то есть до конца его существования. Возникновение Минского городского антифашистского подполья датируется сентябрем 1941 года, а подполья в гетто — серединой августа 1941 года, то есть раньше, чем были созданы подпольные группы в «русском» районе и городское подполье («городской комитет»).

В то же время нельзя согласиться с категорическим утверждением израильского историка Шолома Холявского, что все без исключения руководители подполья были «западниками» (т. е. прибыли в Минск из западных районов СССР и Польши).

Среди первых подпольщиков Минского гетто были уроженцы Минска — бывший директор крупной текстильной фабрики, офицер Красной Армии Борис Хаймович и рабочий-текстильщик Исай Шнитман.

Вспоминая истоки создания подполья в Минском гетто, Гирш Смоляр отмечал: «Такім чынам, нас сабралася пяцёра: два “мінскеры” (Барыс Хаймовіч і Ісай Шнітман), два “заходнікі” (Меер Фельдман і я) і былы партработнік з Беластока, нараджэнец Адэсы Якаў Кіркаешта».

Во-вторых, подполье Минского гетто было однопартийным, или точнее, коммунистическим подпольем. В связи с этим руководителям подполья не пришлось тратить время на преодоление идейных разногласий, как это наблюдалось в Варшавском и других гетто Польши.

В-третьих, антифашистское подполье в Минском гетто действовало в тесном контакте с городским антифашистским подпольем, под руководством городского подпольного комитета. Связь «русского» района Минска с подпольщиками гетто осуществляли И. П. Казинец, Н. Е. Герасименко, М. Б. Осипова, Г. В. Суслова и другие руководители общегородского подполья и подпольных групп. Подпольный горком партии поддерживал регулярные связи с подпольем гетто. В минское гетто периодически прибывал связной комитета, который встречался с руководством подполья гетто. Долгое время связь геттовского подполья с городским подпольем осуществляла руководитель комсомольского подполья Минского гетто Эмма Родова.

В четвертых, наличие самых тесных связей и отношений руководства геттовского антифашистского подполья с юденратом в августе 1941-го — июле 1942 года, когда председателями юденрата являлись Илья Мушкин и Моисей Иоффе, руководителями отделов — Дольский, Гирш Рудицер, Михаил Зоров, а началь-

«Праведник народов мира»
Мария Калинина.

ником еврейской «милиции», насчитывавшей 200 человек, — Зяма Серебрянский.

В апреле 2013 года я принял участие в работе Международного «круглого стола» в Исторической мастерской города Минска, посвященного 70-летию восстания в Варшавском гетто. И тогда у ряда участников и слушателей «круглого стола» невольно возник вопрос: «А почему же не произошло восстания в Минском гетто?»

Отвечая на этот вопрос, я акцентировал внимание на следующих моментах.

Руководители антифашистского, патриотического подполья в Минском гетто никогда не ставили вопрос о подготовке к вооруженному восстанию. В книге Гирша Смоляра «Мстители гетто» есть такие строки: «Мы понимали: начать в одной какой-либо части гетто вооруженную борьбу — значит обречь на гибель все население гетто. А конечная наша цель — вывести людей из гетто, чтобы жить, бороться и мстить».

Кроме того, в результате облав на протяжении августа 1941 года нацистам и их пособникам удалось истребить около 5 тысяч узников гетто, то есть значительную часть наиболее молодых, здоровых и боеспособных мужчин Минского гетто.

Еще в июне 1919 года комиссариат по еврейским делам Наркомнаца обнародовал решение о роспуске еврейских общин и потребовал сдать ему их имущество. Это решение сыграло негативную роль в жизни еврейских общин БССР. И, несмотря на наличие представителей различных еврейских политических партий и общественных организаций в составе антифашистского подполья Варшавского гетто, оно оказались более сплоченным, более консолидированным, чем подполье Минского гетто.

Узникам Минского гетто и его подполью противостояли самые сильные и опытные кадры немецких спецслужб, которые имели немалую агентуру в гетто.

Многих читателей интересует вопрос: «Какому количеству узников Минского гетто и зондергетто удалось спастись?»

По мнению Гирша Смоляра, таких было около 10 тысяч человек. По данным израильского историка Д. Романовского, подполье гетто, подпольный горком партии и партизаны сумели вывести из гетто от 6 до 10 тысяч человек. Он высказал предположение, что половина из выведенных дожили до освобождения.

По моим подсчетам, из Минского гетто сбежали от 7 до 8 тысяч узников. Но это не значит, что все они выжили. Сотни узников погибли по дороге из Минского гетто в партизаны, сотни погибли в партизанских отрядах, а десятки погибли по вине антисемитски настроенных партизанских командиров.

Только одному узнику первого зондергетто — Карлу Левенштайну, 1887 года рождения, удалось спастись благодаря знакомству и совместной учебе с Вильгельмом Кубе. Кроме того, он был адъютантом кронпринца, участником Первой мировой войны, морским офицером, берлинским банкиром, членом евангелической христианской партии. После его встречи с генеральным комиссаром генерального округа «Белоруссия» и ходатайства Кубе перед Гитлером

о персональном статусе Карла Левенштайна было получено согласие ведомства Гиммлера на его освобождение из зондергетто. 13 мая 1942 года К. Левенштайн был переведен в Терезиенштадт, где оставался там руководителем охраны лагеря до его освобождения.

Одновременно возникает вопрос: сколько иностранных евреев-узников первого и второго зондергетто и Тростенецкого лагеря смерти осталось в живых?

Если количество спасшихся узников Минского гетто — советских, белорусских, минских евреев исчисляется тысячами, то иностранных евреев — десятками. По неполным данным, число выживших из них составляет около 50 человек.

Так, из эшелона из Гамбурга, прибывшего в Минск 10 ноября 1941 года, выжил всего один человек, из поезда из Дюссельдорфа (15 ноября 1941 года) — 5 человек, из транспорта из Франкфурта-на-Майне (17 ноября 1941 года) — 9, из Берлина (18 ноября 1941 года) — 3, из Брно (21 ноября 1941 года) — 11, из Гамбурга и Бремена (23 ноября 1941 года) — 6 человек[1].

По документам, использованным в исследовании Петры Рентроп, из числа немецких, австрийских и чешских евреев, депортированных в Минск и Малый Тростенец, удалось спастись всего только 75 европейским евреям.

С начала 1990-х годов по настоящее время семь немецких городов (Бремен, Дюссельдорф, Гамбург, Кельн, Бонн, Берлин, Франкфурт-на-Майне), а также австрийская Вена установили на территории бывшего еврейского кладбища в Минске, рядом с Исторической мастерской (ул. Сухая, 25), камни в память о своих еврейских согражданах, погибших в Минском гетто и Тростенецком лагере смерти.

Наличие десятков тысяч коллаборационистов, которые вместе с нацистами осуществляли Холокост, — позор литовского, украинского, белорусского, русского и других народов СССР.

Сегодня можно смело утверждать, что большинство узников Минского гетто, которым удалось бежать из него, обязаны своим спасением местному населению — сотням белорусов, русских, поляков, украинцев, представителей других этносов, которые спасали евреев. Эти люди — гордость и слава, воплощение самых лучших человеческих качеств. Они спасали честь своих народов.

Уже известно, что звания «Праведника народов мира» Мемориальным музеем памяти жертв и героев Катастрофы европейского еврейства «Яд ва-Шем» в Иерусалиме удостоены более 710 уроженцев и жителей Беларуси. Это высокое звание присвоено людям, которые, рискуя своей жизнью и жизнью своих родных, спасали от нацистов и их пособников евреев в 1941—1944 годах. Среди этих евреев было немало узников Минского гетто.

«Праведниками народов мира» стали минчане Елена Валендович, Ольга Сидоренко, Евгения Емельянова, Эмилия Варакса, ее сын Вячеслав и дочь Тамара Липень, Денис и Нина Галаховы, Анна Серова и ее дочь Зоя, Адам и Лидия Петровичи и их дочь Валентина Выхото, Мария Бабич, Александра Гржибовская-Слепова, знаменитая минская подпольщица, Герой Советского Союза Мария Осипова и ее дочь Тамара, Елена Павлова и ее дочь Ирина Простак, Дарья Сакуро, Иван и Екатерина Бовт и их сын Иван, Иосиф и Елизавета Быковы и их дочь Людмила Мачуленко, Мария Евдокимова, Юлиан и Вера Игруши и их сын Виктор, Александр и Маргарита Мановы, Надежда Мариненко, Людмила Салтанович-Лаврова, Кирилл и Анастасия Семашко и их дочь Раиса, Ольга Глазебная и ее сестра Варвара Симон, Анна Величко, Мария Калинина и Михаил Филиппович, Петр и Лидия Поликарпович и их дочери Татьяна и Валентина, Мария Харецкая, Михаил Панасюк, Ольга Апатская и ее сын Владимир, Викентий и Вера Бируля и их сын Альберт, Екатерина Голоцевич, Юлия Уласик и ее

[1] Хеккер К. Немецкие евреи в Минском гетто. Минск, 2007.

дочь Наталья, Елизавета Ливанова и Лукерья Прудниченко, Николай Светликов и его жена Стефанида Голушенкова, Юлия Кухта, Варвара Филиппович, Мария Шароварова, Анна Крезо и ее дочь Надежда Соловьева, Клара Герасимович и ее дочь Инна Хилькевич, Александр и Мария Прокопович и их дочь Софья, Мария Ковзус, Никита и Софья Лукьянович и их дочь Светлана, Елена Печенежская, Александра Рогачевская-Дулевич, Вера Спарнинг-Демидова, Надежда Старовойтова, Владимир и Мария Лопатик и их сын Владимир, Ольга Чапланова, Фатима Канапацкая и ее дочь Айша (Анна Трофимова), семья Хачевских, Надежда Макрущиц.

«Праведниками народов мира» оказались жители белорусских деревень Поречье и Святое Пуховичского района, которые в 1943 году приютили около 40 еврейских детей, бежавших из Минского гетто.

Я убежден, что если бы спасителей евреев среди местных жителей начали искать сразу после Великой Отечественной войны, «Праведников народов мира» среди белорусов и других этносов нашей республики было бы во много раз больше и Республика Беларусь заняла бы одно из первых мест в Европе. Не будем забывать, что, начиная с 1948 года и кончая 1980-ми годами, в СССР проводилась политика государственного антисемитизма и женщине, которая спасала евреев, говорили: «Ты не тех спасала».

Надеюсь, что тех жителей Беларуси, которые в годы войны спасали евреев — граждан БССР и СССР, кроме медали «Праведник народов мира» когда-нибудь удостоят наград Республики Беларусь, как это делается в братской Украине.

* * *

Исследование неизвестных и малоизвестных страниц истории Минского гетто в 1941—1943 годах — это вместе с тем ликвидация «белых пятен» трагической и героической истории белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Многогранная трагическая и героическая история Минского гетто еще ждет своего исследователя или коллектива исследователей, которые бы смогли создать фундаментальный научный труд по данной проблеме.

Verbatim

ЕЛЕНА МАЛЬЧЕВСКАЯ

Мимикрия под реальность

Мы сидим с режиссером Дмитрием Волкостреловым на балконе квартиры драматурга Павла Пряжко. А вокруг нас — та самая Малиновка из пьесы «Три дня в аду». И мне кажется, неспроста мы окружены этой реальностью, это какой-то важный для нас контекст.

— Что вы чувствуете, — спрашиваю я у Дмитрия, — оказавшись в реальности из текста Павла Пряжко?

— Ну, дело в том, что я не в первый раз здесь оказался, — говорит Волкострелов. — И когда я читал текст «Три дня в аду», то я уже узнавал какие-то вещи, там описанные. Текст, в хорошем смысле, вторичен по отношению к реальности. Я над ним работаю в Москве, про место мы особо не говорим с актерами. Наши чувства и мысли, скорее, не про место, которое Паша описывает, а вообще о реальности как таковой. В общем-то, о многих местах на земле. О сознании, которое описано в тексте и с которым ты сталкиваешься не только в Минске, но вообще везде.

Дмитрий Волкострелов
Российский актер, режиссер, создатель и руководитель «театра post». Родился в 1982 году в Москве. Учился в Московском государственном университете культуры и искусств, в Санкт-Петербургской академии театрального искусства (курс Льва Додина). Постоянно работает с текстами Павла Пряжко.

* * *

Спектакль по пьесе «Три дня в аду» Дмитрий Волкострелов поставил в московском Театре наций (премьера состоится 11 сентября 2013 года). Российский театральный критик Дмитрий Ренанский на встрече с журналистами в рамках Международного форума театрального искусства «Теарт» отметил, что у наших соседей Пряжко, по данным Российского Авторского

«Я свободен».

Общества, — самый часто ставящийся современный драматург. Спектакли по его пьесам идут повсюду: от Москвы и Питера — до Нового Уренгоя. В Беларуси, на родине драматурга, в том пространстве, в том контексте, в той реальности, о которых он пишет осязаемо, узнаваемо, по пьесам Пряжко в репертуаре можно посмотреть только два спектакля, и то не в Минске: «Хозяин кофейни» в Могилевском областном драматическом театре и «Урожай» в Брестском академическом театре драмы. Кажется, ненамного больше, чем в Новом Уренгое…

Но этот текст — не разговор о том, почему в России спектакли по пьесам Павла Пряжко номинируют на «Золотую маску», а в Беларуси не ставят. Здесь вообще важнее сказать о том, что осенью в Минске в очередной раз пройдет Международный форум театрального искусства «Теарт», на котором впервые будет представлена обширная программа спектаклей по современной белорусской драматургии: Павел Пряжко, Дмитрий Богославский, Константин Стешик и другие. По мнению Дмитрия Ренанского, значимость этого события трудно переоценить: «Собственно, задача белорусского блока заключается в том, чтобы вернуть белорусскую драматургию в то место, где она родилась, и в то пространство, которым эта драматургия дышит. Реалии, которые описывают в своих пьесах и Пряжко, и Богославский, и Стешик, — это реалии белорусские, и русским режиссерам, русским актерам, русской публике они не всегда понятны. Они видят эти реалии как-то иначе. Важно, чтобы это было поставлено здесь, чтобы это прозвучало здесь, было сыграно белорусскими актерами (неважно, поставлено это белорусскими или российскими режиссерами — это уже следующий вопрос). Это просто важнейшее событие. Такой простой пример: недавно в московском Театре наций случился предпремьерный показ пьесы «Три дня в аду». Впечатление от этого спектакля довольно сильное, но оно, скорее, общеэстетическое, скажем, какие-то сущностные вещи (текст, который очень точно описывает реальность, в которой белорусы живут)… Чувственное переживание этого текста возможно только здесь. Величие Пряжко в том, что он не бытописатель. И достоинство пьесы «Три дня в аду» не только в том, что там точно зафиксирована современная белорусская реальность. Но какого-то важного чувственного компонента в ее понимании и в ее восприятии нет. Всегда важно, чтобы не происходило какого-то отрыва. Важно, чтобы искусство показывалось там, где оно выросло, там, где оно создается».

* * *

И вот мы сидим с Дмитрием Волкостреловым в реальности Павла Пряжко и разговариваем о театре.

Тандем молодого белорусского драматурга Павла Пряжко и молодого российского режиссера Дмитрия Волкострелова хорошо известен в театральном пространстве. Опыт работы Волкострелова с непростыми текстами Пряжко не закончился освоением одной-двух пьес. Дмитрий поставил, кажется, все последние произведения драматурга: «Запертая дверь», «Злая девушка», «Хозяин кофейни», «Солдат», «Я свободен». В рамках «Теарта» Волкострелов поставит новый текст Пряжко «Печальный хоккеист», для которого в этот приезд в Минск проводит кастинг. А в основной программе фестиваля его «театр post» покажет спектакль по пьесам Марка Равенхилла «Shoot/Get treasure/Repeat».

— Дмитрий, скажите несколько слов для белорусских читателей о том, что такое «театр post».

— Наш «театр post» — независимое некоммерческое автономное объединение друзей, товарищей, которым нравится этим заниматься. Мы всегда работаем с современными текстами (может быть, следующий проект будет инспирирован не совсем современным текстом, но, в принципе, текстом не сценическим, с которым интересно работать). Работаем вне театральных помещений, где нет деления на сцену и зрительный зал. И это тоже очень важно — какой-то прямой контакт со зрителем. Мы работаем с текстами, с которыми интересно работать по ряду причин, в том числе и формальным; которые ставят перед тобой сложную задачу перед актером, режиссером, с которыми нужно найти какой-то контакт. Читаешь в первый раз — и непонятно, как их сделать. За это я ценю прежде всего Павла Пряжко. За то, что непонятно, как делать.

— А если понятно, возьметесь за текст?

— А это тогда малоинтересно. Тут ведь такая вещь: конечно, любой текст непонятно, как делать, если серьезно к этому подойти. Любой текст ставит перед тобой какие-то сложные задачи, если над ним начать работать. Но есть первые ощущения, которым важно доверять. И когда ты после первого прочтения понимаешь, как это должно быть, и когда ты можешь уйти куда-то в сторону, изменить это первое впечатление. Но если это первое впечатление уже есть, то мне сразу становится как-то не очень интересно. Первое впечатление (и в дальнейшем оно только усиливается): непонимание — как с этим быть, как с этим работать. Как бы вопрос: неужели театр может быть таким? Может! Может быть абсолютно разным.

— Ваш «театр post» — это наверняка вариант студийного театра. Вы получаете постоянное финансирование?

— Нет.

— Это репертуарный театр?

— По сути, мы являемся репертуарным театром, поскольку каждый наш спектакль мы играем по нескольку раз в месяц. Это не проектный театр. У нас нет такой истории: сделали проект и игра-

«Солдат».

ем его в течение месяца. Нет. Мы держим свои спектакли и стараемся регулярно их играть.

— Театральный текст и пьеса — для вас есть принципиальная разница?

— Для меня есть. Для меня очень простая разница. Пьеса в классическом понимании — это список действующих лиц, деление на акты, эпизоды. То есть, автор многое диктует структуре спектакля, но исходя из классических представлений о театре. В то время как театральный текст может быть абсолютно любым. Все что угодно может быть театральным текстом. Конечно, есть какая-то разница. Но даже просто формально, визуально я отделяю текст от пьесы.

— Что еще притягательного есть для вас в текстах Павла Пряжко, кроме того, что сначала не понимаешь, как их ставить?

— Ну, на самом деле, конечно, это не самое главное, это один из больших плюсов. Самое главное для меня — это, во-первых… Но тут нельзя говорить, что во-первых, что во-вторых… Тут все перемешано. Одна из главных особенностей — это постоянный Пашин поиск какого-то театрального языка, постоянное обновление и постоянное изменение. Вот это самое главное — у Паши нет такого приема, который он использует с завидной регулярностью. Все каждый раз меняется. И еще одна важная вещь — это внимание к реальности. У меня есть какой-то пример понимания, что можно делать на сцене, а что нельзя (лично мое, это не значит, что я на весь театр его распространяю, — нисколько). Для меня важен вопрос реальности происходящего, возможности перформативности. И тексты Павла Пряжко обладают свойством реальности. Абсолютно.

— Скажите несколько анонсивных слов о тексте «Печальный хоккеист».

— А я пока не могу сказать, я пока не понимаю, как с этим текстом быть и что делать. Там есть стихи, что очень даже неожиданно. И снова непонятно, что с этим делать… Не могу сказать, что там есть конкретная внятная история: она таится, как-то прячется, ускользает, уходит от нас. И при этом она есть, и очень простая. Но текст напрямую нам ее не сообщает. Вновь какой-то неожиданный текст. Одна из вещей, которые мне очень близки в Паше, это его невероятный гуманизм. Абсолютно гуманистический текст, написанный с большой любовью. И это очень здорово.

* * *

«Солдат пришел в увольнительную. Когда надо было идти обратно в армию, он в армию не пошел». Только что вы прочитали пьесу Павла Пряжко «Солдат». Дмитрий Волкострелов превратил ее в десятиминутный спектакль, поставив в тупик многих: что же это за театр? Потом была пьеса «Я свободен» из 535 фотографий Браславских озер и диванов и 13 реплик. «Три дня в аду», где репортажным снимком в словах зафиксирован Минск в феврале 2012 года и люди в нем: алкоголик Дима, который покупает себе дорогущий телефон и отправляется в ЛТП; девушка, которая работает в музее, школьник в конверсах; милиционер с набором для суши в портфеле, экономящий на талонах. Город, люди, цены, транспортные маршруты, сознание современного человека, его образ мыслей.

Это для наглядности о неожиданности, неповторяемости, гуманизме в пьесах Пряжко. А потом мы придем смотреть «Печального хоккеиста» и опять удивимся.

* * *

— Так что же, по-вашему, можно и чего нельзя делать на сцене?

— Это очень сложный вопрос. Давайте так: безусловно, существуют какие-то игровые структуры или игровые моменты, и, безусловно, приходя в театр, мы делаем допущение, что ситуация игровая. Например, мы работали над пьесами

Равенхилла, и в одной из них семейная пара ужинает и ведет диалог. И вот Равенхилл, большой серьезный автор, вкладывает в диалог всю их прошлую жизнь. И я понимаю, что это можно сыграть, это можно сыграть круто и здорово. Но мне это не очень интересно. Это не то свойство театра, которое меня интересует, — такой мощный, серьезный информационный поток. Мне как раз интересно, что прячется за этими потоками; то, что кажется нереальным. Перформативная реальность, подлинность происходящего. Вот это мне интересно. И в этом свойство Пашиных текстов, он дает такую возможность. Потому что он просто чувствует тексты из жизни и с ними работает. Реальность не сконструированная, а та, которую можно попробовать подлинно передать.

— То есть, в вашем понимании, сконструировать реальность на сцене нельзя?

— Нет-нет-нет. Смотрите. Можно все. К счастью, можно все. Вопрос в том, что мне с этим не очень интересно работать. Это просто не то, чем мы занимаемся. Дело, конечно, не в конструировании реальности. Конструировать реальность — это как раз-таки важно и правильно. А театр, как правило, реальностью не занимается. Он занимается нереальностью, некой театральной условностью. То, чем занимаемся мы, это тоже театральная условность. Просто некое другое ее качество. Мы стараемся мимикрировать, что ли, под реальность. Мы как раз пытаемся доказать, что мы не театр, мы что-то другое.

— А что тогда?

— Не знаю. Но мне кажется, что сегодня от ряда каких-то понятий, каких-то институтов нужно отказаться, чтобы к ним вернуться.

— Интересная и актуальная тема: в Литве существует целое движение «Не театр». Но от чего нужно отказаться и к чему возвратиться в первую очередь?

— Я не знаю, всем нужно что-то разное. Но по моим ощущениям, прежде всего нужно отказаться от театра как такового. И попытаться в театре

ТЕАРТ

Белорусская программа «Теарта-2013»:

Павел Пряжко. «Печальный хоккеист»; режиссер Дмитрий Волкострелов (Россия).

Дмитрий Богославский. «Тихий шорох уходящих шагов»; режиссер Шамиль Дыйканбаев (Кыргызстан, спектакль Республиканского театра белорусской драматургии).

Дмитрий Богославский, Сергей Анцелевич, Виктор Крассовский. «PATRIS»; режиссеры Дмитрий Богославский, Сергей Анцелевич, Виктор Красовский (Беларусь).

Константин Стешик. «Кратковременная»; режиссер Семен Александровский (Россия).

Вячеслав Иноземцев. «Ремонт»; режиссер Вячеслав Иноземцев (Беларусь, театр «ИнЖест»).

сделать что-то другое. Выйти за рамки того, чему учат в театральных вузах. Это же не только в театре происходит, и в кино, и в современном искусстве происходит такой процесс. Наверное, художнику важно нарушить какие-то привычные конвенции, чтобы таким образом как-то вернуться к ним, чтобы обнулить ситуацию и сделать ее вновь театральной, вновь киношной, вновь изобразительной таким образом. Самое ужасное — это сила привычки, это инерция привычки. Вот мы приходим в театр, а там все привычно, приходим в кино, и там все привычно. Все примерно одно и то же, и мы уже заранее знаем, что там будет. Современному художнику как раз интересно и правильно работать именно с этим незнанием, нарушением знания.

— Да, есть еще привычка к ритуалу похода в театр (что одеть, как себя вести), привычка зрительского восприятия.

— Абсолютно выстроенная система восприятия, а на самом деле ничего не происходит. Реально ничего не происходит. И с людьми, которые на сцене, и с людьми, которые в зале.

— Зафиксированная Павлом Пряжко реальность лишена драматизма, действия в привычном понимании. Это непримечательная реальность. Вы сталкиваетесь с проблемами преодоления зрительского восприятия?

— Не сталкиваюсь. Нет, серьезно. Особых глобальных проблем не возникает. В России — в Москве, Петербурге — публика уже достаточно подготовленная. В Москве более, в Петербурге менее. Она подготовлена к такому развитию событий. Не все, конечно, — к нам ходит определенный сегмент публики, к сожалению, а может, к счастью. Неизвестно. Поэтому определенных проблем не возникает. Мне кажется, люди всегда ощущают: сделано это честно или это нечестно. Если сделано честно, то зрители с этим вполне готовы взаимодействовать.

— Чтобы быть честным с читателем, нам нужно попробовать сформулировать два определения: что есть театр и что есть современность?

— Мне интересно не знать, что такое театр. Мне интересно не знать, что такое современность. Театр один из инструментов познания этой современности. Один из возможных инструментов познания реальности. Ее познания. Ее понимания. Ее осознания в себе и себя в реальности. Вот это мне кажется важным.

— А помните ли вы момент, когда вдруг вырулили на драматургию Пряжко, как она вам открылась?

— Да, конечно. Первое, что я услышал, это был еще даже не спектакль, а читка на «Любимовке» (фестиваль молодой драматургии. — *Е. М.*) Пашиной пьесы «Жизнь удалась», которую делали мои товарищи. Она меня абсолютно сбила с ног. И потом, когда делал читку на фестивале драматургии в Петербурге, я, не задумываясь, выбрал текст Пряжко. Это был текст «Поле». И вот с этого все началось. Паша приехал на эту лабораторию, мы познакомились, и что-то началось: я поставил «Запертую дверь», с этого все и начало двигаться куда-то дальше.

— Кто еще из современных авторов вам интересен, чьи тексты?

— Есть абсолютно другой автор — Ваня Вырыпаев, с которым я тоже давно знаком и работаю с его текстами. И тут очень интересный эффект: если Паша занимается окружающей реальностью, то в Ваниных пьесах реальность лично автора. Такое интересное наблюдение: в его текстах постоянное ощущение, что это Ваня разговаривает сам с собой. Не какие-то герои, персонажи, а это все один сплошной поток Ваниного текста, Ваниного внутреннего разговора. Это такая реальность, которая тоже мне интересна, и с ней интересно тоже как-то взаимодействовать. В том числе и потому, что Ваня как практикующий режиссер интересуется возможностями театра: каким может быть театр, что с ним можно делать, как его можно вертеть-поворачивать. Его же как режиссера, вероятно, не устраивает та театральная реальность, в которой он существует. И он своими текстами, своими постановками пытается ее менять. Поэтому с ним тоже интересно. Я говорю о тех авторах, которых я ставлю.

Я не говорю, например, о братьях Дурненковых. У Славы совершенно прекрасная пьеса «Север», одна из его последних. Но я просто работаю с тем, что мне как-то ближе, интересней. По Равенхиллу мы тоже сделали большой спектакль, который тоже привезем на фестиваль (спектакль «Shoot/Get treasure/Repeat» покажут в Минске в октябре в основной программе «Теарта». — *Е. М.*).

— А классические тексты вам интересны?

— Их интересно читать, но как-то я просто с ними не работаю. Правда, одна из последних работ (но это был мой первый опыт) — с текстом умершего автора, с текстом, который автор написал, когда он был моложе меня. Это текст Хайнера Мюллера «Любовная история». Мы взяли в работу рассказ, это тоже был интересный опыт, но был осознанно предложен театру (где есть сцена, где есть зал), и мы работали, пытаясь осознать, что это есть сегодня. Театр со сценой, залом, гардеробом и буфетом. Какое у нас тут место? Мы про это размышляли в том числе.

* * *

Но вернемся к драматургии Павла Пряжко. Когда его пьесу «Я свободен» (ту самую, из 535 фотографий и 13 реплик) презентовали в Минске в Галерее «Ў», она вызвала стандартную для современного искусства реакцию: «Что это такое? Почему это искусство? Разве это театр? Я тоже так могу!» Большинство присутствующих уже воспринимали пьесу как спектакль, упустив, что над постановкой еще обязательно будет работать режиссер, который может трактовать фотографии и реплики как угодно. А до начала презентации к одному из организаторов подошла милая старушка, которая спросила, будет ли присутствовать автор. Организатор ответил, что не знает (вообще, Пряжко редко появляется на презентациях и премьерах своих текстов в Беларуси; и, кажется, на этом мероприятии я поняла почему). Зрительница огорчилась. Организатор попробовал ее утешить: «Ну, вы же можете посмотреть презентацию пьесы». Пожилая женщина ответила: «Я хотела посмотреть на автора. Какой он, раз пишет такие тексты? Что это за человек? Какой он физически?»

Конечно, в Центре белорусской драматургии тексты Пряжко публикой воспринимаются совсем иначе. Их ждут, на читках и разовых показах спектаклей аншлаги, обсуждают совсем на другом уровне. Но Центр — это лаборатория. Со временем драматургам и режиссерам приходится выходить к широкой публике, которая говорит «Я тоже так могу!» и хочет посмотреть на автора «физически». Этот путь начат. Этот путь к пониманию и принятию непрост. Важным шагом в нем станет белорусская программа «Теарта-2013», одной из самых интересных постановок в которой, на мой взгляд, станет «Печальный хоккеист». Потому что у Дмитрия Волкострелова свой способ работы с реальностью. И как реальность текста будет воплощена в реальности спектакля в условиях реальности восприятия белорусских зрителей и белорусской реальности в принципе — вопрос любопытный и непростой. Но ответ мы получим только в сентябре.

С точки зрения рецензента

Архипелаг забытых имен

Серия публицистических сборников «Беларусь вчера и сегодня» — проект, который Издательский дом «Звязда» при поддержке газеты «СБ. Беларусь сегодня» учредил еще в 2009 году. Ранее увидели свет книги Адама Мальдиса «Белорусские сокровища за рубежом», «Время и бремя архивов и имен» Людмилы Рублевской и Виталия Скалабана. Основу изданий составляют газетные публикации, отправляющие читателя в разные времена. Следует заметить, что это — не единственный опыт сотрудничества издательства с субъектами массмедиа. По материалам газетной акции «Звязды» была выпущена в свет книга кандидата филологических наук Татьяны Подоляк «Нашчадкі вогненных вёсак». И газетная рубрика «Беларускі ручнік», являющаяся своеобразной антологией белорусской поэзии на страницах «Белорусской нивы», также стала примечательным книжным изданием. А у серии «Беларусь вчера и сегодня» есть и редакционный совет, который возглавляет П. И. Якубович, а входят в него А. Н. Бадак, А. Н. Карлюкевич, М. П. Лебедик, В. А. Лиходедов, А. И. Мальдис, В. Д. Селеменев. Обстоятельство важное, поскольку в одной идее объединились журналисты, писатели, архивисты — люди, неравнодушные к отечественной культуре, понимающие, как важно и в пространстве массмедиа популярно рассказывать об истории, искусстве, литературе, о том, что, какие события и факты, какие персонажи, возможно, без этой важной публицистической работы останутся в тени других событий.

Разговор о книге Людмилы Рублевской «Рифма ценою в жизнь» (Рифма ценою в жизнь: эссе по истории белорусской литературы/ Людмила Рублевская. — Минск: Издательский дом «Звязда», 2013. — 280 с. — (Беларусь вчера и сегодня) хотел бы начать с цитаты из предисловия к книге — «От автора»: «История белорусской литературы — это карта почти сплошь из белых пятен… Карта архипелага незаслуженно забытых имен и сломанных судеб. Но это и история подвигов и самопожертвования, ярких талантов и ярких поступков. В самые тяжелые времена — и тогда, когда белорусская литература считалась несуществующей, и тогда, когда за идеологически неправильное стихотворение можно было поплатиться жизнью, находились те, кто рисковал, отдавая талант своему народу, не рассчитывая на признание и славу.

Это история полноценной, развитой европейской литературы, в которой хватает своих мифов и легенд. Ведь народ не может не иметь своих талантов, а литература — это его голос, его совесть. И не знать ее стыдно…

Конечно, есть школьная программа… Но выученный к экзамену билет или созерцание бронзового памятника не заставят полюбить поэта, не пробудят в душе горячее сочувствие к его судьбе и гордость за свою культуру… Нужен живой и увлекательный рассказ о тех, кто создавал нашу литературу, в том числе и о тех, кто не входит в школьную программу. Кто, может быть, просто подарил нам красивую легенду, как Леся Украинка и Сергей Мержинский. Кто исследовал духовное наследие белорусского народа, как Каэтан Коссович, Сержпутовский и Доленга-Ходаковский.

Мы не так богаты, чтобы отказываться от рожденных на нашей земле легенд и талантов! Стоит упомянуть о большой проблеме нашей литературы — это когда литератор в силу обстоятельств писал не на белорусском языке… Сколько таких талантов мы отдаем соседям, не задумываясь, что также имеем на них право!..»

Эти убеждения и послужили для журналистки газеты «СБ. Беларусь сегодня» толчком к созданию уникального газетного проекта «Игра в классики». Так родились десятки эссе по истории белорусской литературы. Значительная их часть — на страницах книги «Рифмы ценою в жизнь».

Вот историко-биографическая палитра, составляющая содержание сборника, — Андрей Римша (около 1550 — после 1595), Франтишка Уршуля Радзивилл (1705—1753), Ганна Тюндевицкая (XIX век), Зориан Доленга-Ходаковский (1784—1825), Каэтан Коссович (1814—1883), Франц Савич (около 1815—1845), Артем Вериго-Даревский (1816—1884), Винцесь Коротынский (1831—1891), Войнислав Савич-Заблоцкий (1850—1893), Ян Неслуховский (1851—1897), Александр Сержпутовский (1864—1940), Карусь Каганец (1868—1918), Гийом Аполлинер (1880—1918), Ядвигин Ш. (1869—1922), Адам Гуринович (1869—1894), Леся Украинка (1871—1913), Сергей Мержинский (1871—1901), Гальяш Левчик (1880—1944), Язеп Дыло (1880—1973), Янка Мавр (1883—1971), Микола Касперович (1885—1937), Змитрок Бядуля (1886—1941), Сергей Полуян (1890—1910), Алесь Гурло (1892—1938), Павлина Меделка (1893—1974), Леонила Чернявская (1893—1976), Адам Бабареко (1899—1938), Владимир Жилка (1900—1933), Сымон Барановых (1900—1942), Михась Зарецкий (1901—1937), Анатоль Вольный (1902—1937), Язеп Пуща (1902—1964), Рыгор Папарать (1902—1948), Павлюк Трус (1904—1929), Алесь Дударь (1904—1937), Павлюк Шукайло (1904—1939), Ян Скрыган (1905—1992), Николай Улащик (1906—1986), Сергей Дорожный (1909—1938?), Евгения Пфляумбаум (1908—1996), Максим Лужанин (1909—2001), Петро Битель (1912—1991), Аркадий Кулешов (1914—1978), Евгения Янищиц (1948—1988). И времена, из которых на страницы книги пришли герои Людмилы Рублевской, и произведения, ими созданные, — портрет белорусской литературы в ее развитии. Да, очерки и эссе, собранные под одной обложкой, — не комментарий к академической истории национальной литературы, но они — эмоциональное отражение судьбы белорусского слова, белорусской изящной словесности. Разные по степени таланта персонажи объединены неравнодушным вниманием журналистки и писательницы. Но очень одинаковые в главном — все они искренне служили своему однажды избранному делу, все они жили любовью к Отечеству. Этим, наверное, больше всего и интересны читателю…

Людмила Рублевская как опытный публицист нашла в судьбах своих героев те коллизии, которые являются наиболее рельефным отражением всего драматизма, всех сложностей в жизни людей талантливых, честных и, конечно же, красивых, интересных во всех проявлениях. Рассказывая о творческих свершениях тех или иных героев своих очерков, писательница показывает читателю и атмосферу, в которой рождались те или другие произведения. Что примечательно, делает это автор книги «Рифма ценою в жизнь» очень динамично, используя яркие факты, делая лаконичные, но очень точные комментарии. Эмоциональный заряд, который существует буквально во всех текстах, помогает выстроить доверительные отношения с читателем, настраивает на взаимопроникновение, подталкивает к размышлениям над прочитанным. Иногда, в случае, если автор рассказывает о писателях широко известных, поначалу возникает некоторое предубеждение: что же, мол, нового и интересного можно узнать, к примеру, о классике белорусской детской литературы Янке Мавре? И сама Л. Рублевская пишет: «…исследователи любят подчеркивать — мол, никогда не был в краях далеких, а писал…». Но факты и иллюстрации к фактам выстроены таким

образом, что писательница опровергает устоявшиеся истины или же настолько рельефно — через лаконичное изложение деталей, через конкретные факты — уточняет биографию жизни и творчества классика, что уже и сведущий читатель проникается особым интересом к персонажу. О давно знакомом нам Мавре читаем у Л. Рублевской (очерк «Белорусский Верн»): «Ученик Янки Мавра писатель Александр Миронов, посвятивший своему учителю книгу «Дзед Маўр», вспоминал, что на уроках географии «…нібы знікалі сцены класа, і вакол, як кінуць вокам, рассцілалася бязмежная прастора мора з цёмнай палоскай яшчэ нікім не адкрытай зямлі на гарызонце…» Учитель специально для своих учеников сочинял научно-фантастические очерки, из которых впоследствии и получились его первые повести». «В музее Якуба Коласа на стене висит скрипка… На самом деле она принадлежала не Коласу, который действительно любил играть на этом инструменте, а Янке Мавру. Это не удивительно и не случайно — писатели дружили». «Когда была напечатана разгромная рецензия на роман Ивана Мележа «Мінскі напрамак», Янка Мавр вступился и даже опубликовал в газете «Літаратура і мастацтва» большую статью «Ці так трэба падтрымліваць?». А ведь это 1950 год, еще был жив Сталин… Не отвернулся Мавр от семьи репрессированного писателя Максима Горецкого…». «В старости Янка Мавр ослеп. Но характер его не изменился. Об этом свидетельствует удивительный случай. Писатель с семьей отдыхал на Черном море. Пятилетняя девочка рядом начала тонуть… 72-летний, уже слепой, Мавр бросился в море на крик и спас ребенка».

Многие очерки и эссе книги посвящены писателям репрессированным. Тема — те, кого расстреляли в 1937-м… Или кого выслали из Беларуси раньше. Перед глазами проходит портрет репрессированной литературы. Собранные вместе очерки о судьбах поэтов, прозаиков, историков много разного рассказывают о прошлых временах, много разного проясняют во временах вообще, в судьбе белорусской нации, белорусского общества.

Рассказывает Людмила Рублевская и о не самых известных участниках литературного, культурно-просветительского процесса 1920—1930-х годов. По крайней мере — не самых известных для широкого круга читателей. Как, к примеру, о Павлюке Шукайло («Не стреляйте в футуриста»). «Его называют первым белорусским футуристом. И самым скандальным отечественным поэтом XX века. Некоторые восхищались им, как героем. Другие были иного мнения. Максим Лужанин называл его «літаратурны клоўн». Сергей Граховский отзывался так: «галасісты, нахабны, бесцырымонны». Борис Микулич говорил о «тыповым авантурысце і гістэрыку». А вот его портрет в исполнении Янки Скрыгана: «чалавек агнявой натуры, добрага, шчырага сэрца, партызанскай зухаватасці і брацтва». Человек, готовый по своей натуре быть только лидером, и проявил себя как исключительный организатор литературного процесса. Умел выступать. Карьерный рост Шукайло был фантастическим. Он стал профессором московского Института кинематографии. Был редактором газеты «Кино». Правда, нигде долго не задерживался. Даже успел побывать вице-президентом Государственной академии искусств в Ленинграде. Но все это сопровождалось авантюризмом, пустым эпатажем. Хотя, впрочем, и таким было то время. По крайней мере — для многих творческих людей, как и для многих, кто вершил судьбы и творческих личностей, и простых граждан…

Читается книга Людмилы Рублевской легко. Перевернув последние страницы сборника, содержание которого составили материалы, опубликованные в течение нескольких лет в газете «СБ. Беларусь сегодня», ловишь себя на мысли, что у книги должно быть продолжение. Загляните на страницы газеты — так и есть: журналистка и писательница Людмила Рублевская продолжает рассказывать о белорусской литературе, о судьбах поэтов, писателей, литературных критиков.

Кирилл ЛАДУТЬКО

История одной фотографии

ОЛЬГА ПРИЛУЦКАЯ

На фоне памятника Дзержинскому

Лето 1991 года. Мы с мужем в августе едем в Германию к друзьям. Документы на поездку оформляли около восьми месяцев. С огромным трудом, «по блату» взяли билеты из Ростова-на-Дону до Москвы и дальше, до Берлина. Да, время такое, что не очень-то просто было из СССР съездить за границу… Но мы, наконец, едем! Двадцать первого августа выезд из Ростова в Москву. Там двадцать второго часов пять гуляем по городу и — на Берлин! Утром девятнадцатого мой муж бежит на Дон искупаться. Навстречу — сосед.

— Слыхал, Мишку скинули! — возбужденно кричит он.

— Прораба, что ли? — интересуется муж. Нам газовики как раз тянули газ в это время.

— Ага, прораба! Прораба перестройки! Революция в стране!

Господи, и нам досталось! В Форосе арестован первый президент СССР Михаил Горбачев. Власть в руках ГКЧП. Неужели сорвалась наша поездка?! Мы решаем все-таки ехать.

…Москва! Как всегда суматошно и суетливо на вокзале. Как будто не было этих страшных, напряженных трех дней путча. Народ уезжает, приезжает, встречает и провожает. До отправления поезда на Берлин целых пять часов.

— Что будем делать? — на всякий случай интересуется муж.

Я знаю: его бы воля, он бы уже был возле Белого Дома, в гуще народа и событий. И потому я стараюсь придумать что-то, чтобы не пустить его в толпу, не попасть в какую-нибудь заварушку. Толпа — страшная штука. А нам нужно доехать до Германии, нас там ждут. Я придумываю какую-то надобность в магазине, хотя все, что нужно, у меня есть. Вообще-то я очень люблю Красную площадь, люблю гулять по Кремлю. Но кто его знает, что там сейчас творится? А в магазинах четыре часа пролетят мгновенно.

— Пошли на Красную площадь? Или на Лубянку? — предлагает муж. — Да не бойся! На Красной площади все спокойно. События-то разворачиваются в основном у Белого Дома. Если увидим толпу, повернем обратно или отойдем в сторону. Я тебе обещаю!

И правда, на Красной площади все было спокойно. Народ прохаживался парами, как в былые времена. Только экскурсионных групп не было видно. А возле гостиницы «Москва» бурлил митинг. Народ над головами проносил огромный трехцветный российский флаг. Издалека увидели знакомые лица на трибуне: Ельцин, Хасбулатов, Руцкой, Силаев, Гдлян, Бурбулис. Народ скандировал: «Ельцин! Россия!»

— Ну вот, видишь? Ничего страшного. Пошли на Лубянку.

Лубянка… Звучит зловеще. На всякий случай упрямлюсь:

— Нет, по-твоему уже было. Теперь выполни мою просьбу. Мне нужно в магазин. Ты забыл?

— Ладно, пошли до площади Дзержинского, а там попадем к магазинам.

Чего это он такой покладистый? И только выйдя на площадь Дзержинского, я вдруг сообразила, какую оплошность допустила. Попалась! Как же я не подумала, забыла, что площадь Дзержинского и есть Лубянка.

— Что это они делают? — недоумеваю я, не успев отчитать за обман.

Вокруг памятника Дзержинскому собралась толпа. Молодые люди лезут по Железному Феликсу вверх, пытаясь взобраться ему на голову. В руках у них — веревка. Подошли поближе. Рядом оказалась какая-то женщина. Спрашиваю у нее:

— Что здесь происходит?

— Вы что, не видите? Феликса сбрасывают! — возбужденно отвечает та.

— Зачем?!

— Да вы что, девушка? Это же символ старого режима! Надо от них избавляться.

Господи! Варварами были, варварами и останемся…

— Молодцы, ребята, валите его! Нечего ждать милости от начальства! — кричит соседка.

— А при чем здесь начальство? — не поняла я.

— Они пообещали технику, уже несколько часов ждем, — объяснил кто-то.

— Молодцы парни! Вали его! Тяните веревку!

Настроение испорчено. Муж куда-то подевался. Я беспокоюсь не на шутку. Мимо на самой малой скорости едет черный легковой автомобиль. Из его открытого окна в мегафон говорит Сергей Станкевич.

— Товарищи! Отойдите, пожалуйста, от памятника! Не надо его сбрасывать самостоятельно! Мы вам пообещали сделать это и мы свое обещание выполним. Не нужно никакой самодеятельности! — голос Станкевича усталый и слегка охрипший. — Под нами метро! Нельзя допустить его обрушения! Нам не нужна трагедия! Сохраняйте трезвый рассудок!

Машина проехала. Откуда-то появился муж.

— Где ты ходишь? Пошли отсюда! — дергаю его за руку.

— Сейчас-сейчас… Еще немного… — он старается все сфотографировать.

Чуть поодаль не спеша идет человек с хорошо знакомым мне лицом. Он устало объясняет что-то двум мужчинам, наседающим на него. Невольно слышу их разговор.

— А вы позвоните, Александр Михайлович! Они вас послушают! — говорит один тому, чье лицо мне знакомо.

Алесь Адамович и Ольга Прилуцкая за несколько часов до демонтажа памятника Дзержинскому в Москве. 22 августа 1991 года.

Да это же Алесь Адамович!

— Друзья мои, я не распоряжаюсь подъемными кранами. Я не могу им приказать, у них есть свое начальство, — терпеливо повторяет Адамович, с интересом смотря на происходящее.

— Ну, Александр Михайлович! Ну, что вам стоит! Вы только позвоните, и они не смогут вам отказать, — продолжают канючить двое.

— Александр Михайлович! — вынырнувший откуда-то муж обратился к Адамовичу. — Разрешите, пожалуйста, я сфотографирую вас со своей женой на память об этих днях!

— Как тебе не стыдно! — я заливаюсь краской.

Адамович улыбается мне, слегка обнимает за плечи и шепчет тихонько:

— Вы знаете, мне гораздо приятнее с вами сфотографироваться, чем объяснить им, — он кивнул на приотставших, наконец, мужчин, — что я не в состоянии выполнить их просьбу. Вы москвичи?

— Нет, мы из Ростова-на-Дону.

— Ого, издалека! Неужели специально приехали?

— Ну что вы! — я чувствую себя виноватой, что не оправдала предположений писателя. — Мы случайно, проездом. В Германию, в гости едем, через час поезд.

— Значит, вам повезло, что вы стали невольными свидетелями таких событий. Ну, счастливо вам, ребята! Всего хорошего!

Адамович еще раз обнял меня, пожал руку моему мужу.

— Спасибо, Александр Михайлович! И вам успехов!

Адамович пошел дальше, а мы заспешили на вокзал. Нужно было пожелать ему здоровья. В январе 1994 года он неожиданно умер от сердечного приступа…

ЛЕВАНОВИЧ (Леонов) Леонид Киреевич. Родился в 1938 г. в д. Клеевичи Костюковичского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор многих книг прозы и публицистики. Лауреат литературной премии Ивана Мележа и премии Федерации профсоюзов Беларуси. Живет в деревне Петрилово Вилейского района Минской области.

ГОРДЕЙ Виктор Константинович. Родился в 1946 г. в д. Малые Круговичи Ганцевичского района Брестской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, прозаик, переводчик, критик. Автор многих книг. Лауреат литературной премии имени И. Мележа. Живет в Минске.

СИЛЕЦКИЙ Александр Валентинович. Родился в 1947 г. в Москве. Окончил сценарный факультет ВГИКа. Автор шести книг, а также около сотни рассказов, опубликованных в различных сборниках и журналах. Лауреат трех международных конкурсов на лучший фантастический рассказ и Премии имени Ивана Ефремова. Живет в Минске.

МАТЮШКО Юрий Всеволодович. Родился в 1944 г. в г. Барановичи. Окончил Витебский медицинский институт. Поэт. Автор нескольких сборников поэзии. Живет в г. Барановичи Брестской области.

КОТЛЯРОВ Геннадий Иванович. Родился в 1937 г. в г. Добруш Гомельской области. Окончил Оршанский государственный техникум железнодорожного транспорта БЖД. Автор книг прозы «Роковой выбор», «Тени бледной луны», «Хроника вражды». Лауреат литературной премии имени Владимира Короткевича. Живет в Витебске.

ЕВСЕЕВА Светлана Георгиевна. Родилась в 1932 г. в Ташкенте. Окончила литературный факультет Ташкентского педагогического института им. Низами и заочно Литературный институт им. М. Горького. Поэт. Автор книг стихов «Женщина под яблоней», «Новолуние», «Зову!», «Ищу человека», «Последнее прощание» и др. Живет в Минске.

ГОРЕЦКИЙ Максим Иванович. Родился в 1893 г. в д. Малая Богатьковка Могилевской губернии. Окончил Горецкое землемерно-агрономическое училище. Классик белорусской литературы, один из основателей современной белорусской прозы, литературовед, переводчик, фольклорист, деятель белорусского национально-демократического Возрождения. Автор многих прозаических произведений, литературоведческих, публицистических работ. Расстрелян в 1938 году.

СТРЕЛЬЦОВ Михась (Михаил Леонтьевич). Родился в 1937 г. в д. Сычин Славгородского района Могилевской области. Окончил отделение журналистики филологического факультета Белорусского государственного университета. Прозаик, поэт, эссеист, переводчик. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии Белорусской ССР имени Янки Купалы. Умер в 1987 году в Минске.

СТАНИСАВЛЕВИЧ-ШАРКАМЕНАЦ Властимир. Родился в 1941 г. в с. Салош общины Неготин (Сербия). Изучал архитектуру в Скопле и Нише, окончил магистратуру при архитектурном факультете Белградского университета. Поэт, прозаик, переводчик, композитор, педагог. Автор более 20 книг поэзии и прозы. Живет в Париже.